

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

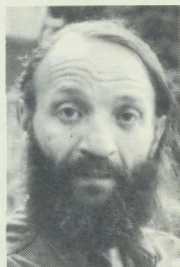
Нижний, Тверь, Царицын, Симбирск, помнят ваши протяжные песни. их разливы порой проступают



в многоголосии
клира, и качаются
языки
свечей
в паникадилах.
чем я больше
думаю о России,
тем больше
хочется плакать,
птицы русских
раздолий...

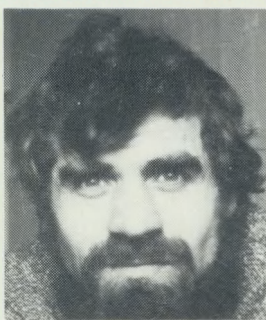
Георгий Власенко

В отличие от многих людей, моих товарищей и не моих товарищей, я не считаю все то, что происходит сейчас у нас в стране, большим событием. Я считаю это нормой, это нормально. Жалко, что это начинается у нас только сейчас, что так долго замалчивались страницы страшной нашей истории.



Анатолий Васильев

Но известен ли вам хотя бы один случай, чтобы духовенство почитило память своих воинов — страдальцев за Христа, исповедников веры, того сонма новомучеников российских, чьей кровью утвердилась и выстояла Церковь? Известно ли вам, чтобы с амвона были вознесены молитвы за них, этих вои-



нов, и к ним? Известно ли вам выступление Церкви в защиту гонимых? Скорее, наоборот: известны выступления в защиту и в оправдание гонителей и против гонимых. Известно, что архиереи приносили клятвенные заверения в том, что в Советском Союзе нет гонений на веру и проч.

Николай Тюльпин

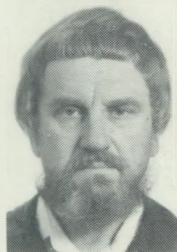
Война — это большая неразбериха. Попробуй разберись, когда лежишь, прижавшись к земле как мож-

но плотнее. Если ты на передовой, то поступаешь именно так. А когда поднялся и идешь в атаку, в голове одна мысль: «Пронесет — или не пронесет, окаянная?!».

Владимир Лемпорт

Находясь и без того в условиях изоляции ГДР от внешнего мира, мы, дети высокопоставленных работников, ведущих идеологов и «придворных» деятелей искусств, содержались... еще в одной изоляции, внутренней, где должны были как можно дольше выдерживаться в стороне от реальной жизни...

Ганс Нолль



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Михаил Геллер · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Милован Джилас · Пьер Дэк
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный
Амос Oz · Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto 1/B 20131 Milano, Italia
США	Эдуард Лозанский Edward D. Lozansky 3001 Veazey Terrace, N. W. Washington, DC 20008, USA
Япония	Госукэ Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

58

**Издательство «Континент»
1988**

СОДЕРЖАНИЕ

Иосиф Бродский – «Рождественская звезда» и другие стихотворения	7
Георгий Владимов – Поклонная гора. Глава из романа «Генерал и его армия».	24
Генрих Сапгир – Из книги «Монологи»	62
Сергей Довлатов – Встретились, поговорили. Рассказ	78
Георгий Власенко – Стихотворения	98
Андрей Наврозов – Из Томаса Стернза Элиота: Романс Альфреда Пруфрока	105
Василий Агафонов – Венские каникулы. Повесть	113
СТИХИ	
Юрий Колкер, Наталия Захаревич, Леопольд Эпштейн	188
РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ	
<i>К тысячелетию Крещения Руси</i>	
Николай Тюльпин – Год скорбного торжества	207
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Леонид Плющ – Национальные проблемы СССР	217
ЗАПАД – ВОСТОК	
Ганс Нолль – Происхожу из «нового класса»	225
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Наталья Горбаневская – В Польше. Разрозненные заметки	243
ИСТОКИ	
Владимир Лемпорт – Невидимый противник, или Вшивая эпопея. (Записки фронтовика)	263
ИСКУССТВО	
Михаил Заборов – Проекция на плоскость (Роман с прототипом)	293
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Борис Парамонов – Горький, белое пятно	303
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	355

НАША ПОЧТА	361
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Василий Б е т а к и – Калигула или Гамлет?	379
В. М. – Художник беретса за перо	384
Дмитрий Б о б ы ш е в – Человек с книгой	387
Александр П о к р о в – Свет надежды	394
А. П. – Две правды солдатские	400
Т. С а м с о н о в а – От чего – к чему?..	405
КОРОТКО О КНИГАХ	415
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	421
НАША АНКЕТА	
Разговор с главным режиссером московского театра «Школа драматического искусства» Анатолием В а с и л ь е в ы м ведет <i>Андрей Бородин</i>	427

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

В холодную пору, в местности, привычной скорей
к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему всё казалось огромным: грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

24 дек. 1987 г.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Представь, что война окончена, что воцарился мир.
Что ты еще отражаешься в зеркале. Что сорока
или дрозд, а не юнкерс, щебечет на ветке «чирр».
Что за окном не развалины города, а барокко
города; пинии, пальмы, магнолии, цепкий плющ,
лавр. Что чугунная вязь, в чьих кружевах скучала
луна, в результате вынесла натиск мимозы, плюс
взрывы агавы. Что жизнь нужно начать сначала.

Люди выходят из комнат, где стулья как буква «б»
или как мягкий знак, спасают от головокруженья.
Они не нужны никому, только самим себе,
плитняку мостовой и правилам умноженья.
Это – влияние статуй. Вернее, их полых ниш.
То есть если не святость, то хоть ее синоним.
Представь, что всё это – правда. Представь, что ты
говоришь
о себе, говоря о них, о лишнем, о постороннем.

Жизнь начинается заново именно так – с картин
изверженья вулкана, шлюпки, попавшей в бурю.
С порожденного ими чувства, что ты один
смотришь на катастрофу. С чувства, что ты в любую
минуту готов отвернуться, увидеть диван, цветы
в желтой китайской вазе рядом с остывшим кофе.
Их кричащие краски, их увядшие рты
тоже предупреждают, впрочем, о катастрофе.

Каждая вещь уязвима. Самая мысль, увы,
о ней легко забывается. Вещи вообще холопы
мысли. Отсюда их формы, взятые из головы,
их привязанность к месту, качества Пенелопы,
то есть потребность в будущем. Утром кричит петух.
В новой жизни, в гостинице, ты, выходя из ванной,
кутаясь в простыню, выглядишь как пастух
четвероногой мебели, железной и деревянной.

Представь, что эпос кончается идиллией. Что слова –
обратное языку пламени: монологу,
пожиравшему лучших, чем ты, с жадностью, как дрова;
что в тебе оно видело мало проку,
мало тепла. Поэтому ты уцелел.
Поэтому ты не страдаешь слишком от равнодушия
местных помон, вертумнов, венер, церер.
Поэтому на устах у тебя эта песнь пастушья.

Сколько можно оправдываться. Как ни скрывай тузы,
на стол ложатся вальты неизвестной масти.

Представь, что чем искренней голос, тем меньше в нем
слезы,

любви к чему бы то ни было, страха, страсти.

Представь, что порой по радио ты ловишь старый гимн.

Представь, что за каждой буквой здесь тоже плетется
свита

букв, слагаясь невольно то в «бетси», то в «ибрагим»,
перо выводя за пределы смысла и алфавита.

Сумерки в новой жизни. Цикады с их звонким «ц»;

классическая перспектива, где не хватает танка

либо – сырого тумана в ее конце;

голый паркет, никогда не осязавший танго.

В новой жизни мгновенью не говорят «постой»:

остановившись, оно быстро идет насмарку.

Да и глянца в чертах твоих хватит уже, чтоб с той
их стороны черкнуть «привет» и приклеить марку.

Белые стены комнаты делаются белей

от брошенного на них якобы для острастки

взгляда, скорей привыкшего не к ширине полей,

но к отсутствию в спектре их отрешенной краски.

Многое можно простить вещи – тем паче, там,

где эта вещь кончается. В конечном счете, чувство

любопытства к этим пустым местам,

к их беспредметным ландшафтам и есть искусство.

Облако в новой жизни лучше, чем солнце. Дождь,

будучи непрерывен – вроде самопознания.

В свою очередь, поезд, которого ты не ждешь

на перроне в плаще, приходит без опоздания.

Там, где есть горизонт, парус ему судья.

Глаз предпочтет обмылок, чем тряпочку или пену.

И если кто-нибудь спросит: «кто ты?» ответь: «кто я,
я – никто», как Улисс некогда Полифему.

РЕКИ

Растительность в моем окне! зеленый колер!
Что на вершину посмотреть, что в корень –
почувствуешь головокружение, рвоту;
и я предпочитаю воду,
хотя бы – пресную. Вода – беглец от места,
предместья, набережной, арки, крова,
из-под моста – из-под венца невеста,
фамилия у ней – серова.
Куда как женственна! и так на жизнь похожа
ее то матовая, то вся в морщинках кожа
неудержимостью, смятением, грустью,
стремлением к устью
и к безымянности. Волна всегда стремится
от отраженья, от судьбы отмыться,
чтобы смешаться с горизонтом, с солью –
с прошедшей болью.

В ГОРАХ

1

Голубой саксонский лес.
Снега битого фарфор.
Мир бесцветен, мир белес,
точно извести раствор.

Ты, в коричневом пальто,
я, исчадье распродаж.
Ты – никто, и я – никто.
Вместе мы – почти пейзаж.

2

Белых склонов тишь да гладь.
Стук в долине молотка.
Склонность гор к подножью дать
может кровли городка.

Горный пик, доступный снам,
фотопленке, свалке туч.
Склонность гор к подножью, к нам,
суть изнанка ихних круч.

3

На ночь снятое плато.
Трепыханье фитиля.
Ты – никто, и я – никто:
дыма мертвая петля.

В туче прячась, бродит Бог,
ноготь месяца грызя.
Как пейзажу с места вбок,
нам с ума сойти нельзя.

4

Голубой саксонский лес.
К взгляду в зеркало и вдаль
потерявший интерес
глаза серого хрусталь.

Горный воздух, чье стекло
вздых неведомо о чем
разбивает, как ракло,
углекислым кирпичом.

5

Мы с тобой – никто, ничто.
Эти горы – наших фраз
эхо, выросшее в сто,
двести, триста тысяч раз.

Снизив речь до хрипоты,
уподобить не впервой
наши ребра и хребты
ихней ломаной кривой.

6

Чем объятие плотней,
тем пространства сзади – гор,
склонов, складок, простыней –
больше, времени в укор.

Но и маятника шаг
вне пространства завести
тоже в силах, как большак,
дальше мяса на кости.

7

Голубой саксонский лес.
Мир зазубрен, ощутив,
что материи в обрез.
Это – местный лейтмотив.

Дальше – только кислород:
в тело входяая кутя
через ноздри, через рот.
Вкус и цвет – небытия.

8

Чем мы дышим – то мы есть,
что мы топчем – в том нам гнить.
Данный вид суть, в нашу честь,
их отказ соединить.

Это – край земли. Конец
геологии; предел.
Место точно под венец
в воздух вытолкнутых тел.

9

В этом смысле мы – чета,
в вышних слаженный союз.
Ниже – явно ни черта.
Я взглянуть туда боюсь.

Крепче в локоть мне вцепись,
побеждая страстью власть
тяготенья – шанса, ввысь
заглядевшись, вниз упасть.

10

Голубой саксонский лес.
Мир, следящий зорче птиц
– Гулливер и Геркулес –
за ужимками частиц.

Сумма двух распадов, мы
можем дать взамен числа
абажур без бахромы,
стук по комнате мосла.

11

«Тук-тук-тук» стучит нога
на ходу в сосновый пол.
Горы прячут, как снега,
в цвете собственный глагол.

Чем хорош отвесный склон,
что, раздевшись догола,
все же – неодушевлен;
то же самое – скала.

12

В этом мире страшных форм
наше дело – сторона.
Мы для них – подножный корм,
многоточье, два зерна.

Чья невзрачность, в свой черед,
лучше мышцы и костей
нас удерживает от
двух взаимных пропастей.

13

Голубой саксонский лес.
Близость зрения к лицу.
Гладь щеки – противовес
клеток ихнему концу.

Взгляд, прикованный к чертам,
освещенным и в тени, –
продолжение клеток там,
где кончаются они.

14

Не любви, но смысла скул,
дуг надбровных, звука «ах»
добиваются – сквозь гул
крови собственной – в горах.

Против них, что я, что ты,
оба будучи черны,
ихним снегом на черты
наших лиц обречены.

15

Нас других не будет! Ни
здесь, ни там, где все равны.
Оттого-то наши дни
в этом месте сочтены.

Чем отчетливей в упор
профиль, пористость, анфас,
тем естественней отбор
напрочь времени у нас.

16

Голубой саксонский лес.
Грёз базальтовых родня,
Мир без будущего, без
– проще – завтрашнего дня.

Мы с тобой никто, ничто.
Сумма лиц, мое с твоим,
очерк чей и через сто
тысяч лет неповторим.

17

Нас других не будет! Ночь,
струйка дыма над трубой.
Утром нам отсюда прочь,
вниз, с закушенной губой.

Сумма двух распадов, с двух
жизней сдача – я и ты.
Миллиарды снежных мух
не спасут от нищеты.

18

Нам цена – базарный грош!
Козырная двойка трэф!
Я умру, и ты умрешь.
В нас течет одна пся крев.

Кто на этот грош, как тать,
точит зуб из-за угла?
Сон, разжав нас, может дать
только решку и орла.

19

Голубой саксонский лес
Наста лунного наждак,
Неподвижности прогресс,
то есть – ходиков тик-так.

Снятой комнаты квадрат.
Покрывало из холста.
Геометрия утрат,
как безумие, проста.

20

То не ангел пролетел,
прошептавши: «виноват».
То не бдение двух тел.
То две лампы в тыщу ватт

ночью, мира на краю,
раскаляясь добела –
жизнь моя на жизнь твою
насмотреться не могла.

21

Сохрани на черный день,
каждой свойственный судьбе,
этих мыслей дребедень
обо мне и о себе.

Вычесь временное из
постоянного нельзя,
как обвалом верх и низ
перепутать не грозя.

КЕНТАВРЫ I

Наполовину красавица, наполовину софа́,
в просторечьи – Софа́,
по вечерам оглашая улицу, чьи окна отчасти лица,
стуком шести каблуков (в конце концов, катастрофа
– то, в результате чего трудно не измениться),
она спешит на свидание. Любовь состоит из тюля,
волоса, крови, пружин, валика, счастья, родов.
На две трети мужчина, на одну легковая – Муля –
встречает ее рычанием холостых оборотов
и увлекает в театр. В каждом бедре с пеленок
сидит эта склонность мышцы к мебели, к выкрутасам
красного дерева, к шкапу, у чьих филенок,
в свою очередь, склонность к трем четвертям, к
анфасам
с отпечатками пальцев. Увлекает в театр, где,
спрятавшись в пятый угол,

наезжая впотьмах друг на дружку, меся колесом фанеру,
они наслаждаются в паузах драмой из жизни кукол,
чем мы и были, собственно, в нашу эру.

КЕНТАВРЫ II

Они выбегают из будущего и, прокричав «напрасно!»,
тотчас в него возвращаются; вы слышите их чечетку.
На ветку садятся птицы, большие, чем пространство,
в них – ни пера, ни пуха, а только к черту, к черту.
Горизонтальное море, крашенное закатом.
Зимний вечер, устав от его заочной
синевы, поигрывает, как атом
накануне распада и проч., цепочкой
от часов. Тело сгоревшей спички,
голая статуя, безлюдная танцплощадка
слишком реальны, слишком стереоскопичны,
потому что им больше не во что превращаться.
Только плоские вещи, как то: вода и рыба,
слившись, в силах со временем дать вам ихтиозавра.
Для возникшего в результате взрыва
профиля не существует завтра.

КЕНТАВРЫ III

Помесь прошлого с будущим, данная в камне, крупным
планом. Развитым торсом и конским крупом.
Либо – простым грамматическим «был» и «буду»
в настоящем продолженном. Дать эту вещь как груду
скушных подробностей, в голой избе на курьих
ножках. Плюс нас, со стороны, на стульях.
Или – слившихся с теми, кого любили
в горизонтальной постели. Или в автомобиле,
суть в плену перспективы, в рабстве у линий. Либо

просто в мозгу. Дать это вслух, крикливо,
мыслью о смерти – частой, саднящей, вещной.
Дать это жизнью сейчас и вечной
жизнью, в которой, как яйца в сетке,
мы все одинаковы и страшны насадке,
повторяющей средствами нашей эры
шестикрылую помесь веры и стратосферы.

КЕНТАВРЫ IV

Местность цвета сапог, цвета сырой портянки.
Совершенно неважно, который век или который год.
На закате ревут, возвращаясь с полей, муу-танки:
крупный единорогий скот.
Все переходят друг в друга с помощью слова «вдруг»
– реже во время войны, чем во время мира.
Меч, стосковавшись по телу при перековке в плуг,
выскальзывает из рук, как мыло.
Поводок норовит отличить владельцев от их собак,
в книге вторая буква выглядит слепком с первой;
возле кинотеатра толпятся подростки, как
белоголовки с замерзшей спермой.
Загнанные в тупик многие поезда
улиц города; и только в мозгу ветерана чернеет квадрат
окопа
с ржавой водой, в который могла б звезда
упасть, спасаясь от телескопа.

* *
*

Теперь, зная многое о моей
жизни – о городах, о тюрьмах,
о комнатах, где я сходил с ума,
но не сошел, о морях, в которых

я захлебывался, и о тех, кого
я так-таки не удержал в объятьях, –
теперь ты мог бы сказать, вздохнув:
«Судьба к нему оказалась щедрой»,
и присутствующие за столом
кивнут задумчиво в знак согласия.

Как знать, возможно, ты прав. Прибавь
к своим прочим достоинствам также и дальноркость.
В те годы, когда мы играли в чха
на панели возле кинотеатра,
кто мог подумать о расстояньи
больше зябнущей пятерни,
растопыренной между орлом и решкой?

Никто. Беспечный прощальный взмах
руки в конце улицы обернулся
первой черточкой радиуса: воздух в чужих краях
чаще чем что-либо напоминает ватман,
и дождь заштриховывает следы,
не тронутые голубой резинкой.

Как знать, может, как раз сейчас,
когда я пишу эти строки, сидя
в кирпичном маленьком городке
в центре Америки, ты бредешь
вдоль горчичного здания, в чьих отсыревших стенах
томится еще одно поколение, плясь
в серобуромалиновое пятно
нелегального полушарья.

Короче – худшего не произошло.
Худшее происходит только
в романах, и с теми, кто лучше нас
настолько, что их теряешь тотчас
из виду, и отзвуки их трагедий
смешиваются с пеньем веретена,

как гуденье далекого аэроплана
с жужжаньем буксующей в лепестках пчелы.

Мы уже не увидимся – потому
что физически сильно переменились.
Встретиться мы, встретились бы не мы,
но то, что сделали с нашим мясом
годы, щадящие только кость;
и собаке с кормилицей не узнать
по запаху или рубцу пришельца.

Щедрость, ты говоришь? О да,
щедрость волны океана к щепке.
Что ж, кто не жалуется на судьбу,
тот ее не достоин. Но если время
узнаёт об итоге своих трудов
по расплывчатости воспоминаний,
то – думаю – и твое лицо
вполне способно собой украсить
бронзовый памятник или – на дне кармана –
еще не потраченную копейку.

ДОЖДЬ В АВГУСТЕ

Среди бела дня начинает стремглав смеркаться, и
кучевое пальто норовит обернуться шубой
с неземного плеча. Под напором дождя акация
становится слишком шумной.
Не иголка, не нитка, но нечто бесспорно швейное,
фирмы Зингер почти с примесью ржавой лейки,
слышится в этом стрёкоте; и герань обнажает шейные
позвонки белошвейки.

Как семейно шуршанье дождя! как хорошо заштопаны
им прорехи в пейзаже изношенном, будь то выпас
или междудеревье, околица, лужа – чтоб они

зрению не дали выпасть
из пространства. Дождь! двигатель близорукости,
летописец вне кельи, жадный до пищи постной,
испещряющий суглинок, точно перо без рукописи,
клинописью и оспой.

Повернуться спиной к окну и увидеть шинель с погонами
на коричневой вешалке, чернобурку на спинке кресла,
бахрому желтой скатерти, что, совладав с законами
тяготенья, воскресла
и накрыла обеденный стол, за которым втроем за
ужином
мы сидим поздно вечером, и ты говоришь сонливым,
совершенно моим, но дальностью лет приглушенным
голосом: «Ну и ливень».

ОТКРЫТКА ИЗ ЛИССАБОНА

Монументы событиям, никогда не имевшим места:
Несостоявшимся кровопролитным войнам.
Фразам, проглоченным в миг ареста.
Помеси голого тела с хвойным
деревом, давшей Сан-Себастьяна.
Авиаторам, воспарявшим к тучам
посредством крылатого фортепьяно.
Создателю двигателя с горючим
из отходов воспоминаний. Жёнам
мореплавателей – над блюдом
с одинокой яичницей. Обнаженным
Конституциям. Полногрудым
Независимостям. Кометам,
пролетевшим мимо земли (в погоне
за бесконечностью, чьим приметам
соответствуют эти ландшафты, но не
полностью). Временному соитью

в бороде арестанта идеи власти
и растительности. Открытью
Инфарктики – неизвестной части
того света. Ветреному кубисту
кровель, внемлющему сопрано
телеграфных линий. Самоубийству
от безответной любви Тирана.
Землетрясению – подчеркивает современник –
народом встреченному с восторгом.
Руке, никогда не сжимавшей денег,
тем более – детородный орган.
Сумме зеленых листьев, вправе
заранее презирать их разность.
Счастью. Снам, навязавшим яви
за счет населенья свою бессвязность.

1988

В КАФЕ

Под раскидистым вязом, шепчущим «че-ше-ще»,
превращая эту кофейню в нигде, в вообще
место – как всякое дерево, будь то вяз
или ольха – ибо зелень переживает вас,

я, иначе – никто, всечеловек, один
из, подсохший мазок в одной из живых картин,
которые пишет время, макая кисть
за неимением, верно, лучшей палитры в жисть,

сiju, шелестя газетой, раздумывая, с какой
натуры всё это списано? чей покой,
безымянность, безадресность, форму небытия
мы повторяем в летних сумерках – вяз и я?

ПОКЛОННАЯ ГОРА

*Глава из романа «Генерал и его армия» **

Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?..

*Н. А. Некрасов,
«Железная дорога»*

Чем ближе к Москве, тем чаще возникали на пути контрольно-пропускные «рогатки», где вместо шлагбаумов перегораживали шоссе грузовики, стоявшие впритык радиаторами друг к другу, нагруженные мешками с песком, и только по предъявлении документов дежурному и по его команде раздвигались, давая пройти «виллису». Документы предъявлял адъютант, всякий раз извлекая их из целлофановой обертки – как из платка или онучи. Генерал молчал, старался глядеть в сторону, с видом безгловым и настороженным, мучительно ожидая каких-нибудь вопросов. Но дежурные ни о чем не спрашивали, только быстро и косо оглядывали машину и, почему-то вздохнув, козыряли на прощанье. Адъютант вновь, не спеша, заворачивал документы в целлофан. Но, кажется, они успели все-таки отсыреть.

Впрочем, всё меньше генерала Кобрисова раздражали эти мелочи, всё реже вспоминал он свои споры с Ватутиным, с Жуковым и уже уставал переигрывать и переигрывать то совещание в Спасо-Песковцах, которое постепенно приходило к одному варианту – тому, какой и был в действительности, – а всё чаще задумывался, что ожидает его в Москве. В общих чертах он

Журнальный вариант. © by author.

* Предшествующие главы см. в журналах «Континент» №№ 42 и 56, «Грани» № 136. – Р е д.

представлял себе разговор в Ставке. Месяца на полтора, на два и в самом деле отпустят на поправку – скорее всего в Архангельское, благо – зима на носу, походит на лыжах, проделает эти ихние дурацкие «процедуры». Ну, а потом, вероятно, позовут формировать новую армию или корпус – не для себя, разумеется, для чужого дяди. Или дадут училище – выпекать шестимесячных лейтенантов. И что скажет жена, он тоже себе представлял – огорчится, конечно, а в глубине души всё же и обрадуется, что он, слава Те, Господи, отвоевался, жив, с нею рядом. Вот с дочками будет потруднее. Не раненый, не контуженный, как он им всё объяснит? Сейчас-то, впрочем, объяснять еще некому, там кисель в мозгах, но спрашивать они будут. И сейчас, и год спустя. И навсегда он будет для них – незадавшийся полководец, несправившийся командарм. Где «не справившийся»? Да под несчастным Мырятином! А сколько он стóит, этот Мырятин? Десять тысяч? Пятнадцать? Легко считать, если ты пришел на готовую армию, не тобой сформированную. А если ты сам ее собирал – с бору по сосенке, из маршевых необстрелянных рот, из частей, раздробленных в окружениях, сохранивших свои знамена и потерявших свои знамена?

Почему-то он спорил с дочками, будто они и в самом деле его корили, и чувствовал к ним неприязнь, и к жене ее чувствовал – за то, что не родила сына. Вторую-то, собственно, и затеяли, потому что хотелось парня. И добро бы они пошли в нее, она хороша была молодая, но каково было узнавать в них свою «корпулентность», мясистость лица, и каково еще будет с ними потом, на выдании. Лошади, подумал он, вот бы о чем задумались, а то всё с расспросами, с упреками!.. Ах, как сейчас недоставало парня, который бы всё принял близко к сердцу, как если бы сам прошел с отцом от рубежа к рубежу, и понял бы его без долгих слов, и не осудил.

Уже замелькали подмосковные названия, он узнавал знакомые места, или ему казалось, что узнаёт, и

сердце сжималось от робости и тоски. Он уже рад был, что день кончается, и к своему дому на улице Горького он подъедет совсем к ночи. Дочки уже будут спать, а жена выйдет встречать в халате и в косынке, низко наклонившись к лобу, — простоволосая она давно уже не ходила, а всё в косынках, стянутых спереди узлом, — она повиснет на нем, заплачет от радости, и он скажет ей только: «Покорми нас, мать, да и спать положи, завтра наговоримся». В хлопотах ей и гадать будет некогда, почему вдруг приехали, а утром он уже явится в Ставку, и после того гадать будет не о чем.

Но прежде, чем кончился день, кончился бензин в баке, и куда искали, где заправиться, — быстро, неумолимо стемнело. А ехать без света, с одними синими подфарниками, не хотелось, все-таки не фронт, зачем зря себя мучить. Заночевали в дежурке, возле «рогатки», и всю эту ночь генерал не мог заснуть, хрюкал и ворочался на скрипучей койке, в жарко натопленной комнатке. Он зло завидовал своим спутникам, мигом провалившимся в сон, а себя чувствовал уже безнадежно состарившимся, изношенным, едва не больным.

Но понемногу приходило к нему смирение, и прежде всего он примирился с женою, зная, что в споре его с дочками она, конечно, примет его сторону и пресечет неуместные расспросы. Она примет его сторону в споре с целым светом и найдет слова самые убедительные и выскажет их не сразу и не напрямую, но исподволь, в день по чайной ложке, и выйдет само собою, что все кругом карьеристы и шкурники, один ее Фотя — талант и храбрец, которого ценить не умеют. Это у нее так славно получалось! И так трогала его сейчас эта ее святая неправота, что он вдруг проникся к ней нежностью, какой давно от себя не ждал, он даже простил ей навсегда, что не родила сына. И сердце защемило от мысли, что она, единственный его человек, где-то уже совсем рядом, в каких-нибудь сорока километрах. В окнах еще

и не брезжило, когда он не выдержал, растолкал своих спутников, велел собираться и заводить.

Хмурые от недосыпа, они, наверно, кляли его в душе и, наверно, думали, что вот уже скоро от него избавятся, – и он за это злился на них, злился на слишком медленный бег машины. А между тем, шоссейка сделалась шире, побежали молоденькие саженые сосны, еще серые перед рассветом, замелькали среди них позиции зенитчиков, истребителей танков, стянутые за обочину рельсовые «ежи», бетонные надолбы – и все четверо оживились, заерзали на сиденьях, предчувствуя конец пути. И в самом деле увидели Москву – сверху, с холма.

– Вот она и Поклонная, братцы кролики, – сказал генерал. И тронул за локоть вертевшего головою водителя. – Притормози-ка, Сиротин.

Выбравшись из машины, он медленно, закинув руки за спину, прошел несколько метров до спуска.

То, что принимал генерал за Поклонную гору, на самом деле не было ею. Единственный из четверых москвич, но москвич недавний, он не знал, и никто не мог ему подсказать, что еще километров пять или шесть отделяло его от того невысокого и не столь выразительного холма, шагах в двухстах от филёвской избы Кутузова, где и стоял Наполеон, ожидая напрасно ключей от Кремля. Генерал же Кобрисов находился в начале того длинного и крутого спуска к убогим домишкам и садам Кунцева, где однако ж впервые чувствуется несомненная близость Москвы. Теперь здесь многое переменилось, сады повырублены, сместилось в сторону и само шоссе, а весь спуск и низина застроены 14-этажными домами-«пластинами», расставленными наискось к улице, линияло-бежевыми и в проплешинах от облетевшей кафельной облицовки, на каждом из которых сияет какой-нибудь краснобуквенный транспарант: «Свобода», «Равенство», «Братство», «Мир», «Труд», «Май». И не найти уже того места, где в один из последних дней октября 43-го года остановился закиданный

грязью «виллис», под брезентовым тентом без боковин, не определить достоверно, где же она была, Поклонная гора командарма Кобрисова.

Тем не менее, была она, и Москва для него начиналась внизу, под краем огромной черно-сизой тучи, заставившей все Кунцево и дальние, еле различимые, скопления домов и труб. Аэростаты заграждения – серебристые на фоне тучи и темные, уродующие небо, на узкой полоске зари, – медленно всплывали в серый мгlistый рассвет. Он обещал редкое солнце поутру и унылый полдень, с ветром и морозящим дождем.

Ничего доброго не обещала генералу Кобрисову столица, где испытал он унижение, которое не уляжется в беспощадной памяти до конца его дней, где в один час был он ссажен с коня и растоптан в прах, где лубянский следователь, старший лейтенант Опрядкин ставил его на колени в угол и шлепал по рукам линейкой – вот и вся пытка, но, может быть, не так жгуче, не так раздирающе вспоминалось бы, если б дюжие надзиратели, втроем, избивали в кровавое мясо и зажимали пальцы дверьми? Как изжить из сознания, чем выжечь склонившееся к тебе лицо, этот убегающий подбородок, красные сочные губы и светло-ледяной взгляд, аккуратный пробор в прилизанных желтых волосах, голос насмешливо-ласковый и поучающий: «Фотий Иванович, ну, вы ж не маленький, если ваши два танка на первомайском параде вдруг тормозят напротив Мавзолея – напротив Мав-зо-ле-я! – то это на юридическом языке называется – как? Покушение, Фотий Иванович, по-ку-ше-ни-е. На жизнь кого? Не смейте произносить, а только представьте мысленно! Говорите, моторы заглохли? Сразу у двух? Допустим. Но командиры – зачем покинули башни? Ах, спустились к водителям – разобраться, в чем дело? Предположим. С грехом пополам, но тасуется. Есть только одна ма-аленькая деталь – зачем они люки закрыли? Закрытый башенный люк означает – что? Боевое положение танка. Бо-е-во-е!» В десятый раз

кричал ему Кобрисов, оборачиваясь из своего угла, визгливо, как в истерике: «Но снарядов же не было!» И огорченный Опрядкин, вздыхая, брался опять за свою линейку. «Фотий Иванович, ну, честное слово, ну, вы как дитя малое. Да если б были снаряды, я бы с вами не разговаривал, я бы вот этими руками вас растерзал! А только потому, что не было, я и пишу: „по-ку-ше-ни-е“. Ну, чёрт с вами, оформлю вам „намерение“, через статью девятнадцатую, будет законная десятка. Я от вас высшую меру хочу отвести, так помогите же мне, давайте же вместе поборемся за эту десятку!» И уже была глухая мысль – не поладить ли на этом, но серо-зеленые мундиры вдруг хлынули через Неман и Прут, и двуххвостые бомбовозы с крестами на крыльях поползли с прерывистым воем над Киевом, Ленинградом и Минском, и радушный Опрядкин в своем кабинете «вот этими руками» подал ему отглаженную гимнастерку с уже пришитыми петлицами, вернул ремень с тяжелой кобурой, широким жестом показал на свой стол, где пухлую папку сменили коньяк и круглый, нарезанный ломтями, торт. «Напрасно отказываетесь, Фотий Иванович, последний довоенный торт». И видно было по ледяным глазам, с каким бы удовольствием вмазал он жирный сладкий ломоть арестанту в непокорное рыло. «Стало быть, гражданин следовательно, вместе будем теперь отечество спасать?» – спросил Кобрисов, рукою придерживая спадающие штаны, но уже выпрямясь, уже как имеющий власть. «Каждый на своем посту, – отвечал скромно Опрядкин. – И я вам в данный момент не гражданин следовательно, а товарищ старший лейтенант. А вы, товарищ генерал, сейчас поедете в свой Наркомат, вам доверяют дивизию». И еще была мысль, сжигающая, мстительная, бессильная – повстречать бы этого Опрядкина одного на улице, затащить в подъезд... Но тем же вечером пришлось вылететь – принимать, а точнее останавливать и заворачивать свою разрозненную, потерявшую управление, бегущую от литовской границы дивизию.

Не вернулся он и сейчас на коне. Его опять охватили робость и беспокойство. И было досадно – зачем так спешил, какой такой «святой неправотою» себя тешил, пора бы уже трезво смотреть. Он постоял над безлюдным спуском и вернулся к машине.

– Привал, – объявил он своим спутникам.

Все трое смотрели на него с недоумением, и он объяснил мрачно, насупив брови:

– Рано еще, семи нет, куда денемся? И прибратся бы надо, побриться, как-никак в столицу прибыли.

– Она? – спросил водитель, кивая с улыбкою вдаль, в сторону Москвы.

– Она самая, Сиротин. Не верится?

– А метро тут близко? Я вот две вещи посмотреть мечтаю – Кремль и метро.

– Будет тебе и Кремль, будет и метро...

Генерал первым спустился с невысокой насыпи на лужайку. Адъютант Донской, глядя бесстрастно-иронично на его широкую сутулящуюся спину, на складчатую шею, отметил про себя, что в этой очередной дури, пожалуй, есть свой резон. Появляться – особенно в данной ситуации – следовало при полном параде и лучше слегка припозднаться.

Сиротин вырулил на обочину, все трое вылезли, разминали затекшие ноги, курили, а глаз не могли отвести от манящей Москвы.

Шестериков приволок из машины мешок и противогазную сумку, туго набитые, выбрал место поровнее и расстелил на траве плащ-палатку, а поверх – старую, отслужившую срок, шинель адъютанта, которую всегда с собою возил для таких случаев. Трава поседела от инея и приминалась с звенящим шелестом, от которого делалось зябко. Он выудил из мешка термос и все принадлежности для бритья, взбил помазком пену, усадил генерала на шинель и повязал ему на грудь салфетку, затем, передвигаясь вокруг него на коленях, быстро и ловко

выбрил до розового блеска. Ножничками, немецкой золингенской стали, подровнял ему брови и дал посмотреть в круглое автомобильное зеркальце.

Адъютант Донской побрился сам. Водитель Сиротин погладил себя по щекам и раздумал бриться.

Слово «привал» Шестериков понимал капитально – он постелил белую камчатную скатерть и выставил на нее консервы, буханку белого хлеба в целлофане, четыре граненых стопки, флягу с водкой и едва початую бутылку коньяка – французского, из провинции Сognaс. Бутылку он, впрочем, отставил подальше, вытоптав каблуком в земле лунку, чтоб стояла твердо и не свалилась впоследствии от размашистого жеста. Аккуратно, финским ножом с наборной ручкой – из пластинок цветного плексигласа и алюминия – он взрезал большую немецкую банку с маринованными лиловыми свеколками; банку американскую, четвероугольную, красоты необычайной, с розовым фаршем в желе, вскрыл специальным, к ней же припаянным ключиком, наворачивая на него полоску жести – и тем отчасти губя красоту; на дощечке, гладко выструганной и всюду возимой, нарезал хлеб и всем положил немецкие вилки, из алюминиевого сплава фантастической невесомости, с выдавленными на ручках орлами и свастиками. Что еще он забыл? Спohватясь, переменял генералу салфетку. После чего присел, умиротворенный, сцепил на коленях большие руки, картофельной желтизны, с узелками набухших вен.

Генерал смотрел на его работу внимательно, склонив голову набок и чему-то усмехаясь. Вдруг он спросил:

– Что же теперь, Шестериков? Куда твои таланты девать?

Он задал тот вопрос, который давно предвкушался Шестериковым и имел свой заготовленный, отрепетированный ответ, и сердце Шестерикова ощутимо дрогнуло. Он знал, что дважды такие вопросы не задаются, иного случая ему не представится, и всё же не выдал

волнения, ответил просто, как будто даже беспечно, в широкой улыбке показывая крепкие прокуренные зубы:

– Насчет талантов, Фотий Иванович, что уж тут такого особенного... Главное, живы были бы, руки-ноги при себе, и чтоб печали нас миновали. – Потом добавил, вздохнув: – Много перемен бывает, а не все же к плохому. Может, еще обернется как-то...

Донской коротко взглянул на него, удержав усмешку, как удерживают зевоту.

– Какие там перемены, – сказал генерал. – Ну, прошу к столу.

Все четверо придвинулись, ноги положив на траву. Генерал откупорил коньяк, налил адъютанту и себе, поставил перед водителем и ординарцем, чтоб и они себе налили.

Шестериков быстро сказал Сиротину:

– А мы с тобой водочки, верно?

Сиротин взял осторожно бутылку, пощупал с недоверием цветистую наклейку и рельефный узор, поглядел сквозь темное, глубокой прозелени, стекло – и отставил в лунку.

– Да, не про нас питье. Только добро переводить.

Первый тост, как было принято в этом маленьком кругу, не произносился, а лишь подразумевался, он был за всех тех, кого уже с ними не стало, поэтому выпили молча и не чокаясь, затем, соблюдая очередность, принялись выбирать себе из банок мясо и свёколки. Генерал и адъютант под вилки подставляли салфетки, ординарец и водитель – куски хлеба.

Неожиданно маленький пикник был потревожен негромкими голосами. Обочиной шоссе шли женщины – в телогрейках, в платках, в валенках с галошами, держа на плече лопаты или волоча их по земле. Небольшая толпа женщин, растянувшаяся на подъеме, взобралась в гору и проходила поверху, обтекая забрызганный грязью «виллис», – явление четырех фронтовиков, рас-

положившихся поодаль на лужайке, и среди них – генерала, было для кунцевских жительниц, верно, в диковинку, они враз умолкали и проходили как бы не глядя, лишь кто помоложе – посмеивались и перешёптывались.

– Эхе-хе, бабоньки, гвардейцы пищеблока! – пожалел их Сиротин, слегка уже разомлевший. – Картошку, поди, заготавливают. Какая теперь картошка!

– Какая, – сказал Шестериков. – Самая дорогая, сверхплановая. Которую в сентябре не собрали. Небось, теперича и себе наберут, не только государству.

– Всё-то он знает! – удивился Сиротин.

– Как же не знать, ежели лопаты каждая свою несет. Совхозные они там побросали, в будке. А своей-то – оно глубже достанешь.

– А мы-то, дураки, – сказал генерал недовольно, – в рощицу не догадались съехать, расселись тут, на виду, пировать. Люди-то изголодались...

Ему и впрямь неловко было перед женщинами за этот пикник. Но одна из них остановилась и, скинув лопату с плеча, запричитала сиплым, простуженным голосом:

– Ой, ну, что же это вы, мужчины, на сырой-то земле устроились! Так же ревматизм схватите...

– Не жалея нас, мамаша, – Сиротин, смеясь, показал ей стопку, вновь наполненную. – У нас от ревматизма лучшее лекарство имеется.

– Уже я тебе мамаша, – сказала женщина. – Я-то думала – сестра старшая. А это всё обман, твое лекарство. Тебе-то, молодому, еще всё нипочем, а товарищ генерал у вас – пожилые, им бы поберечься лучше.

– Ну уж, и пожилые! – обиделся генерал, слегка игриво. – Я еще таких молодых – двоих заменю.

Она в ответ слабо улыбнулась, показывая этим, что есть вещи, о которых ей-то уже думать поздновато, и генерал ей сказал серьезно:

– Спасибо тебе, дочка. За твою заботу.

– Ой, да за что ж спасибо! – она вдруг обрадовалась, что может чем-то помочь этим четверем сильно бедствующим мужчинам. – А вы б, знаете, вон до той будочки бы доехали, там и обогреечка есть, стол есть, лавки. А нас там до обеда никого не будет, вам свободно. А то на вас даже смотреть зябко.

– Ничего, дочка, – сказал генерал. – Мы привычные. Спасибо тебе.

– Зато какой пейзаж! – сказал Донской, поведя рукою в сторону Москвы. Он уже порозовел от коньяка и взор имел слегка замутненный.

Женщина не нашлась ответить. Ее подруга – с таким же серым, опавшим лицом, – приотстав от толпы, сказала ей строго:

– И что ты, Любаша, к людям пристала, только смущаешь. Люди себе хорошее место выбрали, Москву наблюдают. И радио, может, послушать хотят.

– Это где же радио? – спросил генерал.

– А вона! – женщина, которую звали Любашей, вновь осветилась радостью. – Вона же, на столбе. Не заметили?

Метрах в пятнадцати позади «виллиса» свисал с телеграфного столба огромный репродуктор, с черным квадратным раструбом. И впрямь, не заметили, проехали мимо.

– Он горластый, – сообщила Любашина подруга, – нам на картошке слышно, как известия передают. А вы сами-то – с фронта?

– Откуда ж еще, – сказал Сиротин.

Она сделала таинственное лицо.

– А сейчас отдохнуть приехали? Или на переформировку?

– Есть у нас дела, – ответил сухо Донской.

– Ну, ладно, – заторопилась Любаша. – Отдыхайте. Приятного вам.

Обе женщины пошли дальше, вскинув лопаты на плечо. За ними от Кунцева еще шли, группками и порознь, и одна – молоденькая совсем, круглая, как бочонок, в своем ватнике, перетянутом в поясе концами серого шерстяного платка, – крикнула звонко:

– Фронтовикам, дролечкам, горячий привет от трудящего тыла! А товарищу генералу – особенный.... Как там орёлики наши, хорошо бьются?

– Ох, и бьются, лапонька! – ответил ей Сиротин. – Так бьются, что клочья летят.

– С наших-то? Или с фрицев?

– С наших поменее, с них – поболее.

– То-то веселые вы. А за компанию к вам – нельзя?

– А это спросим, – Сиротин поглядел вопросительно на генерала.

– Отчего ж нельзя, – сказал генерал. – А кого ж мы тут ждали?

Она сперва прыснула и сделалась пунцовая, но тотчас заробела, прикрыла рот ладошкой и затесалась среди других.

Мужчины же, дождавшись, когда пройдут, выпили еще – за Победу, закусили и снова выпили – за Верховного – и ощутили в душе некое вознесение – от принятого внутрь, от запахов отогревающейся земли и травы и оттого, что ждала их вдали Москва, понемногу высвобождаясь из-под сизых лохмотьев тучи. Донской, встав на колени, вытащил свой самодельный портсигар, на котором сапожным шилом выколоты были скрещенные, перевитые гвардейской полосатой лентой штык и пропеллер, а повыше и пониже рисунка – «Будем в Берлине, Андрюша!» и «Давай закурим, товарищ, по одной». Все по одной и взяли – кроме генерала, от которого они ладонями отгоняли дым. То была непременно минута молчания, долженствующая отграничить разговоры суетные от разговора сокровенного и значительного, и она длилась, длилась, никто не осмеливался ее прервать, ждали слова от генерала, и он это понимал,

только не мог собраться – что же ему сказать этим людям, с которыми он прожил, провоевал полтора года и которым завтра уже будет не до него?

Запомнят ли они этот час? Понимают ли, поймут ли когда-нибудь, зачем он выкроил этот привал, ведь другого случая побыть им вместе вчетвером, может быть, и не представится? И вопрос – так ли уж хотелось им этого на прощанье? Вот сидит его шофер, Сиротин Вася, великий химик насчет раздобыть и обменяться и столь же великий модник: гимнастерку он себе обкарнал снизу, так что она едва выглядывает из-под ремня; ремень – конечно, офицерский, с пятью-шестью антабками, на которых болтаются ножичек в чехольчике, зажигалка на цепочке, «парабеллум» с длиннейшим, плетеным из красной кожи, темляком; в погоны – чтоб не топорщились и не гнулись – вставлены целлулоидные пластинки; голенища сапог – тоже офицерских – вывернуты желтым наружу; мало этого, он еще шпоры нацепил, да пришлось приказать, чтоб снял, ведь мешают же на педали нажимать. Водитель он в меру лихой, в меру осторожный, и машина у него никогда не подведет, но кто-то ему внушил, что с этим генералом он войну не вытянет, – это уже по тому чувствуется, как Сиротин поглядывает на него при обстреле или налете: будто не с неба, и не со стороны, а именно от него, генерала, жди гибели. Вот сидит его адъютант, майор Донской, в общем-то порученец толковый и памятливей, только излишне много думающий на тему, отчего бы ему самому чем-нибудь не покомандовать, бригадой там или даже дивизией, да не пробиться в генералы? Другие же преуспели, в те же тридцать с чем-то, отчего бы и не ему? А чёрт его знает, отчего, есть у него как будто и способности, и знания кой-какие, и с начальством обхождение, и что называется «личная храбрость», – но бабы-то, поди, вернее чувствуют, чего мужик стóит: он вот крутит

галантную платонику с рыжей Галочкой из поарма*, а эта самая Галочка наставляет ему ветвистые рога с начальником артрязведки, о чем вся армия только что песни не поет в строю. Вот сидит его ординарец Шестериков, самый близкий ему человек на войне, прямо-таки свирепо заботливый, и без которого действительно как без рук, изучивший все его прихоти и дури, научившийся столы сервировать и подавать крахмальные салфетки, страдающий от того, что не припасено белого винца к рыбке или красного – к мясу. Мечта у него – служить генералу и после войны; не сказать, что вовсе несбыточная, о том же и сам генерал, и мадам генеральша подумывали, да так уж оно повернулось, что либо ему на «передок» в автоматчики возвращаться, либо другому служить так же верно... Вот они, его люди, всё, что ему осталось еще от армии, от ее мудреной жизни, из которой он выпал, как выпадают на ходу из поезда. А поезд летит себе дальше, не заметив потери, и нельзя ее замечать, невозможно приостанавливать ход из-за тех, кто выпал, – чтобы не утратить налаженный ритм, чтобы и быт не потревожить, который так тяжело складывался и наконец сложился. Да, сама война стала бытом – как вон у тех кунцевских баб, что сажают и выкапывают картошку среди арtpозиций и противотанковых «ежей», уже их не замечая, либо спокойно вешая на эти «ежи» свои ватники и авоськи. И армия валит на запад, таща с собою свои моды, свои интриги, свои суеверия и свою счастливую, спасительную забывчивость, – и чёрт дери, в этом тоже есть логика, тоже заключена та самая «непобедимость»!

Он вот бы о чем сказал, пожалуй, – но слова как-то не шли, или шли самые пустые, вроде «ну, братцы кролики, не поминайте лихом», и не выручало хмельное вдохновение. Может быть, потому не выручало, что всех троих братцев кроликов вызывал к себе для бесед

* Политотдел армии. – А в т.

майор Светлооков из «Смерша», наверняка вызывал, не мог не вызывать, да оно ведь и чувствуется, люди после этого как-то иначе смотрят, иначе говорят, и никто из троих про это не сказал генералу, и Шестериков не сказал – вот что всего обиднее было, всего больнее! – некогда жизнь спасший, столько раз фляжку распивавший с ним на двоих. Какую верность выказал, а этого испытания не прошел! О, нет, никого из них не хотелось винить, и даже Шестерикову упрека особенного не было: в чем-то же и ты виноват, если посмели тебя предать, так и начни с себя – почему не отставил их, почему хотя бы не отдалил, сколько можно, свою свиту, почему вид делал, будто ничего не произошло? Да может статья, вся история России другим руслом бы потекла, если б отказывались мы есть и пить со всеми, кого подозреваем? А может, на том бы она и кончилась, история, потому что и пить стало бы не с кем, вот что со всеми нами сделали. Но не об этом же было говорить к застолью, тем более – к последнему. О чем же тогда?

В репродукторе, что висел на столбе и о котором успелось забыть, вдруг щелкнуло – раз, другой, – слышались хрипы и вроде как визг пилы, затем в его черном нутре прорезался женский голос, сказавший время, поздравивший с добрым утром дорогих радиослушателей и приказавший им слушать последние известия. Черный раструб и впрямь был горластый, рассчитанный на всю округу, чтоб широко разливалось над рощами, лугами, оврагами, над огородами и позициями, захватывало бы, небось, и половину Кунцева.

– Я чего спросить хотел, Фотий Иваныч, – очнулся водитель. – Почему они «последние» называются, известия? Когда еще солнце не взошло. Надо бы их «первые» называть. А последние – это уж вечером...

Генерал досадливо поморщился.

– Ты послушай, Сиротин, послушай. Может, и нас касается, нашему фронту приказ...

И, едва сказав, сам понял, чего так ждал все двое суток пути. Ждал, отодвигая в сознании, как ждут приговора. Жаждал услышать и страшился услышать – кто же теперь стал на армию, кто ее дальше поведет, к новым победам и жертвам.

Голос, выплеснувшийся из черного раструба, был теперь мужской, гортанно-бархатный, исполненный до поры затаенного торжества:

– ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО...

Женщины, копавшие картошку, распрямили спины и замерли, опираясь на свои лопаты. В своих оружейных двориках прислушались, подняв головы в касках, зенитчики.

– ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ВАТУТИНУ...

Дыша коньяком, придвинулся Донской – шепнуть: «Угадали!», удивленно взглянули Сиротин и Шестериков. Генерал им всем ответил коротким кивком и слушал, уже не поднимая глаз:

– АРТИЛЛЕРИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА СЕРАПИОНОВА... ЛЕТЧИКАМ-ШТУРМОВИКАМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ГАЛАГАНА... СТРЕЛКАМ И ТАНКИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КОБРИСОВА...

Сам обомлев, он не видел, как вытаращились на него ординарец и водитель, как привстал на колени адъютант, побледневший от волнения. А голос пропал на долгий миг и вернулся, набрав новой силы, загредел звонко-трубно, державно-ликующе, в холодном, изжелта-голубом воздухе:

– ...К ИСХОДУ ДНЯ НАШИ ВОЙСКА, ПОСЛЕ РЕШИТЕЛЬНОГО ШТУРМА, ПРЕОДОЛЕВ УПОРНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОТИВНИКА И ЗАВЕРШАЯ ОКРУЖЕНИЕ, ОВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИЕЙ...

Еще пауза, крохотная и тягучая, как вздох перед разбегом, как замирание перед прыжком в бездну...

– МЫ-РЯ-ТИН!...

Вот как просто – и вместе торжественно – произнесено было, кинута в пространство это труднейшее в мире слово. И, точно бы враз истощился запас сил, ликования, голос приопустился в спокойные низины, даже чуть потускнел:

– ПРОТИВНИК, ПОНЕСЯ ТЯЖЕЛЫЕ ПОТЕРИ, ОСТАВИВ НА ПОЛЕ БОЯ ТЫСЯЧИ УБИТЫХ И РА-НЕННЫХ, ДЕСЯТКИ И СОТНИ ТАНКОВ, ОРУДИЙ, АВТОМАШИН И ИНОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ...

– Ну, уж и сотни! – сказал Сиротин. – Насчет техники всегда заливают. Десяточки – и то слава Богу...

Адъютант на него цыкнул.

– ...ОТБРОШЕН НА ОДИННАДЦАТЬ КИЛО-МЕТРОВ И ОТСТУПАЕТ В НАПРАВЛЕНИИ...

– После штурма, – заметил адъютант, придвигаясь, скорбно приподняв одну бровь. И снова стал весь внимание.

Генерал молча кивнул: да, он слышал. Да, после штурма. И – «завершая окружение». Что значило это «завершая», но не «завершив»? В голове у него сильно шумело, и далекие дома Москвы, которые он видел отсюда, казались не существующими в объеме, а словно бы намалеванными на громадном колеблющемся полотне. А голос, бухающий в уши, словно бы долетал, разрастаясь, из темной прохладной глубины мраморного зала. И не поддаться его ликованию было невозможно, думать иначе – даже кощунственно.

– ...ПРИСВОИТЬ НАИМЕНОВАНИЕ «МЫРЯ-ТИНСКИХ» И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ... – приказывалось осеннему хмурому небу и стылой, усыпанной желтыми листьями земле. – ОРДЕНА КУТУЗОВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ШЕСТАЯ МЫРЯТИНСКАЯ ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ... ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СТО ВОСЬМОЙ МЫРЯТИНСКИЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛК САМОХОД-НЫХ ОРУДИЙ...

Был избран и задействован тот самый вариант, который составилсЯ сразу же после переправы, а задумывался раньше еще – может быть, на пароме, пересекавшем Днепр, – и который он сам от себя прятал подальше, когда узналось, какую угрожающую новинку скрывает Мырятин. Как потом не хотелось этого окружения! Как сожалел он о выдвинутых неосмотрительно клиньях, мечтая втянуть их потихоньку обратно, – как какой-нибудь рак или краб инстинктивно утягивает защемленную клешню, – и морочил головы штабистам, говоря, что не время, что руки не доходят, что есть поважнее цель, что нужно еще прикинуть, обмозговать, подправить, прежде чем им отдать «Решение командующего» для детальной разработки. И так и не прикинул, не подправил, не вернулся к нему, против своего же замысла рогами упирался на том совещании в Спасо-Песковцах. И вот он задействован, брошенный на полдороге план, кому-то там впопыхах подвернувшийся под руку, – и уже ничего не исправить, ни одной жизни не вернуть, истраченной согласно этому плану... В паузе было слышно, как шелестит бумага на столе у диктора, но другой шелест наполнял уши генералу, покалывая сердце тревогой, – шелест еловых лап, опадающих с брони танков, когда перед рывком из своих укрытий они пошевеливают башнями вправо и влево, проверяя поворотные механизмы. С ревом и свистом пронеслись «горбатые»* – низко над окопами, не заботясь об ушах онемевшей пехоты, бережа от «мессеров» слабые свои животы. Пришел тот момент беспомощности, когда всё, что должно было и могло быть сделано, уже отдано в другие руки – и теперь на три четверти, на девять десятых он не властен что-нибудь изменить. Наклонилось огненное жерло – и литейщик отшагнул от формы, в которую полился расплав. Теперь всё зависело от тысяч и тысяч воли, от желаний или нежеланий, от чьей-то

* Штурмовики «Ил-2». А в т.

смелой дерзости или трусливой осторожности, от чьей-то расторопности или головотяпства, но больше всего — от крохотных серых фигурок, рассыпавшихся по белой пелене снегов. Была еще поздняя осень, и никакого снега там, под Мырятином, не выпало, но генерал их видел такими, как в первых наступательных боях под Воронежем, — крохотные серые фигурки на белой, слегка всхолмлённой равнине. Они бегут, бегут, оглашая поле протяжным «А-а-а!» и падают, и тотчас же отползают в сторону, чтобы в другом месте подняться через несколько секунд. Но отползают только живые, мертвые не выполняют этого требования устава, они просто падают и остаются лежать... Что они знали, что успели прослышать — о споре его с Ватутиным, с самим Жуковым, о том, почему их командующий оставил армию, и какая операция дороже, а какая дешевле? Но вот артиллерия перенесла свой огонь на двести шагов вперед, и ракета позвала их на рубеж атаки — о, как тянет назад окоп, как трудно подняться над бруствером, как заранее жалят всё тело невидимые осы! — но они поднялись и пошли, пошли, пошли по кочковатому болотистому полю, перепрыгивая воронки от мин и витки проволоки, разрезанной этой ночью саперами, чувствуя холод внизу живота и горяча себя криком, всеми силами подавляя страх смерти, страх боли, увечья.. И сделали его тем, кем он был сейчас, — командармом, слушающим сводку победы.

Он не видел их лиц, а лишь затылки под касками и ушанками, лишь спины и плечи под серым сукном, подпрыгивающие на бегу. Ни одного имени не мог он вспомнить и не было утешением, что это и не дано командарму, который даже увидеть не может свою армию, разбросанную на многие версты, по хуторам, селам и даже городам, — как может любой батальонный увидеть сразу весь свой батальон, даже полковой командир видит свой полк, хотя бы на торжественном построении.

– МОСКВА САЛЮТУЕТ ДОБЛЕСТНЫМ ВОЙСКАМ, – несло из рупора, – ДВЕНАДЦАТЬЮ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ ЗАЛПАМИ ИЗ СТА ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ ОРУДИЙ...

– Ну, поспешили, – не утерпел Сиротин.

Донской снова на него цыкнул.

«И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ», – звенело еще в ушах генерала. Он сидел на шинели, склонив отяжелевшую голову, а в это время серые фигурки уже достигли окопов первой линии, прыгают с разрушенных брустверов – на тех, кто успел вернуться после артобстрела, – и с руганью, с хряском и лязганьем бьются там, делают свое проклятое мужское дело. Бьются, себя не слыша, а не то что голос этот, роняющий слова тяжело и звонко, словно удары молота: «И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ...» Он падал с высоты и ударялся обземь, как отбивая золотые слитки – цену их усталости, страха, безумной жажды выжить, жаркого мучения ран – пулевых, колотых, резаных, и какие еще там бывают раны? – их злобы к врагу: за то, что сумел опомниться и вернуться в окопы и встретить огнем – кинжальным, фланкирующим, косоприцельным, и какие еще бывают огни?.. Потом всё стихло, не слышно стало и шестеста.

Однако ж, голос вернулся. С новой бодростью диктор читал о награждениях и повышениях, и генерал – как сквозь вату – опять услышал о себе, а скорее почувствовал на плечах некое прибавление тяжести, а на груди – легкое жжение привернутых к кителю наград. Все это надобно было как-то переосмыслить и как-то примерить к себе, словно бы Героем и генерал-полковником стал не он, Кобрисов, сидевший на разостланной шинели со стопкой в руке, а некто другой, стоявший сейчас в вышине, над дымными, чадными полями сражения, как над расчерченной стрелами картой...

Он не сразу почувствовал, как Донской взял его руку со стопкой и наливает ему из бутылки.

– Фотий Иванович, за вас хотим. Разрешите? – Кажется, уже в третий раз он это говорил, глядя восхищенно и преданно. – И я бы добавил – за перспективу. За генерала армии Кобрисова. За командующего фронтом. Я серьезно.

Сиротин и Шестериков сидели, раскрыв одинаково рты, на лицах у них блуждали одинаковые блаженные улыбки.

– За орёликов надо бы, – сказал генерал, насупясь. – За павших героями. Которые жизнь отдали, но обеспечили победу.

Сиротин и Шестериков сразу посуровели и поспешно себе налили из фляжки.

– Тем самым – и за вас, – сказал Донской с нажимом в голосе.

– Тем самым!.. Мы-то здесь при чем?

Глаза адъютанта сделались строгими, в них появился металлический холодок.

– Чужого не берем, Фотий Иванович, – сказал он твердо, поднимая стопку. – Виноват, у меня свое мнение.

В его строгих, в его преданных глазах, однако ж, мог прочесть генерал мучительную, судорожную работу мысли: «А действительно – мы-то при чем? И кто его в список вставил? Ватутин – по старой дружбе, на прощанье? Или – сам Жуков, в виде отступного? А может быть... Нет, не может быть. Ну, не может Верховный всех упомянуть! А скорее всего, просто – машинка сработала. Пока мы тут двое суток шкандыбали... Ах, как чисто сработала! Снятие-то еще не оформили, не согласовали, а новый еще не стал на армию... А Москве – что? Москва смотрит – чья армия 38-я? Кобрисова? Звезду ему на грудь, этому Кобрисову. И на погон задно. Что мы, не знаем, как это делается?» Впрочем, возможно, и не об этом думал адъютант Донской, или не только об этом, а еще и о том, как он теперь пройдет по

ковровым дорожкам Генштаба* – чуть позади генерала и чуть поодаль, всё остаётся прежним, ничего не меняется, лицо и походка те же, но смысл-то, смысл – совсем другой!

– За орёликов, – повторил генерал тоном приказа.

Адъютант Донской склонил голову, подчиняясь с видимой неохотой. Все выпили и зашарили вилками в банках.

– Так, говоришь, чисто сработала машинка? – спросил генерал, усмехаясь. Глазки его, из-под толстых бровей, блеснули озорством и злорадством.

Донской замер с куском во рту, щеки у него ярко вспыхнули пятнами. И, глядя на его растерянную, чеканность утратившую физиономию, генерал ощутил, как в нем самом поднимается волна грозного веселья, мстительной радости, жгучей до слез, поднимается и несет его.

– Не бурей, Донской, не бурей! – Он хлопнул адъютанта по плечу, отчего тот мало не сломался в спине. – Верно говоришь – свое берем! Чисто, не чисто, а пускай нам теперь хоть кто словечко скажет. Чихали мы с высокого косогора! Мы еще за этот Мырятин попляшем, верно?!

Он потянул из-за ворота салфетку. Шестериков, с радостно вспыхнувшей улыбкой, кинулся к нему.

– Дайте сменю, Фотий Иванович. Немножко желеем залили.

– Ступай ты... со своим желеем!

Кряхтя, багровея лицом, генерал поднялся на ноги. Шестериков и адъютант вскочили тоже и поддержали его под локти. Он вырвался от них и, скомкав салфетку в кулаке, погрозил этим кулаком кому-то вверх, в пространство.

* Генеральный штаб – главный рабочий орган Ставки Верховного Главнокомандования. Упоминаемые здесь «Ставка» и «Генштаб» в данном случае одно и то же. – А в т.

– Чихали, говорю! Вот что главное... С висо-окого косогора!

«Никак, он и в самом деле плясать собрался? – подумал адъютант Донской почти испуганно. – А впрочем, с него, чёрта, станется».

Генерал, притопнув, взмахнул салфеткой и запел хриплым, непрокашлявшимся баритоном:

Ах, мы ушли от пррроклятой погони,
перрррестань, моя радость, ддрррожать!
Нас не вввыдадут верррные кони,
воррррных – уж теперь не догнать!...

Трое спутников его стали навтыжку, не зная, куда деть себя; между тем, на них уже все обратили внимание – подходили солдаты, оставившие свои зенитки, подходили робко женщины с огородов, воткнув в землю свои лопаты, притормаживали проезжавшие шоферы – и все смотрели, как грузный, хорошего роста генерал приплясывает около разостланной скатерти с выпивкой и закусками, взбрыкивая начищенным сапогом и помахивая над головою салфеткой.

Застелю мою бричку коврами,
в гривы конские – ленты вплету,
проскочу, прозвеню бубенцами
и тебя подхвачу на лету!...

Адъютант Донской смотрел на него, кусая губы с досады, чувствуя в душе странное уязвление. Не то, что б ему чересчур неловко было за генерала, это бы еще полбеды, но он вдруг почувствовал, что сам бы он, приплясывающий и припевающий обочь шоссе, со своей поджаростью, со своим чеканным профилем, тонким «волевым» ртом и холодными, «металлического оттенка», глазами, выглядел бы совершенно невозможно, неусветно, и никогда бы эти женщины, солдаты, шоферы не смотрели на него с такими просветленными улыбками, как смотрели они на эти восемь пудов... чего? Он и

сформулировать сейчас не мог, чего, но Бог ты мой, как всё вдруг сделалось неважным – и что им теперь запоют в Генштабе, и как они будут выглядеть перед тамошними офицерами, проходя вдвоем с генералом по ковровым дорожкам, и даже что скажет рыжая Галочка из поарма...

На дикой скорости подлетел со стороны Можайска «студебеккер» с надставленными бортами, гружёный брюквой, и стал, клюнув носом. Водитель, лет сорока солдат, опустив стекло, долго приглядывался, что происходит, потом закричал весело, кивая вверх, на черный раструб, из которого изливался теперь победный марш:

– Что берем, бабоньки? Неужто Предславль?

– Мырятин какой-то, – отвечали женщины.

– Чего? – Он приставил к уху ладонь совочком. То ли был глуховат, то ли ему мешал подвывающий двигатель.

– Мырятин! Уши прочисти!..

– Сятин? – переспросил водитель «студебеккера». – Хороший город Сятин. Я, правда, не был, но слышал. – Он помолчал, послушал марш и опять закричал: – Мелкоту отмечаем! А как Харьков сдавали – кто помнит, бабоньки? Одна строчечка была в газетке!

Генерал вдруг застыл с открытым ртом. Он дышал тяжело, лицо малиново наливалось гневом.

– Я те щас дам мелкоту! – Он полез наверх, к шоссе. – Я те щас покажу «Сятин»! Стратег нашелся, Рокоссовский, Наполеон... Засранец! Предславль ему подавай. А Берлина, деятель тыла, не хошь сразу?

Водитель, при виде генерала, подбравшегося к нему снизу, с салфеткой в тяжелом кулаке, обмер и стал бледнеть. Как бы сама собою, судорожно подкинулась к виску ладонь. Как бы сам собою, «студебеккер» тихонько двинулся и, взревев, бешено рванул со спуска.

– Гопник несчастный! – кричали вслед ему женщины, с мгновенно вспыхнувшей злостью к дураку, испортившему праздник. – Дезертир!...

– Чтоб ты взорвался!

– Чтоб тебе, падла, всю жизнь этой брюквой питаться!

Генерал, выбравшись наконец на асфальт, плюнул вслед «студебеккеру», уже и не видному за спуском. И, точно бы его сил только на то и хватило, вдруг поник, обвис, шумно засопел, замычал, как от боли.

– Орёлики мои! – Все его обиды нахлынули на него разом, от слез защемило в глазах, и он, не таясь женщин, вытер глаза салфеткой. – Эх-ма, орёлики...

Отчего так грустно стало, почти невыносимо душе? Из-за этого дурака тылового? Или оттого, что, битый по рукам учительской линейкой, стоял на коленях носом в угол, и это никогда не забудется и ничем не искупимо? Неужели никогда, ничем?... Он стоял одиноко посреди шоссе, никто не осмелился к нему подойти близко, и он смотрел поверх голов – на облако, медленно наползавшее со стороны Москвы, изборожденное серо-лиловыми извилинами, а снизу чуть позолоченное краешком восходящего солнца. Облако меняло свои очертания, различались на нем то надменная голова верблюда с отвисшей губой, а то журавль, с изогнутой шеей и распахнутыми крыльями, и вдруг оно заулыбалось, явственно заулыбалось – злорадной ухмылкой Опрядкина. Той самой ухмылкой, не затрагивающей ледяных глаз, с какой он протягивал на тарелочке жирный сладкий ломоть. «А все-таки вмазали они тебе этот торт, – сказал себе генерал. Было и впрямь, как тогда, предощущение противной сладости на губах, сползающих с носа и подбородка липких сгустков. – Нравится? И кушай на здоровье!», Тут ему вспомнились его предчувствия, что с этим Мырятином непременно должно связаться что-то роковое для него – может быть, даже смерть, и будут его косточки лежать где-нибудь в городском скверике, под

фанерным обелиском, – кажется, так теперь, после гибели Опанасенко в Белгороде, хоронили генералов. Ну, не связалось роковое, погребальные дроги миновали его, страхи не сбылись – много ли они значат, наши предчувствия? – но он-то их пережил! Не подумали об этом отставившие его от армии. Не подумали, как ему далась одна эта переправа, где его сто раз могли подстрелить, как селязня. Почему-то ему казалось обязательным, чтоб те, кто вырывает у нас кусок изо рта, еще бы при этом задумывались, как он нам самим достался. Но ведь нашелся же кто-то, неведомый судия, кто увидел всю цепь его унижений и своим вмешательством разорвал ее, постарался поправить, что можно еще поправить. Могла, и в самом деле, «машинка» сработать, но мог же и сам Верховный – углядеть, оценить, что не в Мырятине, заштатном городишке, всё дело, а что плацдарм мырятинский – ключик не к одному Предславлю, но, может быть, и ко всей Правобережной Украине, и подчеркнул его имя – желтым ли ногтем, мундштуком трубки: «Есть мнение, что в отношении товарища Кобрисова допущено нечто вроде несправедливости. Пожалуй, я к этому мнению присоединяюсь. Нельзя так людьми разбрасываться. Тем более, он у нас, если я не ошибаюсь, генерал-полковник, Герой Советского Союза. Или я ошибаюсь?» Да, могло и так быть. Ну, и что, если даже и Сам? «А только то, – сказал себе генерал, – что вместо одного куска сразу два кинули...» Почему всё так поздно к нам приходит, так безнадежно поздно! Хотя бы и вернули его на армию – разве сам он останется тем же? Непоправимо никакое зло – и не оставляет нас прежними.

Адъютант Донской, поднявшийся следом за генералом на обочину шоссе, наблюдал за ним пристально, с едва уловимой насмешливой улыбкой тонких губ. Поведение генерала не нравилось адъютанту, сказать больше – разочаровывало, в особенности вот эти причудливые изменения. Только что он плясал и пел, но это

еще куда ни шло, можно было объяснить, а теперь вот ушел к столбу, стоял одиноко под ревущим репродуктором, держась рукою за столб, опутив голову без фуражки. Ветерок лохматил ему редкие волосы, вид был неприкаянный. «Перебрамши малость», – определил Донской. И сформулировал по привычке: «Восемь пудов неизъяснимой скорби». Еще и то неприятно было, коробило майора Донского, что генерал дал основание этим женщинам и солдатам-зенитчикам, собиравшимся около машины, вслух обсуждать его.

Женщины поняли генерала по-своему. Иные согласно заплакали и утирались концами платков, иные – так объясняли себе и другим:

– Бедненький, как за сынов убивается!..

– Вот уж судьба-то – всех разом...

– Поди, в одном танке сгорели.

– Чего ж он тогда плясал?

– Да ведь им всем Героя присвоили. Он уж потом-то сообразил, что посмертно.

Далее, на взгляд адъютанта, пошло уже несусветное: одна из женщин – кажется, та же Любаша – всё же подошла к генералу и, взяв его за рукав, стала уговаривать, что не такой-то он старей, жена ему еще и двоих, и троих народит, а он ей говорил, что чихать он на всё хотел с косогора, но люди-то не патроны, их экономить надо, каждого жалко...

– Как же не жалко! – отвечала Любаша, со слезами в голосе. – Зато их народ не забудет. Памятник зато какой всем поставит!

– Шестериков! – позвал Донской. – Сходи-ка за ним, приведи.

– Почему я? – спросил Шестериков. – Вам же ближе.

Донской было заметил, что ближе-то генералу как раз Шестериков, но сказал другое:

– Я при командующем для более важных дел. А ты за его состояние отвечаешь, физическое. И знаешь, как с ним обходиться.

– Ежели б знал! – проворчал Шестериков. – Каждый день им, что ли, звезды перепадают?

Но всё же полез наверх.

Любаша робко попятилась и отошла подальше. Генерал услышал, что кто-то тянет из его руки салфетку, поднял голову, увидел Шестерикова, смотревшего на него грустно и укорительно.

– Фотий Иванович, пойдёте, нехорошо вам тут стоять.

– Чем нехорошо? – Глаза генерала были мутны. – Хочешь сказать – я нехорош?

– Ну, и это тоже...

Сказавши так, Шестериков почувствовал, что власть его, маленькая, но ощутимая власть ординарца над своим хозяином, богом, упёрлась в предел, который переступить страшно. Генералу же вспомнилось мимолетное: как он, выплясывая, вдруг словно бы напоролся на этот же, грустный и укоряющий, взгляд своего ординарца.

– Что, на чужих костях плясал?

Шестериков зябко подернул плечом и не ответил.

– А ты, – спросил генерал, – всегда со мной такой... откровенный?

Шестериков тотчас понял, о чем он говорит и о ком, и опустил глаза. И от этого генерал уверился, что да, было такое, доверительные беседы, о которых умолчал верный человек. Да и нельзя было бы слишком ошибиться – у того же Опрядкина читал он показания бывшего своего адъютанта, бывшего шофера, бывшего ординарца, снятые особистами дивизии задолго до его ареста – после «разоблачения» Блюхера. Никто не отказался показывать на «любимого командира». Никто, правда, особенно и не закладывал его, даже старались, каждый в меру своего ума, как-то его выгородить, но никто же и не сообщил ему о тех беседах. Что же мы за народ такой, подумал генерал. И злые слова шли на язык: «Кому ж ты доложишь, как я себя вел? Твой-то

майор Светлооков – где он теперь?» Но вид Шестерикова был такой убитый, что слова удержались – действительно непоправимые. Можно ли было совсем забыть, как этот же самый человек, попавший в сети матёрого, закаленного «смершевца» – да неизвестно еще, насколько в них запутавшийся, и неизвестно, что и как отвечавший при тех беседах, – этот же человек в сорок первом, не так далеко отсюда, у села Перемерки, тогда еще незнакомый, только что встреченный, повалился рядом в кровавый снег, один отстреливался, вытащил, от верной смерти спас, а могло быть – и от плена, от участи того же Власова?

– Прости, если что худое сказал, Шестериков. – Генерал почувствовал себя так, будто он те слова произнес. – Прости, брат...

– Фотий Иваныч! – Шестериков, с горящим лицом, подался к нему. – Я всё собирался, да никак... Я вам расскажу, как получилось...

Генерал хотел было отстранить его рукою, но только поморщился.

– Не надо, – сказал он, тряся головою. – И слушать не стану. Зачем это мне? – И повторил: – Прости, брат.

Хмель наплывал и схлынывал волнами, и в голове никак не укладывалось, что делается вокруг и почему делается. Водитель Сиротин, не усидевший один внизу на плащ-палатке, взобрался с фляжкой в руке к машине, уселся на свое сиденье, вывалив ноги на асфальт, и всем желающим наливал из фляги в крышечку.

– Эх, женщины и девушки! – орал Сиротин, перебавляя радио. – Красавицы вы мои! Я вам так скажу: на войне – всё, как в жизни. Кому гроб, кому слёзы, кому почет на грудь. Поэтому – за всех выпить полагается!.. Выпьем – и отдадим все силы фронту!..

Адъютант Донской высился на обочине одиноким столбом, кривил губы насмешливо-брезгливо, но вмешаться не спешил. И уже какая-то, мигом захмелевшая бабка, дробненькая и темноликая, в расхристанном ват-

нике не по росту ей, пританцовывала, притоптывала огромным башмаком, истошно гикая и то попадая в такт бравурного марша, а то нарочно невпопад. Бабка, из своих малых сил, очень старалась всех развеселить, насмешить – и явно преуспевала: парни-зенитчики, спешившиеся шоферы, женщины с огородов, запрудив шоссе, сгруживались вокруг нее, и кто подхлопывал в ладоши, кто подгикивал, кто просто смотрел с невольной, несгоняемой улыбкой. Поглядывали с улыбками и на него, генерала, – как из отодвинутой перспективы, из окуляров перевернутого бинокля, – уже, поди, выяснилось там, что не погибли генеральские сыновья, чепуха это, всё у него в ажуре, и стало быть, за него тоже праздновали, за его, как с неба свалившиеся, звёзды. Худые пареньки с тонкими шеями, кормленные по тыловой норме, в шинельках второго срока, с бахромою на полах и на рукавах, в ботинках с обмотками, женщины с опавшими или одутловатыми лицами, чуть только разгоревшимися, порозовевшими от выпитого, от смеха, в тяжелых, как доспехи, уродующих ватниках, в заляпанных грязью и обвисших юбках, в пудовых валенках с галошами, – так выглядел этот, всегда непонятный, *народ*. И генерал представил себе, как бы он вдруг объявил всем этим людям, что там, в Мырятине, русская кровь пролилась с обеих сторон, и еще не вся пролилась, сейчас только и начнется неумолимая расправа – над теми, чья вина была, что им причинили непоправимое зло, – и еще добавь, добавь, сказал он себе, что и сам его причинял с лихвой! – и они этого зла не вытерпели. У каждого была своя причина, но то общее, что сплотило их, заставило надеть вражеский мундир и поднять оружие против своих – к тому же, и неповинных, потому что истинные их обидчики не имели обыкновения ходить в штыковые атаки, – это общее, заранее названное «изменой», не простится одинаково никому, даже не будет услышано. И как не считались они пленными, когда поднимали руки перед врагом, не будут считаться и теперь. Скажи

он всё это – и что произойдет? Проникнутся эти люди чужими сломанными судьбами? И хотя б на минуту прервется или омрачится праздник? А может быть, тяжкий грех – прерывать его, омрачать? Может быть, всё то, что он сказал бы, и неважно – в сравнении с этой скудной радостью, какую доставил взятый вчера и никому из них не известный «Сятин»?

Наверно, есть, думал генерал, еще какая-то справедливость, другая, которой он не постиг, а постиг – Верховный. Он-то лучше всех изучил, что нужно этому народу. Не для себя же одного придумал он эти салюты, не для себя настоял в ноябре сорок первого: «Парад на Красной площади состоится, как всегда». Говорили, это ему посоветовал Жуков. Но так ли важно, кто подал совет, да были же и другие советы, важно – какой из них он принял, а принял – как полководец, понял, что такое война. А может быть, и большее он успел понять – что люди, к которым он был так жесток, мучил, убивал, гноил, единственные и верные его спасители, и человеческое в нем дрогнуло? Не мог же так просто, на ветер, бросить: «Братья и сёстры». Так Бог не обращается к человеку! То был – «отец», а то вдруг – «братья», «сёстры». С горней высоты сошел смиренно, почувствовал себя равным с ними, одним из них. И в самые страшные дни, на пределе отчаянья, сказал вовсе не торжественно, а как мог бы любой, всякий: «Будет и на нашей улице праздник». Какие слова нашел! Какое в них послышалось обещание! Отныне всё по-другому пойдет – еще не сейчас, а когда немца прогоним, последнего немца с последней пяди России, сейчас только об этом думать! Вот и ему, Кобрисову, протянул руку – поверх всех голов, над интригами завистников, – и разрубил узел, который никак не развязывался, враз облегчил бремя, все мучившие его мысли, в которых не дай Бог кому признаться, прочел – и отвел: «Мелочи, мелочи, не имеет значения». И ведь угадал точно, остановил на пороге Москвы, как пригвоздил, предупредив все

нелегкие разговоры в Генштабе, ему же оставил только одно, не отменяемое никакими наградами: помнить и угрызаться, что план по Мырятину был составлен наспех и брошен на полдороге, и все потери, которых могло не быть, повисли на нем...

Между тем, содержимого фляжки там, ясное дело, не хватило, и явилась на свет пятилитровая канистра из-под моторного масла, с чуть разбавленным спиртом-сырцом. Адъютант Донской и тут не посмел вмешаться. Шестериков, охнув, кинулся было спасать канистру, но генерал его удержал за локоть.

— Не надо, — сказал он, всех, кого видел, любя и жалея. — Не жмись. Гуляют люди!..

...Гуляли, наверное, и там, в Мырятине. Еще на западной окраине автоматчики вышибали немцев с верхних этажей и чердаков, и артиллерия на всякий случай старательно расстреливала колоколенку на холме, безглазую и пустую; еще искали «керосинщиков», поджегших мебельную фабрику, только что занятую и оприходованную как спасенное имущество, — пока не выяснилось, что сами же и подожгли ненароком; еще не различить было, где перестрелка, а где так, салютуют, а уже кто-то спал вповалку посреди газона в скверике; уже в центре медсестрички и радисточки сменили тяжелую кирзу на сапожки с каблучками, пошитые на заказ, и готовились выйти погулять на главный проспект; уже кто-то разведаль, где дополнительное спирное, и тащил его в родную роту сразу в четырех касках, держа их за ремешки; уже дымили на площади походные кухни, и осмелевшие мырятинцы пристраивались в очередь с кастрюльками и горшочками — и снова вдруг начиналась пальба: обстреливали немецкий взвод, который вышел сдаваться аккуратным строем, но с таким грязным лоскутом, что его не признали за белый... И может быть, вся вот эта неразбе-риха и нужна была, чтоб люди пришли в себя и поне-

много забыли, как на мглистом рассвете они стояли в сырых окопах, чувствуя холод внизу живота, молясь про себя и ожидая ракету.

Потом они узнают, потом объяснят им, что это было великое наступление.

Генерал вытер пальцами под глазами и увидел перед собою адъютанта – вытянутого, как палку проглотил, с генеральской шинелью на локте.

– Товарищ командующий, – сказал Донской построжавшим голосом. И поправился, нарочито выделяя новое обращение: – Товарищ генерал-полковник... Виноват, но нам все-таки ехать пора. Тут уже, в конце концов, я отвечаю.

Генерал молча кивнул. Дал себя одеть в шинель, нахлобучил фуражку.

– Ожидается, что мы сегодня прибудем, – напомнил Донской, застегивая на нем пуговицы. – Хорошо бы не позже одиннадцати. Времени как будто достаточно, но нужно же в себя прийти.

– Хорошо бы, – сказал генерал.

Он пошел к машине охотно, даже покорно, слегка поддерживаемый адъютантом под локоть. Люди, которых он смутно различал, сразу отчего-то притихшие, расступались перед ним широким коридором. Внизу, под насыпью, Шестериков торопливо совал в мешок стопки, вилки, салфетки, скатерть, сворачивал плащ-палатку и шинель. С двумя громоздкими свертками он поднялся к машине и свалил их за передние сиденья, под ноги адъютанту и себе.

– Получше не мог уложиться? – спросил генерал.

– Фотий Иваныч, дак тут ехать-то сколько...

– Сколько б ни ехать, а фронтovou укладку, само собой, соблюди. Чтoб ничего не торчало, ноги бы не мешало протянуть.

– Ну, я на колени возьму.

– Не надо на колени.

Генерал заговорил строго, посверкивая глазками из-под насупленных бровей; в нем появилась какая-то мрачная решимость, и адъютант Донской почувствовал в груди некое замирание: «Никак, он сразу туда решил ехать!» Это даже восхитило Донского – в высочайшее присутственное место заявиться вот такими как есть, на заляпанном «виллисе», во всём повседневном, полевом, пропахшими грязью дорог, потом, бензинной гарью, немножко и коньячком – тоже не повредит в такой день – *пропахшими фронтом*. И еще бы разыграть, что не слыхали о Приказе, пусть-ка сначала им сообщат, поздравят. Если и есть в этом генеральская дурь, то высокого свойства. Интересно, из ста генералов сколько бы так и поступили? А сколько – не посмели бы?

Однако ж, генерал сто первый, лучше всех изученный Донским, поставил ногу в «виллис» и спросил водителя:

– Как у тебя с бензином, Сиротин?

– До Москвы-то? – сильно порозовевший Сиротин, переваливая малопослушные ноги с асфальта к педалям, беспечно рассмеялся. – Да на нейтралке с горушки домчим, даже без зажигания. На одном, Фоти-Ваныч, энтузиазме!

– А до Можайска? – спросил генерал. – Хватит без заправки?

В груди адъютанта Донского явственно опустилось что-то.

– Товарищ командующий... Виноват, но как же Москва? Нас ведь сегодня в Ставке ждут...

– Кто? – спросил генерал, тем же мстительным голосом, каким он кричал про чиханье с косогора. – Кому там без нас не обойтись? Ставка нам уже всё сказала. Сам сказал!..

– Еще раз виноват... *Хоть я и перебрал малость*, – последнюю фразу Донской произнес с нажимом, – но осмелюсь настаивать. Это чрезвычайно важно! Вы же потом с меня взыщете...

Генерал, широко взмахнув рукою, показал ему на репродуктор. Победные марши смолкли, из черного растреба изливалась тягучая печальная мелодия.

– Вот это мы приняли? – спросил он, глядя в упор в бледнеющее лицо адъютанта. – Звёзды на грудь и на плечи – приняли, я спрашиваю? Значит, и всё остальное должны принять! Кровь пролитая, люди погибшие – не зовут тебя, майор Донской?

Шестериков, укладывавший возимое добро в бортовые коробки, выпрямился и поглядел на генерала с удивлением, с восторгом, но и с мольбою.

– Ставка-то – Бог с ней, оно и лучше туда носа не показывать, но неужто домой не заедем? Фотий Иваныч, дочек не повидаем? Майю нашу Афанасьевну не порадуем? С меня не то что вы, она с меня взыщет!

Донской обратил взор на Шестерикова – как на последнюю свою надежду.

– Порадуются и без нас, – буркнул генерал. – Приказ, небось, уже слышали. Что мы им другого скажем?

Он поглядел на Москву, всю в проплешинах от лучей бледного холодного солнца, проникавших в разрывы облаков. Он поглядел на нее без всякого интереса, и это яснее всего сказало Донскому, что убеждать его, соблазнять чем бы то ни было – пустое: ни тем, что им всё же есть резон хоть показаться в Управлении резервов Генштаба и кое-что разведать, ни тем, что они вполне могли бы, без особенных угрызений, провести сутки в Москве, хлебнуть столичного воздуха и увезти кое-какие воспоминания, ни даже несколькими часами дома, с семьей, которую генерал может и до конца войны не увидеть. А то и вовсе не увидеть.

– Так что, заводить? – спросил Сиротин. – Куда ехать?

– Указан тебе маршрут, – сказал Донской потухшим голосом.

До Сиротина, однако, еще не всё дошло толком. Он смотрел на домишки и сады Кунцева и улыбался.

– Эх, да как же это не погулять, салют не посмотреть, в кои-то веки? На метро не прокатиться? Был я в белокаменной ай не был?

Генерал, грузно усаживаясь, ответил ему еще сдержанно:

– Нагуляешься, Сиротин. После войны. Ребенок ты? Не видал, как из пушек бабахают? Давай заводи.

Но и запустив мотор, Сиротин еще не всё до конца понял.

– Фотий Иванович, а может, всё же сгоняем, а? Ну, на часок хотя бы? Ведь дело ж какое!..

Генерал, багровея, затрясся от гнева.

– Что, совсем окосел? Трезвей у меня щас же, мобилизуйся! Какое у тебя там дело? У тебя на фронте все твои дела! В армии, понял? И крути назад! Крути, говорю!

Сиротин поспешно схватился за рычаг, со скрежетом включил передачу. Выкручивая руль доотказа, он взглядывал на генерала испуганными глазами, словно с недобрый предчувствием; лицо его было несчастное, едва не плачущее. Люди, всё видевшие и слышавшие, медленно расступались перед широким тупым рылом «виллиса». Солдаты-зенитчики поднесли ладони к каскам, женщины крестились. Темноликая бабка, поднявши троеперстие и кланяясь, крикнула шепеляво: «Сохрани вас Господь, касатики!..» Лица у всех были грустны, точно бы на них отражалась истекавшая из черного раструба тонкая пронзительная щемящая нота.

Генерал, против устава, всем откозырял сидя.

Адъютант Донской, стиснутый, скорчившийся на заднем сиденье, чувствовал в душе уязвление – оттого, что не разгадал очередную «дурь». Вина, разумеется, была его, но винил он в своей ошибке почему-то генерала, которому не преминул съязвить:

– Хорошо бы, товарищ командующий, нас на первом КПП* не завернули – без надлежащего предписания.

– Нас-то? – Генерал не оглянулся, а лишь откатнул голову назад. – Хотел бы я посмотреть тому в рожу, кто нас от войск завернет. Чёрта ему лысого, хренушки – нас теперь от армии отставить! Успеть бы только, успеть... Нам бы вчера там быть. Давай, Сиротин, жми!

Круто вильнув и оставив на шоссе две синусоиды грязи с обочины, «виллис» взревел и пошел, набирая ход, к Можайску. Еще раз, из-под тента, с отчаянием на лице, оглянулся Сиротин. И больше все четверо на Москву не оглядывались. Траурный марш отдалялся и затихал, всё сильнее бил в стекло и хлопал брезентом ветер.

Прав оказался генерал Кобрисов, а не адъютант Донской – на первом КПП их не только не завернули обратно, а даже напротив, поздравили и передали о них по телефону на следующую «рогатку», чтоб пропускали без замедления. Их кормили и водку им отпускали без продаттестатов и заправляли бак, не спрашивая талонов и накладной. Среди машин, спешащих на запад, маленький «виллис» не мог затеряться и застрять, он переходил из одних предупредительных рук в другие.

Сегодняшний день – весь целиком – принадлежал генералу. Весь этот день он ехал триумфатором, потому что столбы с черными раструбами попадались на всём его пути, и каждый час гремело из них:

– ...СТРЕЛКАМ И ТАНКИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КОБРИСОВА... И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ....

И державно ликующий голос разносился широко окрест – над холмами и ухабистыми дорогами, выбегавшими к шоссе, над мокрыми прострелянными перелес-

* Контрольно-пропускной пункт. – А в т.

ками, над печными трубами хуторов и деревень, испустившими свой последний дым два года назад. Всякий раз, подъезжая к такому столбу, водитель Сиротин притормаживал, чтобы еще раз послушать и дать послушать генералу, а потом рвал, как угорелый, мучая мотор, губя покрышки. И уносилось вдаль, за корму:

– ВЕЧНАЯ... ПАВШИМ... НЕЗАВИСИМОСТЬ... РОДИНЫ...

Впрочем, этого генерал как будто уже и не слышал. Он сидел неподвижно, вцепясь обеими руками в поручень, приваренный к приборной панели, выставив на ветер толстое колено, обтянутое полою шинели, и смотрел, хмуро и сосредоточенно, сквозь тусклое стекло, в летящее навстречу пространство. Адъютант Донской, перегибаясь с заднего сиденья, старательно укутывал ему горло серым, домашней вязки, пушистым кашне.

Он мог бы этого и не делать. Генералы – когда они едут к войскам – не простуживаются.

ИЗ КНИГИ «МОНОЛОГИ»

(1987)

ФОКУСНИК

На сцене – стол и стул. Появляется ФОКУСНИК в черном плаще с алой подкладкой, в цилиндре. Показывает нам обычный бумажный пакет.

Пакет. Бумажный. Можете взглянуть –
В нем – ничего. Сейчас пакет поставлю
Вверх донышком и по нему ладонью
легонько хлопну...

(Пакет с громким треском сминается.)

Выстрелили? Где?

(Хватается за плечо, недоуменно рассматривает свою ладонь.)

Что это?... кровь?... Я ранен... Вот так фокус!
Нет, только поцарапало... Смешно!
Мой трюк совсем не в этом заключался
такой игры я вовсе не хотел...
А между тем мой фокус получился!
Вот. Демонстрируют. Пакет. Бумажный
А где, скажите, банка с огурцами
которая, конечно, в нем была?..

(Застывает в ожидании аплодисментов, затем церемонно раскланивается, прижав левую руку к груди.)

Благодарю... Но и прошу учесть
здесь – никакого чуда. Есть в журнале

НАУКА И РЕЛИГИЯ отдел
«евангельские фокусы», и я
всегда статьи внимательно читаю

(Фокусник берет черный цилиндр, показывает его зрителям.)

Вот мой цилиндр, мой черный шапокляк
Показываю. Пуст, как черный космос...
А между тем, мой космос забросает
вас валенками, зайцами, мячами
подушками, врачами, басмачами
и денежными знаками и градом
медалей, орденов и оскорблений
удачами и дачами, любовью
бокалами, могилами и мылом
морскими свинками и целой кучей
цветных платков, мышей и обещаний
смотрите все внимательно... Сейчас!

(Хлопает ладонью по цилиндру, он с треском складывается. В тот же момент Фокусник с криком хватается за бедро.)

Попало! Снова... Кажется, в бедро
Нет! в ягодицу, в мякоть... Сумасшедший!

(Кричит.)

Садист и хам! Мазила! Педераст!
Не знаю, где ты, положи винтовку!
Стрелять сначала, дура, научись!

(Садится на стул, с криком вскакивает, плаксиво.)

Естественно, теперь я буду дамам
в метро и всюду место уступать...

(Рассматривает цилиндр.)

Друзья, ура! наш фокус получился.
Все наши генералы и улитки

все наши танки и морские свинки
все тени наших смутных настроений
сейчас, пока я хныкал, перед вами
проехали, прошли и пробежали.
Вот – мышь!.. Сейчас поймаю!.. Не успел

*(Замирает в ожидании аплодисментов, рас-
кланивается.)*

Но повторяю: никакого чуда
И мистики здесь тоже ни на цент
– простите мне грузинский мой акцент –

(С акцентом.)

Уверенности здесь большой процент

(Из-за кулис достает воздушный шарик.)

Воздушный шарик, он тугой и гладкий
Откуда взялся? Никакой загадки
Его своим дыханьем породил
я сам – и завязал суровой ниткой
Он весь наполнен углекислотой
Теперь владея этой красотой
я втихомолку подношу иголку...
Что, думаете: с ним сейчас случится?
Нетрудно догадаться, шарик хлопнет –
Да, выпустит он стаю голубей
и голуби по залу разлетятся
и вас овеет ветром – тени крыльев
Одни, воркуя, сядут на плафоны
другие тотчас выпорхнут в окно
Но фокус в том и будет заключаться
что станете вы птицами – взлетите
и каждый по желанью своему:
одни, воркуя, сядут на плафоны
другие тотчас выпорхнут в окно
А журавлями, чайками хотите –
и чайками вас сделаю сейчас

Расслабились и приподняли плечи...
Взлетаем!

(Шарик лопается. Фокусник падает, схватившись за сердце.)

А! Я ранен... Нет! Убит...
Но вижу я: наш фокус получился
со стульев – белый вихрь – вспорхнули птицы
вверх, вверх – и снегом в зале закружились
спеша, толкаясь, вылетают в окна
над крышами летят, материками...
Друзья, прощайте!.. Никакого чуда!..
Единственно – запомните – любовь!..

(Фокусник умирает.)

ВЕСЕННИЙ БУКВАРЬ

По размытому раздрызганному проселку шлепает ЮНОША в резиновых сапогах. Он в стеганом ватнике, скуловат. Останавливается, смотрит в небо. Показывает ему большой толстый язык.

Не дразню никого, нет. Просто говорить не умею. Не научился. Думать, пожалуйста. А говорить – дудки. Это же надо звуки произносить. Одни такие выгнутые, круглые. Другие, всё – крючками, крючками, будто идешь по лесной дороге, о корни спотыкаешься. И потом звуки – они большие. Кажется, пустишь его раскатисто, он и покатится, еще задавит кого-нибудь. Может быть, старушку... Хоть и страшно, а любопытно, как это про-износить? Износить что ли сначала?

(Из-за пазухи достает БУКВАРЬ, разглядывает.)

Думаете, у мальчишки какого отнял. Или яблоко выменял? В библиотеке дали. «Все, говорю, надоело. Одно и то же. Дайте Букварь, может, научусь

чему». Мне и дали. «Страницы только не рви, говорят».

(Читает.)

А. А. У. АУ. Забавно! АУ! (Кричит.) А-А-У! А-У-У-У!.. Пошло, пошло, поехало! Над полем, над прошлогодней стерней, над жесткими кочками... А там лес передовые елки выставил... (С беспокойством.) Заденет, заденет сейчас! За маковку!.. (Облегченно.) Выше ушло. Теперь – к горизонту. Дрогнула там струна... Обратно покатилося. Шумное, лесное с таким подрыгиванием... А-у-у... В пыльный бурьян ушло, только сухие былинки колыхнулись...

Вот что значит говорить уметь! Ты как флейточка, кларнетик, может быть скрипочка какая-нибудь. А тебе – на рубль тыща – целый оркестр! И такие завитки там образуются, если вчувствоваться: лезет холодным носом, толстым водянистым жгутом лиловый подснежник из льдистой земли... – да времени нет! АУ и всё тут. Хороший человек – Букварь. Только открыл, кажется, всему научился.

(Читает.)

«А. У.У.А. УА.» Наоборот получается. Но если АУ – это всё, значит УА – это я. Уа-уа-уа, варится во мне тайна моя. Вот где – под ребрами – интрига. УА-рочается разе-уа-ет свое уа. Погладить надо, поерошить. Иначе не живет.

А кругом весна: всякие там АУ и разные УА. Небо, конечно, АУ! Самолет... Самолет – УА. Он ведь тоже младенец в небе, летит, плачет: уа-уа! И настроение выходит – УА. Как много я уже знаю. Еще больше хочу знать.

(Читает Букварь.)

МА-ША. ШУ-РА. МА-ША МА-ЛА. У ШУ-РЫ
ША-РЫ. ШУ-РА УМ-НА... Вот оно что – ШУРА УМ-

НА! Как все раздвинулось, как-то разлепилось, отделилось друг от друга, перестроилось сразу. Одно проступило четко. Другое к горизонту ушло, как бы дымкой подернулось. Отдельные предметы обступили меня. Самостоятельные вещи. И каждую я свободно могу называть. *(Показывает на себя.)* МАША МАЛА. *(Вздыхает.)* Это правда, конечно. *(Показывает снова на себя.)* Но – ШУРА УМНА. *(Показывает на свой лоб.)* У ШУРЫ ШАРЫ...

Далеко весной видно. Там край нашего поселка. Смотреть не на что. Два трехэтажных барака, белые. Дерево на огороде – будто вывихнутое. На ветках тряпка висит. Нет, нет, теперь всё будет иначе. Всё будет хорошо. Всё своим именем назову...

Одно строение – МАША. Чудесно! Другое, штукатурка над дверью облупилась, пускай – ШУРА. Замечательно! Окна в сумерках жидким чаем светятся. И дерево не обижу, пусть тоже – МАША. Собака по дороге трусит – ШУРА. Человек идет – МАША. Еще один – бежит, ШУРА... Погодите, что они делают? ШУРА дерется. МАША падает. *(Кричит.)* НЕ БЕЙ ШУРА МАШУ. МАША МАЛА.

Не слышат. Не знаю, из-за чего это у них вышло... А если и узнаю, зачем всё это нам? Наше дело назвать, обозначить. Одинокая галка полетела – МАША. Большая лужа на дороге – ШУРА. Магазин, да там и на вывеске намалевано, отсюда видно – МАША. Махнула светом, бухнула фанерная дверь. Только и остается сказать: ШУРА УМНА. ШУРА УШЛА. А МАША?

Сразу стало как-то понятней жить. И приятней. Что с ними далее-то случится, как разовьется? Дадут ли ШУРЕ на Шурины шары бутылку или – уже закрыто? А МАША, может быть, утерла рукавом сопли с кровью и пошла себе, не очень и обиделась. Что делает – МАША МАЛА. А ШУРА, которая собака, верно где-то уже возле станции бежит, хвост баранкой. По платформе ходят ШУРЫ и МАШИ. И почти у каждой ШУРЫ ША-

РЫ в авоське. А в бурном весеннем небе МАМА МОЕТ РАМУ. Вон и краешек луны, заблестела.

Течет, стучит электричка. В вагоне – ШУРА и МАША. ШУРЕ хорошо – весна. МАШЕ хорошо – весна. И тебе – в тебе такое: с утра до поздней ночи МАМА МОЕТ РАМУ! МОЕТ добрая душа, МОЕТ РАМУ – и всё! Всё ты можешь назвать, всё изъяснить. В смысле ясности.

ЛИЦО

Человек после сорока, скорей всего научный работник, может быть – актер-любитель, сидит на стуле перед зеркалом, как в гримерной. Человек изучает себя в зеркале. На столике и стуле – картонные коробки.

Набухли веки. И морщины резче
Да, к вечеру морозней седина
Лицо для будней. Каждый день с утра
хватаешь, надеваешь торопливо
Разгладишь наспех... Кашляешь, спешишь...
И все кругом, на улице, в метро
торопятся и лица поправляют
едва ли не роняют на ходу
А праздничные далеко не всем
доступны... У меня зато – набор

(Поглаживает свое лицо.)

Открытое, как городская площадь
Простое, как приказ по институту
Привычное, как старая тахта
Да вот устало – целый день таскаю
Пора ему в коробку – отдохнуть

(Снимает свое лицо, кладет в коробку, тут же надевает другое – проделывает это быстро, привычно.)

Для вечера – и выбрито уже
Иду в театр... Животное! забыл! –
придет сегодня Машенька! Ведь я же
с работы ей звонил!.. Нельзя, нельзя...
Где у меня лицо «киногероя»?
Потасканное, злое – с молодыми
глазами – и на лбу седая прядь!

(Ищет, роется в коробках.)

Опять отдал приятелю!.. Опять
надеть придется «доброго младенца»

*(Быстро снимает одно лицо, надевает дру-
гое, смотрится в зеркало.)*

Великовато. Щеки отвисают
расплывчатые мягкие черты
Чтоб этот паралон, румяный блин
немного оживить очки надену

(Надевает очки, любуется.)

Добряк. Жуир. И знает себе цену.

(Звонит телефон. Он берет трубку.)

Алло, алло... Да, слушаю... Ах, Ника!..
Да, Ника Вячеславна, очень-очень
признателен... да, буду... как всегда...
Нет, нет, не занят, буду аккуратно...
Привет супругу... *(Кокетливо.)* Чуча!.. Чудера!

(Кладет трубку телефона, задумывается.)

Парадное лицо надеть придется
Есть целых три. Одно – для именин
Другое – для коллоквиума. Третье –
Почтительно-улыбчивое. Вот!..
А если то со «сдержанным восторгом»?
Не чересчур!?? Успеть купить цветы...
Не опоздать бы... Будут дипломаты...
Еще одно... не розы, а гвоздики...

(Рассуждая таким образом, поспешно примеряет разные лица. Вдруг замирает.)

О Господи!... Что это я наделал?
Чужое, незнакомое... Скорей
содрать его и прежнее надеть...

(Пытается снять чужое лицо.)

Приклеилось... Присохло... Чу-де-ра!
Откуда?.. Чёрт! подсунули, конечно!
А я – дурак хватаю, не гляжу
пришлепываю!

(Разглядывает себя в зеркало.)

Ну и физиома!
Не то чтобы уродливая, просто
такое вопиет здесь торжество
самодовольства, пошлости и фальши...
Пир глупости!! Убожество разврата!
На гладком лбу – бездарности печать!

(Плюет в зеркало.)

Куда теперь идти? В какие гости?
Враз углядят, осудят: «А, голубчик
вон ты какой! А мы не замечали
считали симпатичным, остроумным
Ан ты – дурак. Ступай-ка, братец, вон...»
И крики и тычки со всех сторон!
Головки птичьи, морды носорожки
Свинные рыла, обезьяньи рожи!
А гаже всех ухмылка динозавра:
«Я завтра занят... Да, и послезавтра...
На той неделе, может быть...» Конец!
И будет презирать еще наглец!
Остаться дома? Машенька придет
посмотрит простодушными глазами
лиловыми, как темные фиалки

и скажет: «извините, мне пора –
и мама беспокоится»... Ах, мама!
Уродина – твоя мамаша! Мымра!
Кривое зеркало! Капустное хлебало!
Сосиськорыл!.. прости меня... прости...

(Плачет, пытается снять чужое лицо.)

Быть может еще можно... как-нибудь...
Хоть отскрести... или распарить в ванне
сначала... Бритвой срезать?.. Не могу...
За что мне наказание, за что?

(Становится на колени.)

Скажите, перед кем я провинился?
Перед какой иконой мне ползти?..

(Пауза.)

(Вдруг его осеняет.)

Нет, нет!.. А что?.. Мне кажется, я голь
которая на выдумки способна...
Возьму сейчас картонную коробку
и вырежу отверстия для глаз,
две дырки для ушей, одну большую –
для рта... Вот так... Покушать я люблю...

*(Вырезает в коробке отверстие, надевает,
как маску, завязывает тесемками.)*

И в обществе не стыдно показаться!
Я тут же стану темой разговоров!
Кто я? Людовик или просто Вовик?
В горах пропавший без вести Егоров?
А может быть я – рыба, толстолобик?!
Я – мистер ИКС! – Я – тот смертельный номер!
Наследник трона – старый князь Владимир!
Я сам не знаю – жив я или умер...
Я – Поженян! Нет, этого мне мало...
Сорвете маску, я под маской – Мао!
Я – Калиостро! Троцкий! негритянка!

Тигр! Нет! гибрид профессора и танка –
Калимотор!... Все выдержит личина
Причина? Неизвестная причина...
Кинжал и мрак!

БЕДНЫЙ ИОРИК
(ПОЧТИ ДИАЛОГ)

*Есть многое на небе и земле,
Что и во сне, Горацио, не снилось
Твоей учености...*

«ГАМЛЕТ»

*В классической позе, став одной ногой на могиль-
ный камень, ГАМЛЕТ разглядывает ЧЕРЕП, который
держит в руке.*

ГАМЛЕТ. Бедный Иорик...

Здесь и далее ЧЕРЕП говорит устами ГАМЛЕТА.

ЧЕРЕП. Я... Не бойся, Гамлет.

Воспользовался я твоей гортанью,
а также позаимствовал язык.

Живой и красный плещет, будто рыбка,
свистит, хлопчет, будто птичка в клетке.

Отвык от плоти. Тесно, горячо...

Поговорим? Тем более, что зубы
свои, как видишь. Зубы – не прошу.

ГАМЛЕТ. Ты шутишь, череп.

ЧЕРЕП. Череп – вечный шут.

Скажи-ка мне, ты можешь отличить
одно зерно пшеницы от другого?

ГАМЛЕТ. Пожалуй, нет.

ЧЕРЕП. А как же ты берешься

мой череп отличить от своего?

Я вправду «бедный Иорик», угадал.

Ты угадал, а мог бы промахнуться,
попасть не в куропатку, а в соседа.
Я той же формы, благородной лепки
и, как у всех датчан, крутой и крепкий,
хоть мой хозяин карлик был – и шут.

ГАМЛЕТ. Ты прав, мой драгоценный белый ларчик,
Ты мог принадлежать кому угодно.
Пощелкай крышкой.

ЧЕРЕП. Вместе – и потом.

Меня Шекспир тебе подсунул, Гамлет,
чтоб мог ты разразиться монологом
о знатной даме, что ее лицо
каким бы толстым слоем ни лежали
на нем румяна, вроде моего...

Другую тему мы с тобой поищем:

ГАМЛЕТ. А разве есть другая?

ЧЕРЕП. Видно, есть.

ГАМЛЕТ. Меня одна лишь занимает – месть!

ЧЕРЕП. Недолго ждать козленку. В пятом акте
всех забодаешь: петушка Лаэрта,
куницу Клавдия и кошку Королеву –
и тут же в тронном зале на закате –
как мне живописать картину эту? –
разорванная белая рубаха,
растрепанные волосы до плеч...

ГАМЛЕТ. Мне кажется, ты чересчур увлекся, маляр.
Так я нетерпелив?

ЧЕРЕП. Потому что влюблен.

ГАМЛЕТ. Значит, я глуп?

ЧЕРЕП. Как все влюбленные.

ГАМЛЕТ. В кого же, шут, я, по-твоему, врезался?

ЧЕРЕП. Ты втюрился в смерть, дураку ясно.

ГАМЛЕТ. Как же можно втрескаться в такой предмет, дурак?

ЧЕРЕП. А так, что даже покончить с собой из-за без-
надежной любви, умник. Смерть – известная кокетка.
Она и привлекает и отталкивает в одно и то же время,

и не открывается никому. Вспомни, с каким упоением ты слушал, что нашептывает тень твоего отца... А когда ты проткнул шпагой портьеру и острое вошло в живую плоть... И разве ты не полюбил утопленницу?.. Лучше брось все, ложись на этот могильный холмик и усни, дурачок. Сон – репетиция смерти. Кто спит – разучивает свою роль. А раньше или позже будет премьера.

ГАМЛЕТ. Кроме шуток, шут, что – т а м ?

ЧЕРЕП. З д е с ь ?

ГАМЛЕТ. Т а м .

ЧЕРЕП. Прежде всего расскажи, что видишь вокруг.

ГАМЛЕТ. Пожалуйста, философствующая кость. Вот разрытая мокрая яма, из которой торчат гнилые доски. На дне ее – два могильщика в капюшонах, видны только носы и взъерошенные бороды. Свежая глина в отвале. Вокруг – кресты, надгробия, склепы. Поодаль кладбищенская часовня. Дальше на пустоши пасется стадо свиней. Все в черных и бурых пятнах, худые, как кошки, разбредаются между могил, похрюкивая. Из часовни вышел бородатый монах, бранит свинопаса. Свинопас палкой гонит свиней с кладбища. Свинцовое небо, несколько мазков белилами сверху – вот и вся картина. Недаром у художника-итальянца я учился новейшим законам перспективы.

ЧЕРЕП. А теперь, художник, посмотри сквозь мои очки.

(Гамлет подносит череп к своим глазам.)

ГАМЛЕТ. Пространство заполнено разнообразными плотными формами. Яма. Налита до краев клеем, в котором лениво шевелятся фигуры, поднимаются и опускаются заступы. Между могилами разлеглось зеленое... как бы это назвать?... межмогилье! Между крестами расположились красивые междукрестья. Между бегающими свиньями – междусвинье то вытягивается, то сжимается. А между монахом и свинопасом воро-

чается толстое, как змей, монахосвинопасье. Над равниной простирается бледное надравнинье, как засохший сыр. А река вся серебрится и течет навстречу себе... Ерго, обычно мы видим не все яблоко, а ровно половину.

ЧЕРЕП. Меньше, принц, крошечный огрызок, даже не откусить. Поднеси меня ближе и посмотри в мои окна снова.

(Гамлет смотрит сквозь глазницы Черепа.)

ГАМЛЕТ. На дне глубокой ямы – могильщики. А это что?.. Над капюшонами плавает полупрозрачное, сдвоенное, колышется, как медуза... отсвечивает лиловым, красным, почти пурпуром...

ЧЕРЕП. Это э р р о е. Оно всюду, где люди. Только всюду разное. Над тобой, как сине-желтый колапак. Над монахом ясное, как серп полумесяца. У свинопаса – тоже серп, багровеющий, кверху рожками.

ГАМЛЕТ. А этот кристалл, светящийся у корней ивы?

ЧЕРЕП. Этот сам по себе. М е с т а к р и з.

ГАМЛЕТ. А эти, плавающие над водой, как волосы Офелии! И еще – похожие, мохнатые клубки! Катаются всюду. И эти – длинные бледные полосы! Черные мельтешащие точки! Они пронизывают меня – и какая-то неуловимая часть моего существа испытывает неизъяснимое блаженство, тогда как остальное замирает от ужаса.

ЧЕРЕП. Спокойно, принц. Такое всегда бывает в сумерках. А точки – атомы темноты, мы их зовем м е т ч о т ы.

ГАМЛЕТ. Над нашим унылым Эльсинором обозначаются зыбкие длинные дворцы, однообразно уходящие ввысь и сливающиеся с темным небом. И там вверху и здесь вокруг зажигаются миллионы звезд и светильников...

ЧЕРЕП. Призраки, кочующее будущее... Хотя далекое, близкое, большое и малое – все человеческое,

слишком человеческое, Гамлет... Вот подул ветер, заколыхались, исчезли... Закрой глаза и посмотри опять.

ГАМЛЕТ (*смотрит*). Постой, сквозь расплывчатые контуры одного могильщика проступает какая-то жуткая сцена: растерзанная мегера душит его самого, пьяного! забавно! А другой копает заступом глину и в то же время бьется в конвульсиях, на соломенной подстилке, чадающий факел. Чума! Это чума! А кругом кусты, памятники — тоже шевелятся, меняют свое обличие. Мраморный ангел превратился в белую глыбу. Всюду хрюкают толстые свиньи, разрешаясь от бремени. Из них сыплются горохом поросята, которых кормят, ловят, насаживают на вертел, поджаривают на огне и пожирают одновременно. А монах, который вышел из часовни, его обнимает голая девка, и он уже истлевает! А свинопас, не успел родиться, уже сгорбленный старик! А сколько кругом процессий! Каклюдно на этом заброшенном кладбище! Пищат дудки, гудят волынки! Сверху валяются синие... внизу просвечивают зеленые... Розовые проходят сквозь лиловых... Время ускорило свой бег... Вихрем кружатся стрелки и показывают: нет, нет, нет небытия! (*Закрывает лицо руками.*) Вар, Вар, верни мне мою скудную реальность.

ЧЕРЕП. Что, трусил, принц?

ГАМЛЕТ. Не трусил, а страшусь.

ЧЕРЕП. Чем дальше, тем забавней, дурачок.

Показывать?

ГАМЛЕТ. Показывай.

ЧЕРЕП. Смотри.

ГАМЛЕТ (*с закрытыми глазами*).

Боюсь открыть глаза, а вдруг увижу
что видит червь со дна глубокой ямы
или что видят звезды с высоты.

Положим, вступишь в комнату свою
и зришь: неизъяснимо все вокруг,

А комната твоя полна существ
и лиц, тебе доселе неизвестных...
ЧЕРЕП. Открой глаза. Что видишь, говори.
Гамлет медленно открывает глаза, видит нас.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Главный редактор
Ирина И л о в а й с к а я - А л ь б е р т и

LA PENSEE RUSSE
217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris, France
тел. 45 63 21 83, 45 63 94 47, 45 61 05 79
телекс 64 98 13 Pensrus

Крупнейшая русская еженедельная газета
в свободном мире

Информация о событиях в Советском Союзе, в
странах коммунистического лагеря, в странах
свободного и Третьего мира

Тексты авторов из СССР – самиздатские и напи-
санные специально для газеты

Аналитические статьи по политике и экономике,
литература, мемуары, статьи и заметки по лите-
ратуре и искусству

Об условиях подписки справляться в редакции

ВСТРЕТИЛИСЬ, ПОГОВОРИЛИ

Все считали его неудачником. Даже фамилия у него была какая-то легкомысленная – Головкер. Такая фамилия полагается невзрачному близорукому человеку, склонному к рефлексии. Головкер был именно таким человеком.

В школе его умудрились просто не заметить. Учителя на родительских собраниях говорили только про отличников и двоечников. Среднему школьнику, вроде Головкера, уделялось не больше минуты.

В самодеятельности Головкер не участвовал. Рисовать и стихи писать не умел. Даже читал стихи, как говорится, без выражения.

Уроков физкультуры не посещал. Был освобожден из-за плоскостопия. Что такое плоскостопие – загадка. Я думаю – всего лишь повод не заниматься физкультурой.

Учитель пения говорил ему:

– Голоса у тебя нет. И души вроде бы тоже нет.

Учитель скорбно приподнимал брови и заканчивал:

– Чем ты поёшь, Головкер?..

Общественной работой Головкер не занимался. В театр ходить не любил. На пионерских собраниях Головкера спрашивали:

– Чем ты увлекаешься? Чему уделяешь свободное время? Может, ты что-нибудь коллекционируешь, Головкер?

– Да, – вяло отвечал Головкер.

– Что?

– Да так.

– Что именно?

– Деньги.

– Ты копишь деньги?

- Ну.
- Зачем?
- То есть как зачем? Хочу купить.
- Что?
- Так, одну вещь.
- Какую? Ответь. Коллектив тебя спрашивает.
- Зимнее пальто, – отвечал Головкер...

Закончив школу, Головкер поступил в институт. Тогда считалось, что это – единственная дорога в жизни. Конкурс почти везде был огромный. Головкер поступил осмотнительно. Подал документы туда, где конкурса фактически не было. Конкретно – в санитарно-гигиенический институт.

Там он проучился шесть лет. Причем так же, как в школе, остался незамеченным. В самодеятельности не участвовал. Провокационных вопросов лекторам не задавал. Девушек избегал. Вина не пил. К спорту был равнодушен.

Когда Головкер женился, все были поражены. Уж очень мало выделялся Головкер, чтобы стать для кого-то единственным и незаменимым. Казалось, Головкер не может быть предметом выбора. Не может стать объектом предпочтения. У Головкера совершенно не было индивидуальных качеств.

И все-таки он женился. Лиза Маковская была его абсолютной противоположностью. Она была рыжая, дерзкая и привлекательная. Она курила, сквернословила и пела в факультетском джазе. Вокруг нее постоянно толпились спортивные, хорошо одетые молодые люди.

Все ухаживали за Лизой. Замуж она так и не вышла. А на пятом курсе родила ребенка. Девочка была похожа на маму. А также на заместителя комсорга по идеологии.

Короче, Лиза превратилась в женщину трудной судьбы. Высказывалась цинично и раздраженно. К двадцати пяти годам успела разочароваться в жизни.

И тут появился Головкер. Молчаливый, застенчивый. Приносил ей не цветы, а овощи и фрукты для ребенка. Влечения своего не проявлял. Мелкие домашние поручения выполнял безукоризненно.

Как-то они пили чай с мармеладом. Девочка спала за ширмой. Головкер встал. Лиза говорит:

– Интродукция затянулась. Мы должны переспать или расстаться.

– С удовольствием, – ответил Головкер, – только в другой раз. Я могу остаться в пятницу. Или в субботу.

– Нет, сегодня, – раздражительно выговорила Лиза, – я этого хочу.

– Я тоже, – просто ответил Головкер.

И затем:

– Останусь, если вы добавите мне рубль на такси. С возвратом, разумеется...

Так они стали мужем и женой. Муж был инспектором-гигиенистом в управлении столовых. Жена, отдав ребенка в детский сад, поступила на фабрику. Работала там в местной амбулатории.

А потом начались скандалы. Причем без всяких оснований. Просто Головкер был доволен жизнью, а Лиза нет.

Головкер приобрел в рассрочку цветной телевизор и шкаф. Купил в зоомагазине аквариум. Стал задумываться о кооперативе. Лиза в ответ на это говорила:

– Зачем? Что это меняет?

И дальше:

– Неужели это все? Ведь годы-то идут...

Лиза, что называется, задумывалась о жизни. Прерывая стирку или откладывая шитье, говорила:

– Ради чего все это? Ну, хорошо, съем я еще две тысячи пирожных. Изношу двенадцать пар сапог. Съезжу в Прибалтику раз десять...

Головкер не задумывался о таких серьезных вещах. Он спрашивал: «Чем тебя не устраивает Прибалтика?» Он вообще не думал. Он просто жил и всё.

Лишь однажды Головкер погрузился в раздумье. Это продолжалось больше сорока минут. Затем он сказал:

– Лиза, послушай. Когда я был студентом первого курса, Дима Фогель написал эпиграмму: «У Головкера Бобá по́па втрое шире лба!» Ты слышишь? Я тогда обиделся, а сейчас подумал – все нормально. По́па и должна быть шире лба. Причем как раз втрое, я специально измерял...

– И ты, – спросила Лиза, – пять лет об этом думал?

– Нет, это только сегодня пришло мне в голову...

Через год Лиза его презирала. Через три года – возненавидела.

Головкер это чувствовал. Старался не раздражать ее. Вечерами смотрел телевизор. Или помогал соседу чинить «Жигули».

Спали они вместе редко. Каждый раз это была ее неожиданная причуда. Заканчивалось все слезами.

А потом началась эмиграция. Сначала это касалось только посторонних. Потом начали уезжать знакомые. Чуть позже – сослуживцы и друзья.

Евреи, что называется, подняли головы. Вполголоса беседовали между собой. Шелестели листками папиросной бумаги.

В их среде циркулировали какие-то особые документы. Распространялась какая-то внутренняя информация. У них возникли какие-то свои дела.

И тут Головкер неожиданно преобразился. Сначала он небрежно заявил:

– Давай уедем.

Потом заговорил на эту тему более серьезно. Приводил какие-то доводы. Цитировал письма какого-то Габи.

Лиза сказала:

– Я не поеду. Здесь мама. В смысле – ее могила. Здесь все самое дорогое. Здесь Эрмитаж...

– В котором ты не была лет десять.

– Да, но я могу пойти туда в ближайшую субботу... И наконец – я русская! Ты понимаешь – русская!

– С этого бы и начинала, – реагировал Головкер и обиженно замолчал. Как будто заставил жену сознаться в преступлении.

И вот Головкер уехал. Его отъезд, как это чаще всего бывает, слегка напоминал развод.

Эмиграция выявила странную особенность. А может быть, закономерность. Развестись люди почему-то не могли. Разъехаться по двум квартирам было трудно. А вот по разным странам – легче.

Поэтому в эмиграции так много одиноких. Причем как мужчин, так и женщин. В зависимости от того, кто был инициатором развода.

Три месяца Головкер жил в Италии. Затем переехал в Соединенные Штаты.

В Америке он неожиданно пришелся ко двору. На родине особенно ценились полоумные герои и беспутные таланты. В Америке – добросовестные налогоплательщики и честные трудящиеся. Головкер пошел на курсы английского языка. Научился водить машину. Работал массажистом, курьером, сторожем. Год прослужил в кар-сервисе. Ухаживал за кроликами на ферме. Подметал на специальной машине территорию аэропорта.

Сначала Головкер купил медальон на такси. Потом участок земли на реке Делавер. Еще через год – по внутренней цене – собственную квартиру на Леффертс-бульваре.

Такси он сдал в аренду. Землю перепродал. Часть денег положил на срочный вклад. На оставшиеся четырнадцать тысяч купил долю в ресторане «Али-баба».

Жил он в хорошем районе. Костюмы покупал у Блюмингдейла. Ездил в «Олдсмобиле-ридженси».

По отношению к женщинам Головкер вел себя любезно. Приглашал их в хорошие, недорогие ресто-

раны. Дарил им галантерею и косметику. Причем событий не форсировал.

Американок Головкер уважал и стеснялся. Предпочитал соотечественниц без детей. О женитьбе не думал.

Три раза он побывал в Европе. Один раз в Израиле. Дважды в Канаде.

Он продавал дома, квартиры, земельные участки. Дела у него шли замечательно. Он был прирожденным торговым агентом. Представителем чужих интересов. То есть человеком без индивидуальности. Недаром существует такой короткий анекдот. Некто звонит торговому агенту и спрашивает: «Вы любите Брамса?»...

При этом Головкер был одновременно услужлив и наделен чувством собственного достоинства. Сочетание редкое.

С Лизой он не переписывался. Слишком уж трудно было писать из одного мира – в другой. С одной планеты – на другую.

Но он помогал ей и дочке. Сначала отправлял посылки. Впоследствии ограничивался денежными переводами.

Это было нормально. Ведь они развелись. А дочка, та вообще была приемная. Хотя ее как раз Головкер вспоминал. Например, как он зашнуровывает крошечные ботинки. Или застегивает ускользящие пуговицы на лифчике. И еще – как он легонько встряхивает девочку, поправляя рейтузы.

Лизу он не вспоминал. Она превратилась в какую-то невидимую инстанцию. Во что-то существенное, но безликое. В своего рода налоговое управление.

А потом неожиданно все изменилось. У Головкера возникла прямо-таки навязчивая идея. Причем не исподволь, а сразу. В один прекрасный день. Головкер даже помнил, когда именно это случилось. Между часом и двумя семнадцатого августа восемьдесят шестого года.

Головкер ехал на машине в оффис. Только что завершилась выгодная операция. Комиссионные составили двенадцать тысяч.

Автомобиль легко скользил по гудронированному шоссе. Головкер был в светло-зеленом фланелевом костюме. В левой руке его дымилась сигарета «Кент».

И вдруг он увидел себя чужими глазами. Это бывает. А именно: глазами своей бывшей жены. Вот мчится за рулем собственного автомобиля процветающий бизнесмен Головкер. Совесть его чиста, бумажник набит деньгами. В уютной конторе его ждет миловидная секретарша. Здоровье у него великолепное. Гемоглобин? Он даже не знает, что это такое. У него все хорошо. Гладкая от лосьона кожа. Дорогие ботинки не жмут. И вот Лиза смотрит на этого человека. И думает: какое сокровище я потеряла!

Так и появилась у Головкера навязчивая идея. А именно: он должен встретиться с женой. Она поймет и убедится. А он только спросит: «Ну, как?» – и все. И больше ни единого слова... «Ну, как?..»

Головкер представлял себе момент возвращения. Вот он прилетает. Едет в гостиницу. Берёт напрокат машину. Меняет по курсу тысячу долларов. А может быть – две. Или три.

Потом звонит ей: «Лиза? Это я... Что значит – кто? Теперь узнала?.. Да, проездом. Я, откровенно говоря, довольно-таки бизи... Хотя сегодня, в общем, фри... Извини, что перехожу на английский...»

Они сидят в хорошем ресторане. Головкер заказывает. Лизе – дичь. Себе что-нибудь легкое. Немного спаржи, мусс... Коньяк? Предпочитаю «Кордон блё». Армянский? Ну, давайте...

Головкер провожает Лизу домой. Выходит из машины. Распахивает дверцу. «Ну, прощай». И затем: «Ах да, тут сувениры».

Головкер протягивает Лизе сапфировое ожерелье. «Ведь это твой камень». Затем – пластиковый мешок

с голубой канадской дубленкой. Учебный компьютер для Оли. Пакет с шерстяными вещами. Две пары сапог.

Затем он мягко спрашивает:

– Могу я оставить тебе немного денег? Буквально – полторы-две тысячи. Чисто символически...

Он мягко и настойчиво протягивает ей конверт.

Она:

– Зайдешь?

– Прости, у меня завтра утром деловое свидание. Подумываю о скромной концессии. Что-нибудь типа хлопка. А может, займусь электроникой. Меня интересует рынок.

Лиза:

– Рынок? Некрасовский или Кузнечный?

Головкер улыбается:

– Я говорю о рынке сбыта...

Вечером Лиза сидит у него в гостинице. Головкер снимает трубку:

– Шампанского.

Затем:

– Ты полистай журналы, я должен сделать несколько звонков. Хэлло, мистер Беляев! Головкер спикинг. Представитель «Дорал эдженси»...

Шампанское выпито. Лиза спрашивает:

– Мне остаться?

Он – мягко:

– Не стоит. В этой пуританской стране...

Лиза перебивает его:

– Ты меня больше не любишь?

Головкер:

– Не спрашивай меня об этом. Слишком поздно...

Вот они идут по набережной. Заходят в Эрмитаж. Разглядывают полотна итальянцев. Головкер произносит:

– Я бы купил этого зеленоватого Тинторетто. Надо спросить – может, у большевиков есть что-то для продажи?..

Мысли о встрече с женой не покидали Головкера. Это было странно. Все должно быть иначе. Первые годы человек тоскует о близких. Потом начинает медленно их забывать. И наконец остаются лишь контуры воспоминаний. Расплывчатые контуры на горизонте памяти, и всё.

У Головкера все было по-другому. Сначала он не вспоминал про Лизу. Затем стал изредка подумывать о ней. И наконец стал думать о бывшей жене постоянно. С волнением, которое его удивляло. Которое пугало его самого.

Причем не о любви задумывался Головкер. И не о раскаянии бывшей жены своей. Головкер думал о торжестве справедливости, логики и порядка.

Вот он идет по Невскому. Заходит в кооперативный ресторан. Оглядывается. Пробегает глазами меню. Затем негромко произносит:

– Пошли отсюда!

И всё. «Пошли отсюда». И больше ни единого слова...

Мысль о России становилась неотступной. Воображаемые картины следовали одна за другой. Целая череда эмоций представлялась Головкеру: удивление, раздражение, снисходительность. Ему четко слышались отдельные фразы на каждом этапе. Например – у фасада какого-то случайного здания:

– Пардон, что означает – «Гипровторчермет»?

Или – в случае какого-то бытового неудобства:

– Большевики меня поистине умиляют.

Или – за чтением меню:

– Цены, я так полагаю, указаны в рублях?

Или – когда речь пойдет о нынешнем правительстве:

– Надеюсь, Горбачев хотя бы циник. Идеалист у власти – это катастрофа.

Или – если разговор пойдет об Америке:

– Америка не рай. Но если это ад, то самый лучший в мире.

Или – реплика в абстрактном духе. На случай, если произойдет что-то удивительное:

– Фантастика! Непременно расскажу об этом моему дружку Филу Керри...

У него были заготовлены реплики для всевозможных обстоятельств. Выходя из приличного ресторана, Головкер скажет:

– Это уже не хамство. Однако все еще не сервис.

Выходя из плохого, заметит:

– Такого я не припомню даже в Шанхае...

Головкер вечно что-то бормотал, жестикулировал, смеялся. Путал английские и русские слова. Вдруг становился задумчивым и молчаливым. Много курил.

И вот он понял – надо ехать. Просто заказать себе визу и купить билет. Обойдется эта затея в четыре тысячи долларов. Включая стоимость билетов, гостиницу, подарки и непредвиденные расходы.

Времена сейчас относительно либеральные. Провокаций быть не должно. Деньги есть.

Оформление документов заняло три недели. Билет он заказал на четырнадцатое сентября. Ходил по магазинам, выбирал подарки.

Выяснилось, что у него совсем мало друзей и знакомых. Родители умерли. Двоюродная сестра жила в Казани. С однокурсниками Головкер не переписывался. Имена одноклассников забыл.

Оставались Лиза с дочкой. Оленьке должно было исполниться тринадцать лет. Головкер не то чтобы любил эту печальную хрупкую девочку. Он к ней привык. Тем более, что она, почти единственная в мире, испытывала к нему уважение.

Когда мать ее наказывала, она просила:

– Дядя Боря, купите мне яду...

Головкер привязался к девочке. Ведь материнская и отцовская любовь – совершенно разные. У матери

это прежде всего – кровное чувство. А у отца – душевное влечение. Отцы предпочитают тех детей, которые рядом. Пусть они даже и не родные. Потому-то злые отчимы встречаются гораздо реже, чем сердитые мачехи. Это отражено даже в народных сказках...

Лизе он купил пальто и сапоги. Оле – шубку из натурального меха и учебный компьютер. Плюс – рубашки, джинсы, туфли и белье. Какие-то сувениры, авторучки, радиоприемники, две пары часов. Короче, одними подарками были заполнены два чемодана.

Деньги Головкеру удалось поменять из расчета один к шести. Головкер передал какому-то Файбышевскому около семисот долларов. В Ленинграде некая Муза передаст ему четыре тысячи рублей.

Летел Головкер самолетом американской компании. Как обычно, чувствовал себя зажиточным туристом. Небрежно заказал себе порцию джина.

– Блу джинс энд тоник, – пошутил Головкер, – джинсы с тоником.

Бортпроводница спросила:

– Вы из Польши?

Неужели, подумал Головкер, у меня сохранился акцент?..

В Ленинградском аэропорту ему не понравилось. Все казалось серым и однообразным. Может быть, из-за отсутствия рекламы. К тому же, он прилетел сюда впервые. Так уж получилось. Тридцать два года здесь прожил, а самолетом не летал.

Головкер подумал: что я испытываю, шагнув на родную землю? И понял – ничего особенного.

Поместили его в гостинице «Октябрьская». Вскоре приехала Муза – нервная и беспокойно озирающаяся по сторонам. Оставила ему пакет с деньгами.

Головкер испытывал страх, усталость, волнение. Больше часа он провел в гостинице, а Лизе так и не звонил. Что-то его останавливало и пугало. Слишком долго, оказывается, Головкер этого ждал. Может быть,

все последние годы. Может, все, что он делал и предпринимал, было рассчитано только на Лизу. На ее внимание?

Если это так, задумался Головкер, сколько же всего проносится мимо? Живешь и не знаешь – ради чего? Ради чего зарабатываешь деньги? Ради чего обзаводишься собственностью? Ради чего переходишь на английский язык?

Головкер взглянул на часы – половина десятого. Припомнил номер телефона – четыре, шестнадцать... И дальше – сто пятьдесят шесть. Все правильно. Четыре в кубе... Он совершенно забыл математику. Но телефон запомнил – четыре, шестнадцать... А потом – те же шестнадцать в квадрате. Сто пятьдесят шесть...

Потрясенный, Головкер услышал звонок, раздавшийся в его собственной квартире. Один раз, другой, третий...

– Кто это? – спросила Лиза.

И через секунду:

– Говорите.

И тогда он глухо выговорил:

– Квартира Головкеров? Лиза, ты меня узнаешь?

– погоди, – слышит он, – я выключу чайник.

И дальше – тишина на целую минуту. Затем какие-то простые, необязательные слова:

– Ты приехал? Я надеюсь, все легально? Как? Да ничего... В бассейн ходит. У тебя дела? Ты путешествуешь?

Головкер помолчал, затем ответил:

– Экспорт-импорт. Тебе это не интересно. Подумываю о небольшой концессии, типа хлопка...

Далее он спросил как можно небрежнее:

– Надеюсь, увидимся?

И для большей уверенности прибавил:

– Я должен кое-что вам передать. Тебе и Оле.

Он хотел сказать – у меня два чемодана подарков. Но передумал.

– Завтра я работаю, – сказала Лиза, – вечером Ольга приглашена к Нахимовским. Послезавтра у нее репетиция. Ты надолго приехал? Позвони мне в четверг.

– Лиза, – проговорил он забытым жалобным тоном, – еще нет десяти. Мы столько лет не виделись. У меня два чемодана подарков. Могу я приехать? На машине?

– У нас проблемы с этим делом.

– В смысле – такси? Я же беру машину в рент...

Вот он заходит (представлял себе Головкер) к человеку из «Автопроката». Слышит:

– Обслуживаем только иностранцев.

Головкер почти смущенно улыбается:

– Да я, знаете ли... Это самое...

– Я же говорю, – повторяет чиновник, – только для иностранцев. Вы русский язык понимаете?

– С трудом, – отвечает Головкер и переходит на английский...

Лиза говорит:

– То есть, конечно, приезжай. Хотя, ты знаешь... В общем, я ложусь довольно рано. Кстати, ты где?

– В «Октябрьской».

– Это минут сорок.

– Лиза!

– Хорошо, я жду. Но Олю я будить не собираюсь...

Тут начались обычные советские проблемы. «Автопрокат» закрылся. Такси поймать не удавалось. Затормозил какой-то частник, взял у Головкера американскую сигарету и уехал.

Приехал он в двенадцатом часу. Вернее, без четверти двенадцать. Позвонил. Ему открыли. Бывшая жена заговорила сбивчиво и почти виновато:

– Заходи... Ты не изменился... Я, откровенно говоря, рано встаю... Да заходи же ты, садись. Поставить кофе?.. Совсем не изменился... Ты носишь шляпу?

– Фирма «Борсолино», – с отчаянием выговорил Головкер.

Затем стащил нелепую, фисташкового цвета шляпу.

– Хочешь кофе?

– Не беспокойся.

– Оля, естественно, спит. Я дико устаю на работе.

– Я скоро уйду, – ввернул Головкер.

– Я не об этом. Жить становится все труднее. Гласность, перестройка, люди возбуждены, чего-то ждут. Если Горбачева снимут, мы этого не переживем... Ты сказал – подарки? Спасибо, оставь в прихожей. Чемоданы вернуть?

– Почтой вышлешь, – неожиданно улыбнулся Головкер.

– Нет, я серьезно.

– Скажи лучше, как ты живешь? Ты замужем?

Он задал этот вопрос небрежно, с улыбкой.

– Нет. Времени нет. Хочешь кофе?

– Где ты его достаешь?

– Нигде.

– Почему же ты замуж не вышла?

– Жизнь так распорядилась. Мужиков-то достаточно, и все умирают насчет пообщаться. А замуж – это дело серьезное. Ты не женился?

– Нет.

– Ну, как там в Америке?

Головкер с радостью выговорил заранее приготовленную фразу:

– Знаешь, это прекрасно – уважать страну, в которой живешь. Не любить, а именно уважать.

Пауза.

– Может, взглянешь, что я там привез? Хотелось бы убедиться, что размеры подходящие.

– Нам все размеры подходящие, – сказала Лиза, – мы ведь безразмерные. Вообще-то спасибо. Другой бы и забыл про эти алименты.

– Это не алименты, – сказал Головкер, – это просто так. Тебе и Оле.

– Знаешь, как вас теперь называют?

– Кого?

– Да вас.

– Кого это – вас?

– Эмигрантов.

– Кто называет?

– В газетах пишут – «наши зарубежные соотечественники». А также – «лица, в силу многих причин оказавшиеся за рубежом»...

И снова пауза. Еще минута, и придется уходить. В отчаянии Головкер произносит:

– Лиза!

– Ну?

Головкер несколько секунд молчит, затем вдруг:

– Ну, хочешь потанцуем?

– Что?

– У меня радиоприемник в чемодане.

– Ты ненормальный, Оля спит...

Головкер лихорадочно думает – ну, как еще ухаживают за женщинами? Как? Подарки остались за дверью. В ресторан идти поздно. Танцевать она не соглашается.

И тут он вдруг сказал:

– Я пойду.

– Уже?... А впрочем, скоро час. Надеюсь, ты мне позвонишь?

– Завтра у меня деловое свидание. Подумываю о небольшой концессии...

– Ты все равно звони. И спасибо за чемоданы.

Не за чемоданы обиделся Головкер, а за чемоданы с подарками. Но промолчал.

– Так я пойду, – сказал он.

– Не обижайся. Я буквально падаю с ног.

Лиза проводила его. Вышла на лестничную площадку.

– Прощай, – говорит, – мой зарубежный соотечественник. Лицо, оказавшееся за рубежом...

Головкер выходит на улицу. Сначала ему кажется, что начался дождь. Но это туман. В сгустившейся тьме расплываются желтые пятна фонарей.

Из-за угла, качнувшись выезжает наполненный светом автобус. Не важно, куда он идет. Наверное, в центр. Куда еще могут вести дороги с окраины?

Головкер садится в автобус. Опускает монету. Сонный голос водителя произносит:

– Следующая остановка – Ропчинская, бывшая Зеленина, кольцо...

Головкер выходит. Оказывается между пустырем и нескончаемой кирпичной стеной. Вдали, почти на горизонте, темнеют дома с мерцающими желтыми и розовыми окнами.

Откуда-то доносится гулкий монотонный стук. Как будто тикают огромные, штампованные часы. Пахнет водорослями и больничной уборной.

Головкер выкуривает последнюю сигарету. Около часа ловит такси. Интеллигентного вида шофер произносит: «Двойной тариф». Головкер механически переводит его слова на английский: «Дабл такс». Почему? Лучше не спрашивать. Да и зачем теперь Головкеру советские рубли?

В дороге шофер заговаривает с ним о кооперации. Хвалит какого-то Нуйкина. Ругает какого-то Забежинского.

Головкер упорно молчит. Он думает – кажется, меня впервые приняли за иностранца.

Затем он расплачивается с водителем. Дарит ему стандартную американскую зажигалку. Тот, не поблагодарив, сует ее в карман.

Головкер машет рукой:

– Приезжайте в Америку!

– Бензина не хватит, – раздается в ответ...

На освещенном тротуаре перед гостиницей стоят две женщины в коротких юбках. Одна из них вяло приближается к Головкеру:

– Мужчина, вы приезжий? Показать вам город и его окрестности?

– Показать, – шепчет он каким-то выцветшим голосом.

И затем:

– Вот только сигареты кончились.

Женщина берет его под руку:

– Купишь в баре.

Головкер видит ее руки с длинными перламутровыми ногтями и туфли без задников. Замечает внушительных размеров крест поверх трикотажной майки с надписью «Хиропрактик Альтшуллер». Ловит на себе ее кокетливый и хмурый взгляд. Затем почти неслышно выговаривает:

– Девушка, извиняюсь, вы проститутка?

В ответ раздается:

– Пошлости говорить не обязательно. А я-то думала – культурный интурист с Европы.

– Я из Америки, – сказал Головкер.

– Тем более... Дай три рубля вот этому, жирному.

– Деньги не проблема...

Неожиданно Головкер почувствовал себя увереннее. Тем более, что все это слегка напоминало западную жизнь.

Через пять минут они сидели в баре. Тускло желтели лампы, скрытые от глаз морскими раковинами из алебаstra. Играла музыка, показавшаяся Головкеру старомодной. Между столиками бродили официанты, чем-то напоминавшие хасидов.

Головкеру припомнилась хасидская колония в районе Монтиселло. Этаким черно-белый пережиток старины в цветном кинематографе обычной жизни...

Они сидели в баре. Пахло карамелью, мокрой обувью и водорослями из близко расположенной убор-

ной. Над стойкой возвышался мужчина офицерского типа. Головкер протянул ему несколько долларов и сказал:

– Джинсы с тоником.

Потом добавил со значением:

– Но без лимона.

Он выпил и почувствовал себя еще лучше.

– Как вас зовут? – спросил Головкер.

– Мамаша Люсенькой звала. А так – Людмила.

– Руслан, – находчиво представился Головкер.

Он заказал еще джина, купил сигареты. Ему хотелось быть любезным, расточительным. Он шепнул:

– Вы типичная Лайза Минелли.

– Минелли? – переспросила женщина и довольно сильно толкнула его в бок, – размечтался...

Людмилу тут, по-видимому, знали. Кому-то она махнула рукой. Кого-то не захотела видеть: «Извиняюсь, я пересяду». Кого-то даже угостила за его, Головкера, счет.

Но Головкеру и это понравилось. Он чувствовал себя великолепно.

Когда официант задел его подносом, Головкер сказал Людмиле:

– Это уже не хамство. Однако все еще не сервис...

Когда его нечаянно облили пивом, Головкер засмеялся:

– Такого со мной не бывало даже в Шанхае...

Когда при нем заговорили о политике, Головкер высказался так:

– Надеюсь, Горбачев хотя бы циник. Идеалист у власти – это катастрофа...

Когда его расспрашивали про Америку, в ответ звучало:

– Америка не рай. Но если это ад, то самый лучший в мире...

Раза два Головкер обронил:

– Непременно расскажу об этом моему дружку Филу Керри...

Потом Головкер с кем-то ссорился. Что-то доказывал, спорил. Кому-то отдал галстук, авторучку и часы.

Потом Головкера тошнило. Какие-то руки волокли его по лестнице. Он падал и кричал: «Я гражданин Соединенных Штатов!..»

Что было дальше, он не помнил. Проснулся в своем номере, один. Людмила исчезла. Разумеется, вместе с деньгами.

Головкер заказал билет на самолет. Принял душ. Спустился в поисках кофе.

В холле его окликнула Людмила. Она была в той же майке. Подошла к нему оглядываясь и говорит:

– Я деньги спрятала, чтобы не пропали.

– Кип ит, – сказал Головкер, – оставьте.

– Ой, – сказала Людмила, – правда?!. Главное, чтоб не было войны!..

Успокоился Головкер лишь в самолете компании «Панам». Один из пилотов был черный. Головкер ему страшно обрадовался. Негр, правда, оказался малоразговорчивым и хмурым. Зато бортпроводница попалась общительная, типичная американка...

Летом мы с женой купили дачу. Долгосрочный банковский заем нам организовал Головкер. Он держался просто и уверенно. То и дело переходил с английского на русский. И обратно.

Моя жена спросила тихо:

– Почему Рон Фини этого не делает?

– Чего?

– Не путает английские слова и русские?

Я ответил:

– Потому что Фини в совершенстве знает оба языка...

Так мы познакомились с Борей Головкером.

Месяц назад с Головкером беседовал корреспондент одного эмигрантского еженедельника. Брал у него интервью. Заинтересовался поездкой в Россию. Стал задавать бизнесмену и общественному деятелю (Головкер успел стать крупным жертвователем Литфонда) разные вопросы. В частности, такой:

– Значит, вернулись?

Головкер перестал улыбаться и твердо ответил:

– Я выбрал свободу.

Ж у р н а л «Б Ъ Д Е Щ Е» **(«Будущее»)**

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

*Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris. Tel. 380-57-64*



здравствуйте, мои братья, мертвые птицы,
белые косточки, непогребенные ваши останки,
крылья, поломанные веера, потерянные перчатки,
перья, остатки парусника и лодки,
выброшенные после бури на берег.
без надгробий и мемориальных досок,
в зарослях вереска, терна,
обхватив в последнем объятии землю,
придавленные как пресс-папье тишиной,
вы сроднились с черноземом, пашней
и палой листвой.

Икары, за вами со свистом расступался воздух,
когда вы крутили головокружительные сальто,
и на лету ловили вылетевшее горошиной
из груди замеревшее сердце.
стихия вас ваяла, обтачивала, шлифовала,
как море выращивает в долготерпении
из песчинки жемчуг и рогатую раковину:
розу, ухо и губы океана.
пожилой фрезеровщик удивленно смотрит
на перламутровые изгибы. а он думал,
что постиг все секреты токарного дела.

коралл и скелет одной отливки,
одного закала. под плотью дуги, хорды,
несущие своды, берцовые кости – пилястры,
каких молотков, какой наковальни впитавшие звоны?
между морем и небом суша, со всем на ней
сущим – почти как ломтик сыра в бутерброде.
на темной зелени мха отливают черным крылья,

и белеет острым клином грудина
(спит лодка, зарывшись носом в песок), —
чем не товар ювелира, разложенный на витрине.

птицы русских полей и равнин,
над вами не играют духовые оркестры,
не изливаются слезы родственников и
плакальщиц, и оратор, отчитав по бумажке,
вам не скажет: «спи дорогой товарищ.
пусть земля тебе будет пухом».
вы отчасти из пуха сами,
поэтому ветер легко вбирает
ваш прах в свои русла, и измельченный,
протертый небесными жерновами,
он кружит над землей, легкий, почти дымок,
пока не обретет покой в лесных массивах
до новых воплощений в зимородках,
стрепетах и щеглах.

вы теперь не подвластны превратностям
судьбы и погоды. холод голодных зим
больше на снег не уронит синиц, снегирей,
воробьев, как неумелый служба лампаду.
накрытые палой листвой, подмороженной хвоей,
вы наконец получили вольную от морозов
и крепостного права.
не вынимайте красной ягоды из клюва
мертвой птицы. весной
над ней зацветет шиповник, дикая роза.

мои братья, вы спали на вокзалах
на скамейках, узлах, чемоданах,
отстояв очереди в гастрономах с мешками.
швейцары вас не пускали в свои отели
и рестораны. мест нет, — говорили они, —
здесь только для иностранцев.
вы ели бурду в столовой,

и распарившись, дремали на лавке в бане,
отхлестав молчаливые спины,
скворцы, коростели, селезни.
в плацкартных вагонах на нарах
вы ехали в города, мои бедовые сестры,
толкать каток по асфальту, сбивать лед ломом,
кухарничать на профессорской кухне.
вы когда-нибудь отдыхали?
какие просветы вам виделись на дне стакана
в дни праздников, крестин, похорон?
мои матери, вы слишком рано встречали моих
отцов, а они вас рано бросали.
после центнеров перестиранного белья
и сеток с картошкой
вы ложились на больничные койки,
из последних сил дотянув,
поставив на ноги дочку и сына.
вы не ходили на премьеры.
стоя, вы спали в переполненных электричках.
впотьмах ваши не намятые косметичками лица
светились, как фонарь на каске шахтера.

сойки, горлинки, голуби,
натерев бурлацким ремнем плечи,
вымостив собой беломорканалы,
из синего хора безымянные голоса,
вы влились в рокот плотин
на месте затопленных берегов.
города, которых больше нет,
Нижний, Тверь, Царицын, Симбирск,
помнят ваши протяжные песни.
их разливы порой проступают
в многоголосии клира, и качаются языки
свечей в паникадилах.
чем я больше думаю о России, тем больше
хочется плакать, птицы русских раздолий,
гуси, лебеди, иволги.

* *
*

бездонная страна! за далью даль без края.
грудь выдохлась от пения и слез,
и препинанья знаков не хватает,
и теснота от вещей птиц, морей, шлагбаумов и роз.
моя жилплощадь не вмещает
храп рек, разливы в вечернем небе, зелено-
белое чередование сосен и берез.
как виноградник перенаселен тяжелыми кистями!
губам не сосчитать, рукам не унести.
танцуй на нерве, как на шнурке шелковом,
ходи по проволоке, когда нет по земле пути.
вниз головой вишу, глаза зажмурил,
но держит воздух сладкий и густой.
натянутый брезент пружинит под ногой,
и мела едва хватает Фоме Бруту на круг очередной.
а упаду, поклон плашмя отвешу дороге,
что носила как могла и расплескала –
воду из ведра, и лампочке – звезде.
что в Вифлеем вела, не довела,
но пригубить воды из пригоршни дала,
и четверть хлеба и русские слова,
мною в строчку сложенные неумело.
гори, гори, моя звезда.

* *
*

тридцатилетним

моя прекрасная юность, оказывается,
была временем застоя. черное называли
белым, белое черным, и под дружные
аплодисменты, переходящие в овации,

вручали переходящие знамена, –
помните – вы дружно встаете и поете.
а мы слушали Биттлз, несознательно
перенимали моду из Ливерпуля.
за джинсы и волосы нас ругала бабуля,
а мать все время вызывали в школу.
наевшись зеленых яблок, мы играли
в морской бой и крестики-нолики,
и мечтали про Тойоты и Явы,
и не слушали про буревестника.
когда каждый день тебя ставят к стенке
и в угол, становишься вертким,
и к пятнадцати ты уже тертый калач
с финкой в кармане, и знаешь, что почем,
но учительница, сука, все равно не поставит
тебе пятерку по литературе, потому что
твой отец алкаш, а не директор
мебельного магазина, где бывают
польские гарнитур.

конфета Павлика Морозова пахивала
для тебя говнецом, и ты сплевывал
между зубов, и жевал мел и известку,
и мог материться так, что Онегин
мог бы поперхнуться, а у Лариной вылезли
бы кудри, переступи она через
картинную рамку, и маленький череп
стал бы похож на кулак в кармане.
шеренгой нас водили на кино про колхоз,
собравший в дождливое по вине
империализма лето урожай цемента
на 300% сверх плана. на педсовете
тебя называли наркоманом. конфликт
между лучше и хорошо выиграл
Виннету, вождь апачей. от полуправды
до обмана, выходит не дальше чем
от ампулы до иголки и от маршрутки до сна

Веры Палны, уснувшей на уроке
обществоведения. коллективисты с детского
сада, мы делили все на троих, но при этом
каждый норовил налить себе на бульку больше.

стробери филдс ар бо эве. двадцать лет
назад мир был на двадцать лет моложе.
Дип-Пёпл и Роллинги в Левокумке, бутерброд
и план в сумке, и опять никак не написать
даже на тройку сочинение за четверть
«Пашка Корчагин – мой любимый герой»,
потому что от анаши гудит голова,
как снятая телефонная трубка.
борцы за всемирное братство от ноксерона
и кодеина мы уважали Дженнис
Джоплин, леди-мадонну от героя.

грустно все-таки сознавать, что моя
прекрасная юность теперь объявлена
смердной порой развала и упадка,
а сгруженные с самосвала лозунги – хламом.
правда-матка вылечилась от запоя
и паранойи в психдиспансере, и теперь работает
лифтершей. потерянное поколение, мы оказались
неготовыми для чудесного города будущего,
разворованного в тени блатных бровей. Хендрикс
и Джимми Моррисон, помните актовый
зал моей школы?

на нас составляли рапорты и протоколы.
отошли прокураторы, аспирантуры...
а у кого уже подрастает пара своих
бунтарей, и во дворе пасутся куры.
какой черт тебя дернул, Сердгент
Пепперс, угнать машину и открыть себе
консервным ключом вены в зоне, король
самоката и потасовок на танцплощадке.

пусть Элвис споеет тебе сладко «ар ю лоунсом
тунайт» в год Абби Роуд мир был
на двадцать лет моложе. и все же куда
списать наши солнца и луны, вешние воды
и накануне, не вышедшие в белых
лебедей? перед нами теперь спокойная
зрелость, летнее равноденствие с привкусом
валидола, финский плащ, и на кассетник
замененная радиола. сношенные джинсы
в прихожей служат тряпкой для ног,
ползком пластунски закончив свой век.
вещи, Роки Рэкун, снашиваются как
человек.

ВЛАСЕНКО Георгий – родился в Пятигорске в 1955 году. Окончил Пятигорский педагогический институт, работал преподавателем иностранных языков, переводчиком, занимался театром и телевидением. Печатал в СССР статьи по искусству, написал ряд сценариев для Центральной студии документальных фильмов и Грузинской киностудии. С 1987 года живет в США. До выезда из СССР его стихи были напечатаны в «Континенте» № 52 под псевдонимом Сергей Раевский, затем одно стихотворение под именем автора было опубликовано в «Русской мысли».

Из Томаса Стерна ЭЛИОТА

РОМАНС АЛЬФРЕДА ПРУФРОКА

Давай пойдем гулять с тобой вдвоем,
Когда осенних сумерек объем
Преувеличен, как сквозь слезы;
Пойдем гулять по улицам безлюдным,
Под бормотаньем чудным,
Как бред больного под наркозом;
По площадям с гнилой соломой,
По переулкам бесконечным,
Как разговоры с сумасшедшим
Об отступлении к основному...
Не спрашивай куда, не в этом суть:
Зайдем на огонек к кому-нибудь.

Женщины тепличнее флердоранжа
Рассуждают о Микельанже.

Кудрявый дым полез тереться мордой
об оконный переплет,
Курчавый чад полез чесаться боком
об оконный переплет,
Лизнул кислотным языком фабричной пыли,
Понюхав сажи, лужей ослеплен,
Упал на мостовую, обессилен,
Поежился и, видя, что октябрьский вечер росен,
Уснул, забившись в угол, словно в осень.

Воистину грядет и та пора,
Когда кудрявый дым взовьется стройно
По улицам, деревьям и домам...
Воистину, я говорю, и нам пора

Кривить лицо для встречи с посторонним;
Пора кровопролиться и творенья
Рукам, кладущим как на блюдечко вопрос
Обыденный, как баночка варенья;
Пора тебе, и мне, и нам,
Пора открытий и наитий
И откровений, и событий
Ежевечерних чаепитий.

Женщины изящнее флердоранжа
Рассуждают о Микельанже.

Воистину, воистину пора
Спросить себя: Посмею ли? Осмелюсь?
Пора спуститься вниз (собравшаяся челядь
Отметит, что залысина не прелесть:
«Он жутко постарел!»),
Надев костюм, хоть скромный, но хороший,
Роскошный галстук, в крошечный горошек
(Заметят: «Как он страшно похудел!»),
За порцией хрустального пломбира
Заговорить о сотворенье мира...
Это мгновение удел
Ежевечерних дум и дел.

Я изучил, как перечень досад,
Все эти утра, дни, и вечера,
Исчерпав жизнь ложечкой десертной,
И эти замирающие голоса
За музыкаю тающей бессмертно.
Так что же мне сказать?

Я знаю досконально, как глаза
Пронзительные, как фальшивость тона,
Прикалывают, словно указав
На дверь, как экспонат к картону.
Так как же мне начать?
Куда деть этих дней и дел остатки?

Я знаю в совершенстве этих рук
В брелоках обнаженный строгий мрамор
(Хоть в свете ламп и виден легкий пух!) –
Не от духов ли запаха я замер? –
Рук принимающих в гостиной шаль из рук
Подать готовых шаль в гостиной даме.
Так что же мне сказать?
Так как же мне начать?

.....

Сказать: я в сумерках ходил по переулкам
Где едкий дым клубится из дверей
Людей курящих в майках беспрестанно?

Я острыми когтями лучше стану
Скребущими по дну немого океана.

.....

А вечер, вечер, как он сладко спит!
Расправлен пальцами, как пряжа,
Может устал? уснул? убит?
Разглажен, в темноту наряжен.
Так стóбит ли, от чая до зефира,
Нам наблюдать исповедимость мира?
Хоть и постился я, хоть и молился,
Хоть и присутствовал, когда внесли на блюде
Мою (слегка плешиivistую) голову,
Я не пророк – а это просто люди.
О как мое величие качнулось,
Как вечный половой подал пальто, нахмурясь,
Как холодно.

Но стоило ли бы, без промедлений всяких,
За чаем, за зефиром, за фарфором,
За мармеладом и за разговором,
Так стоило ли бы, без обиняков,

Мысль оборвать и кончить резким спором,
Скомкать вселенную в послушный шар
И покатить им быстро к основному,
Сказав «Я Лазарь, я воскресшая душа,
Я всё вам расскажу, и всё с изнóва» –
Чтобы под блеск десертного ножа
Понять, что хочется совсем иного?

Так стоило ли бы, без всяких промедлений,
Без споров, оговорок, прений,
После закатов, рос, туманов,
После шарад, калош, романов,
И остального?

Так как же рассказать всё снова?
Представь себе, как в фонаре волшебном,
Сплетенье нервов на экране:
Так стоило ли бы, как шарик хлебный,
Катать вопрос по хрупким граням? –
Чтобы под тонкий звук стекла
Понять, что жизнь протекла.

.

Я не принц Гамлет, мне уж им не стать,
Хоть при дворе, со званием вельможным,
Мне довелось немало сцен сыграть:
То в ухо нашептать, то осторожно
Подсыпать яду, приоткрыть окошко,
Разведать, вынюхать, соврать,
Уверить в чувствах, шаркнуть ножкой...
Велеречив, чуть туповат,
А иногда и вовсе – Фат.

Да, я старею... я старею...
Вот и пальто уже не греет.

К лицу ли мне пробор? Съесть ли мне сливу?
Я надену белый костюм и пройдуся по пляжу.

Там, я слышал, русалки поют красиво.
Мне эту милость они навряд ли окажут.

Но вдруг я увидел их, в пепле волн,
С янтарем в волосах русалочий сонм,
В разверзнутых нечаянной зарницей

Чертогах вод, где вечный сон нам снится
Пока нас не пробудят смертной песней,
Пока мы не очнемся и исчезнем.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

В этом году литературоведами отмечается столетие со дня рождения Элиота, так что следует сказать несколько слов о нем самом. Первое стихотворение поэта было написано, когда ему было шестнадцать лет, по заданию учителя словесности. Уже в одном этом, к сожалению, весь Элиот.

Позже Элиот не без гордости вспоминал, что учитель его похвалил, спросив, «не помогали ли взрослые». Стихотворение появилось в школьной газете, «Смит академи рекорд». Отметим, что в первой же его строке содержались слова «Время» и «Пространство», с большой буквы.

Итак, имелся старообразный мальчик, не без подхалимства, из таких, которые нравятся и родителям друзей, и учителям. Он долго и отлично учился в Гарвардском университете, чего поэтам лучше не делать: на это уходит юность. Отдельной книжечкой «Пруфрок» вышел довольно поздно, в 1917 году, когда Элиоту было 29 лет. Пастернак, его современник, в этом возрасте уже написал почти все, вошедшее в первые четыре книжки, и впал, к 20-му (а его тридцатому) году, в семилетний, как он потом писал, «период нравственной спячки». Тем не менее, в становлении поэта «Пруф-

рок» сыграл ту же роль, что «Сестра моя – жизнь» для Пастернака, ибо англоязычная поэзия (и вообще культура, мерилom которой она является) первых двух десятилетий столетия была несравненно беднее русской. Только поняв это, можно соотнести «Пруфрока» с мировой известностью его автора. С точки зрения России лета 1917 года, который мы все всё еще живем, это не только сборник «Сестра моя – жизнь», это даже не всё стихотворение, а, скажем, лишь две его, самые слабые, строчки:

Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

В этом, кстати, и суть пруфроковского миропонимания.

Питер Акرويد, английский биограф Элиота, утверждает, что, после «Пруфрока», его автор «взял курс на академию». Это очень похоже на правду. Действительно, после «Пруфрока» Элиот ничего равного по силе и одной строчке Пастернака уже не написал. Не со страху ли? Ведь Джойс, например, опубликовал в 1912 году блестящую книжку стихов («Камерная музыка»); но, как ему и всем людям его круга было ясно, останься он поэтом, наверняка умер бы с голоду (да и так чуть не умер). «Стихи, батенька, не товар». Даже в аристократической России 12-го года так говорилось, а в Англии 12-го года и подавно: «И клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь».

Элиот правильно оценил будущее англоамериканской академ-литературной словообрабатывающей промышленности, рано поняв, что только стихи, подходящие ей по габаритам, принесут солидную известность их изготовителю. (Это же, возможно, уловил и Джойс, работая уже прозой «на критика», а не «на читателя».) Постепенно стихи его наполнились «Временем» и «Пространством» с большой буквы, становясь всё менее и менее своеобразными. В этом смысле американская

«академия» сыграла в его жизни роль Союза писателей. Нобелевскую премию он получил в 1948 году, уже окончательно переориентировавшись на своего старого учителя словесности.

Всё, что я сейчас говорю, – это, конечно, страшная ересь, которую сказать во всеуслышанье по-английски мне бы никто не позволил, как не позволили Элиоту и Джойсу писать в свое время стихи, ради которых Бог благословил их слухом. К счастью, по-русски это сказать все еще можно. Скажу еще раз. «Пруфрок» – фактически единственное крупное стихотворение настоящего, природного, незаакадемизированного Элиота. Поэтому его и стоит переводить. Все остальное – чепуха, вроде пастернаковских поздних «ранних поездов» и тому подобного, только «сложнее», а не «проще».

В середине 60-х годов мы жили во Внуково. Мне было лет девять, и ересью об Элиоте я не интересовался, хоть Пастернака я уже наизусть и знал. Отец перевел «Пруфрока» и читал знакомым. Перевод не сохранился, но я запомнил, видимо на всю жизнь, как странно звучит слово «пломбир» в родительном падеже – по-пастернаковски, что ли. Отец рифмовал с «мира», и эту рифму я сохранил в своем переводе. (Пастернак, наверное, рифмовал бы с «вырыт» с 1912 до 1932, и с «Ирод» потом, отпевшись.)

Эпиграф к стихотворению взят Элиотом из «Ада» Данте:

Когда б я знал, что моему рассказу
Внимает тот, кто вновь увидит свет,
То мой огонь не дрогнул бы ни разу.
Но так как в мир от нас возврата нет,
И я такого не слыхал примера,
Я, не страшась позора, дам ответ.

Это в переводе Лозинского, которому Пастернак писал: «Больно за Вас, когда сумасшедший старик снова тащит Вас в пустыню». Эпиграф я в своем переводе

опускаю, считая его первым пятнышком той самой коррозии школярства, разъевшей вскоре Элиота как поэта и украсившей его поздние стихи узором эпитафий и вставок на языках, которыми он или не владел (санскрит), или владел, как школьник (древнегреческий).

Андрей Наврозов

Издательством «Поиски» переиздана книга
незаслуженно забытого
крупнейшего российского ученого-экономиста

Б.Д.Бруцкуса

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Теоретические мысли по поводу русского опыта

С предисловием, комментариями и послесловием

В.Сорокина и Д.Штурман,

статьей лауреата Нобелевской премии

по экономике **Ф.А.Хайека**

В начале 1920-х гг., когда на Западе голословно рассуждали о «великом социалистическом эксперименте», закрывая глаза на трагическую подсоветскую действительность, Б.Д.Бруцкус, проследив первые шаги советской государственной экономики, осветил ее фундаментальные черты и предсказал дальнейшую судьбу страны и народа, попавших в тоталитарную ловушку. В течение истекших десятилетий его прогнозы подтверждались неоднократно — и не только на примере СССР.

Сегодня, когда советское руководство пытается (в который раз!) заставить подвластную ему экономику стать по-рыночному продуктивной, меняя и перестраивая только формы ее монопартократической централизации, эта старая, но не устаревшая книга приобрела новую актуальность.

Заказы направляйте по адресам:

Victor Sorokine — 5, bd. de la Gare,

94470 Boissy-St.-Léger, FRANCE, и S.Tictin, Greenspan Str., 12/6,

Misrakh Talpiot 422, Jerusalem 93802, ISRAEL.

ВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ

Где-то в застуженном дворе на Остоженке он карабкался пузатой лестницей во второй этаж. Ветхие ступени кряхтели, перила отчаянно раскачивались, и запах кошачьей мочи с удивительной силой заходил на черном ходу. Пнув чугунным копытом вытертую резину квадратного коврика, он крепко прижал пуговицу звонка чудовищно толстым пальцем с черным, напылистым ногтем. Мелкие шажки прошаркали к двери и остановились. Слезливый старушечий глаз предъявил себя в крошечной линзе волчка.

– Вы к кому?

– Цыпкин здесь живет, – утвердительно сообщил он.

– Нетути их, нетути. – Старуха зашаркала прочь.

– Открывай, старая карга, покудова не придавил! – сурово отвечивал посетитель, ознобно тряся рыжие половинки дверей.

– Антихрист, убивец, сейчас милицию призову. Спровадит она тебе на старое место, – разбежалась старуха неожиданно бойкой визгливой руганью.

Он раздумчиво отошел от двери.

Как бы и вправду не развела шухера старая хипесница. Придется ждать клиента на улице.

Кентавр Александрович Цыпкин обогнул стеклянный угол молочной, увидел черный ледяной накат и, коротко отсеменя подбористыми замшевыми ботами, заскользил к ноздреватой снежной тропе, расшлепанной вечерними пешеходами. Его серая дубленка распахнулась, толстые шерстяные олени заскакали на груди просторного шведского свитера, и тут же у облезлых шершавых ворот он увидел Николая.

– Здорово, Кент, а я уж полчаса ожидаю. Чуть твою соседку не пришиб.

– Николай, я говорил тебе многократно: ты погибнешь от собственной грубости. Ираида Самсоновна – старая заслуженная стерва, и трогать ее не следует. Принес?

– Здесь, – Николай приложил неохватный кулак к тяжелой груди. Он походил на огромную приземистую бочку, с ржавой щетиной, пропоровшей багровые щеки. То утробное свирепое, что составляло его сущность, выглядывало в мир через крохотные рыжие окошки с пронзительной иглою зрачка. Они молча поднялись по шатким ступеням. Бесшумно растворив входную дверь, Кентавр жестом послал Николая в темную глубину коридора. У самого его конца затаилась массивная дверь, обитая желтой клеенкой. Глянец ее нарушался тремя замками, которые Цыпкин отомкнул с привычной сноровкой.

– Пожалуйте, – изогнулся он, приглашающе выставив узкую ладонь.

Николай тяжело закатился внутрь. Цыпкин небрежно бросил дубленку в высокое кожаное кресло. Освободив замшевые боты, он устроил довольно тощие ноги в мягкие домашние туфли. Его длинная сутулая фигура зябко передернулась. Николай неподвижно стоял посреди комнаты.

Кентавр Александрович скоро полгода как расстался с молодой супругой. После защиты диссертации он вел себя несколько легкомысленно: продал этюд Коровина, упустил «Успение» 18-го века в тяжелом серебряном окладе и дико загулял с Ликой Воробьевой из Дома Моделей. С ней в самый разгар любовной игры и застучала его Иннеса в их чистенькой светлой квартире у Никитских ворот. Тесть на радостях поспешно исхлопотал ему комнату, вкатил туда два кожаных кресла и с облегчением исчез. Кентавр пробовал оттягать цветной телевизор и серебряный несессер, аксессуары,

счастливого начавшегося брака, но в этом ему было отказано с твердостью. К кожаным креслам со временем добавился ореховый диван, массивный письменный стол и два кубачинских кинжала, обнимавших друг друга на вытертом бухарском ковре. Имелась и тяжелая самурайская сабля, которой хозяин в минуты душевных волнений рассекал теплый воздух своего одинокого жилища.

Цыпкин прошелся по комнате.

– Ну, давай взглянем, что там прислал Еремеич. – Николай расстегнул куртку, прогладил подкладку, выскреб продолговатую коробочку. Как черный настоженный жук, застыла она у края багровой лапы. Цыпкин подошел ближе. Николай усмехнулся.

– В этой штучке четыре карата, и Еремеич желает вам счастливого пути.

– Ну, это еще не скоро, – Кентавр протянул руку.

– Погодь, – Николай задвигал рыжей щетиной. – Не велено трогать. Только показать, – он опять разжал кулак, поддел край коробочки волосатым мизинцем. На черном бархате, мгновенно вобрав в себя скудный свет потолочной лампочки, брызгал переливчатым огнем «Еремеич».

* *
*

К «Русской избе» подкатились затемно. Пожилой барбос в черном галуне принял неласково. Уперев жилистый кулак в овечью грудь Кентавра, он шипел:

– Нету местов, нету. Осади назад, гражданин любезный.

Но тут к дверям набежали радостные гости. Ника Веселов что-то зашептал в квадратное волосатое ухо, барбос нехотя посторонился, и Кентавр Александрович въехал в гудящие сумерки. Гулялось отбытие в зарубеж-

ные сладкие дали. Ника Веселов, красавец, доктор наук и старинный знакомец, весьма удачно женился. Его подруга, серая французская птичка, оживленно щебетала на дальнем конце увесистого стола. Пилось легко. Закусывалось обильно. Ника широко раскрывал почти заморские объятья старым товарищам. Через два дня Париж. На год, на два. Может, навсегда.

– Кентавр, дорогой, рад тебя видеть! – Ника все похлопывал его по плечу.

– Ты, я слышал, тоже отбываешь... на историческую родину?

– Да, – скривился Кентавр. – Иннеса подписала отказ от материальных претензий.

– И как скоро?

Но тут ударили балалайки. Ника, не расслышав ответа, улыбнулся, глянул по сторонам и заспешил к очередной группе гостей. Кентавр подошел к столу. На нем все сидела тяжелая русская закуска: дрожащий холодец с матовыми звездами морковки, отварная картошка, пересыпанная душистым укропом, кислая капуста в узорчатой деревянной чашке, грибочки, распустившиеся в ароматной слизи, селедочка в нежных перламутровых жабрах, обложенная сахарными кружками лука, и даже сморщенный поросенок с хреном бесстыдно улыбался из какого-то румяного корыта. Кентавр потянулся к холодцу, налил в хрустальную стопку Посольской водки, опрокинул, налил еще...

Сегодня он брал справку в ЖЭКе. Справку выдали легко. Начальник все кивал лысой головой, в хитроватых глазках его светилось неожиданное понимание.

– Вы уж там не очень арабов-то. Не обижайте, – улыбнулся он полными теплыми губами. Потом так же просто получилась справка об уплате за телефон. Потом он долго прорастал национальными корнями в направлении неведомого родственного дерева, пока не сложилось вполне приличное растение. Была, правда, одна заковыка: в паспорте утверждалась его принад-

лежность к могучему великорусскому племени. На всякий случай он пошел в юридическую консультацию, где за скромное воздаяние в один рубль его уверили, что папа, Александр Абрамович Цыпкин, является совершенно достаточной гарантией выездного происхождения. И все-таки, и все-таки. Он решил подстраховаться: ссылаясь на Александра Абрамовича, изменить запись в домовой книге. Толстая девица, сидящая на записях, с удовольствием приняла расписной заварной чайничек, с которым Кентавр расставался в некотором напряжении. Но сделать ничего не смогла...

Кентавр помрачнел, рванул две стопки Посольской, притянул поросенка и, выложив порядочный кус, равномерно захрустел нежной корочкой.

— Ну, ничего, — утешался он, — Бог не выдаст, свинья не съест.

Сквозь шум и гам прорезались переборы гитары. Высокий тенор звенел «Выхожу один я на дорогу». Балалайки, дружно подхватив, замирали на трепетной волне припева, со вздохом катились вниз, вновь открывая дорогу раздумчивой меланхолии тенора. Цыпкин, подперев голову ослабевшей рукой, закрыл глаза. Ему стало отчаянно грустно. Но это была теплая сладкая грусть, когда хочется беспричинно плакать и о чем-то умолять...

* *
*

Истаяла зима, отгремела буйная весна, зелень налилась тугим молодым соком, Цыпкин томительно ходил по комнате. Самурайская сабля дрожала в его утомленной руке. Вдруг всё переменилось. Желанная открытка с разрешением явилась. Кентавр широко вскинул руками и бросился паковать чемоданы.

Солнце глянуло напоследок слепым рыжим оком и провалилось в темный колючий ельник. К потускневшей стеклянной коробке Шереметьева Кентавра тянула солидная черная «Волга». Мягко отщелкнув заднюю дверь, он высунул тощую ногу и нервной сиреновой туфлей нащупал мягкий асфальт. Благодатная прохлада обняла его сухие щеки. Он потянулся, охватил горизонт широко вырезанными ноздрями. Шофер, пожилой мужчина с собачьим лицом, молча отомкнул багажник. Там, тесно прижавшись друг к другу, сидело четыре чемодана рыжей свиной кожи.

— Куда багаж-то несть? — хмуро напомнил шофер, притопывая пыльной сандалией.

— В Америку, — саркастически усмехнулся Цыпкин. Родственников не ожидалось, знакомые разъехались, друзья... но о них давно возвестили: — «Уж эти мне друзья, друзья...»

— Здесь, что ли? — торопился шофер, положив живот на низкую стойку.

— Ну, вероятно, здесь, — нехотя согласился Кентавр. — Благодарю за труды.

Он вынул 25 рублей и вложил их в толстую потную ладонь.

Очередь двигалась медленно. Когда пьяный краснорожий грузчик схватил чемоданы, было совсем темно.

— Полтинник, — прищурил он наглый, кровью налитый глаз.

— Это грабеж, — замотал головой Цыпкин.

— Тут и их доля тоже, — грузчик ткнул заскорузлым пальцем в сторону таможни. — Конечно, если хочешь без багажа остаться...

Кентавр, ничего не ответив, пошел за его тележкой. В четыре проворных руки таможенники трясли барахло.

— Что объявляете в декларации: золото, серебро, драгоценные камни?

Цыпкин неопределенно повел плечом.

– Покажите карманы. – Он выложил на прилавок авторучку, мелочь, платок. Его обследовали какой-то машинкой. У пряжки пояса машинка зашумела.

– Снимите ремень, – вкрадчиво предложил молодой таможенник с мягкими кошачьими манерами. Кентавр вытянул ремень и, удерживая брюки, засунул руки в карманы. У соседней стойки досматривали красивую полную женщину. В ушах ее болтались внушительные бриллианты. Холеный мужчина, вероятно муж, что-то горячо шептал в равнодушное ухо пожилого таможенника.

– Берта, сними серьги, – нетерпеливо приказал он. Пожилой безразлично взял серьги, отложил в сторону. Муж опять что-то горячо зашептал, склонившись к его стертому серому лицу.

– Можете идти, – наконец объявили Цыпкину, и в этот момент он услышал:

– Кентавр, Кентавр Александрович. – У барьера стоял Николаша. Могучая грудь его распирала тонкий светлый пиджак.

– Дорогой, извини, что опоздал, – перегнувшись через стойку, он широко распахнул объятия. Кентавр неуверенно шагнул к барьеру. Николаша с силой притиснул его к груди.

– В левом кармане, – успел прошептать он сквозь плотные губы.

– Назад! – закричал пожилой таможенник. – Раньше надо было прощаться. Идите на посадку.

Кентавр, несколько ошарашенный, двинулся вдоль металлических барьеров. Николаша усиленно махал ему короткой, толстой, как бревно, рукой. В самолете было жарко. Пассажиры напряженно глядели в иллюминаторы. Моторы завывали.

– А ведь это навсегда, – мелькнула туманная колющая мысль.

И тут же опрокинулись огни, и Земля огромной чечевицей въехала в иллюминатор.

* *
*

Самолет крепко подбросило. Кентавр нервно дернулся. Моторы, до этого едва урчавшие, внезапно бросились в самые уши, и он, обмирая, прикрыл лицо тыльной стороной ладони. Острая горечь рванулась из желудка, зеленая плесень проступила у впалых щек, губы плотно сжались и омертвели.

– Желаете ободриться?

Цыпкин отвел руку. Его сосед, наклонив круглую голову, прищурил серый глаз. Другой его глаз не смог победить тяжелое веко, и только высоко задранная бровь намекала, что усилие было приложено.

– Простите? – сквозь стиснутые губы просвистел Кентавр.

– Слово и Дело, – подмигнул круглоголовый. В руке его шаталась початая бутылка Столичной.

– Изволите покидать отечество в одиночестве? – Он налил и протянул мятый серебряный стаканчик.

– Как в моем свадебном несессере, – вяло подумал Кентавр. – М-да, – примолвил он, поколебавшись принимая стаканчик. Его большое адамово яблоко с хрустом передвинулось. Зелень слегка отхлынула от острых скул.

– Благодарю вас.

– Кстати, для облегчения сообщения, не назовете ли имечко? – Серый глаз круглоголового опять сардонически прищурился.

– Кентавр Александрович, – несколько сухо представился Цыпкин, слегка наклонив лошадиную голову.

– Харон Кирбитьевич, – сообщил круглоголовый, ловко закидывая стопку в алчущий рот. – В просторечии

Рома. – Прошу вас, – он быстро передал бутылку Кентавру, – нам еще болтаться не менее часа.

Кентавр хотел было осердиться, но передумал. Харон так Харон, мне что за дело. Стало совсем хорошо. Цыпкин не торопясь оглядел салон. Усталые дети спали в теплых объятиях матерей. Тяжелый темный мужчина в третьем от прохода ряду сурово пересчитывал деньги. Стюардессы с напряженными хмурыми лицами толкали тележки с провизией. Вдруг ударила янтарная молния, рассыпались малахитовые стрелы, заиграли малиновым звоном. Кентавр опознал БERTу и ее бриллианты, конфискованные старым таможенником.

Берта обернулась. Серьги очертили огненный круг и припали к ее длинной шее. Муж ее с вызовом установился на Кентавра. Кентавр улыбнулся, осторожно поднялся с кресла и направился в туалет. Заперев кабину, он глянул в зеркало, тронул свежевыскочивший прыщик у верхней губы, заправил длинный волос, явившийся из левой ноздри, наконец запустил сразу насторожившуюся руку в левый карман. Вытянув темную коробочку, он поспешно откинул крышку. На глухой бархатной подушке он не увидел ничего, кроме сиротливой прорези для кольца. Цыпкин онемело глядел в черный подбой, потом поднял голову, упер пустой взгляд в запотевшее зеркало, зажал пустой футляр в кулаке и медленно спустил воду.

* *
*

Автобус, плавно оседая надежными немецкими рессорами, катил на диво чистой брусчатой мостовой. Опрятные магазинчики слепили невиданным блеском витрин. В их зеркальной глубине объявлялась давно забытая легендарная благодать: темные тугие колбасы,

потевшие прозрачным жиром, розовые гирлянды сосисок, прижимавшиеся к тяжелым брускам копченых окороков, пучки золотых кур, ветчина, от одного взгляда на которую горячо становилось в желудке. Автобус вырлился на широкий гладкий проспект. Проехала ратуша. Нескончаемой вереницей выстраивались колонны, портики, чугунные решетки с тяжелыми геральдическими щитами, пышные лестницы, ведущие к бронзовым дверям. Строгие линии административных зданий прерывались зеленью парков, гранитными квадратами площадей, на которых торжественно возносились отрешенные победители. Порядок и покой провозглашали их имперские лица. Улицы сбежались тесней, автобус нырнул в прохладные сумерки. У невысокого дома с тремя золотыми коронами стоял господин в короткой тирольской шляпе. Обе руки его поднялись в приглашающем жесте. Пассажиры заволновались.

– Господа, – устало объявила сопровождающая, – герр Марголин любезно предоставляет вам свою гостиницу.

Кентавр Александрович сидел на плюшевом диване у старого зеркала в позеленевшей бронзе. Харон Кирбитьевич Подольский, уложив круглую голову на круглые колени Любви Михайловны Подольской, дико всхрапывал. Воздух булькал в его натруженном горле. Страждущие покоя путники уже вольно раскинулись на необъятных, красного дерева кроватях (фортуна благоговела страннопримный бизнес герра Марголина), и только три путешествующие единицы не были охвачены сервисом. Но и здесь в самое ближайшее время обещалось полное удовольствие. Пока же герр Марголин прислал вкуснейшие булочки и замечательный кофе в серебряном кофейнике.

– Неплохо принимают, – меланхолически качая ботинкой, отнесся Кентавр к безмолвной Любви Михайловне. – Ваш супруг – весьма веселый человек. Этак лихо расправился с бутылкой.

Любовь Михайловна не знала, что отвечать и как понимать это «расправился», в поощрение или поругание. На всякий случай она улыбнулась. Полного удовольствия все-таки не случилось. Вдруг окончательно выяснилось, что мест больше нет. Харон Кирбитьевич был срочно пробужден.

– Зверски болит голова, – объявил он совершенно не заинтересовавшимся слушателям.

– Между прочим, Кентавр Александрович, могу я именовать вас просто Кентавр? Кентавр Александрович, да еще с похмелья, есть чистое мучительство.

– Не вижу к этому никаких препятствий, – холодно сообщил Цыпкин.

– Вы тоже можете называть меня Харон или Рома для большей теплоты отношений, Кирбитыч я резервирую в видах дальнейшего сближения.

Цыпкин сухо улынулся.

– Позвольте, кстати, узнать имя вашей очаровательной супруги.

– Не вижу к этому никаких препятствий, – глумливо захихикал Харон, – имя ее – Любовь. – Тут же сморщившись, он стал тереть левый висок. – Алкоголь ведет к невосполнимым потерям тела, семьи и зарплаты, – торжественно провозгласил он.

– Господа, мы едем в отель Хернальсерхоф.

– Звучит непристойно и обнажает безобразную практику германской грамматики, обличенную еще Марк Твеном.

– Но спать-то там можно?

– Да, да. Вот вы увидите, это совсем неплохо.

* *
*

Соборный колокол долбил жаркие окна. Ошалелые мухи бешено гудели в двойных рамах. Железные

шкафы, серой шеренгой бредущие вдоль стен, накалились. Харон неохотно открыл глаза. Разодрав рот до боли в хрустнувшей челюсти, он вялой ступней нашарил тапочки, подошел к окну. Прямо перед ним, перечеркнутая эстакадой надземки, дыбилась громада собора. Харон потряс рамы. Эскадроны мух забубнили в мутные окна. Рамы не поддавались. Наконец он сообразил потянуть за пыльный шнур. Верхняя секция растянулась на железных руках. Придушенная ранее какофония улицы разметала застойный воздух. Гремела надземка, вскрикивали трамваи, блеяли верткие мопеды, ровно гудела река автомобилей.

— Однако где же Любовь? — он еще раз оглядел комнату: пять пустых кроватей, жестяные шкафы, колченогий фанерный стол, заляпанную краской потолочную лампочку.

— Да, небогатые хоромы, — подтянув пижамные штаны, Харон Кирбитьевич зашлепал на кухню. Кухня, она же прихожая, куда заезжали все прочие двери жилых и подсобных помещений, оказалась большой темной комнатой с пузатым холодильником, чугунной плитой и ржавой раковины умывальника. Потрогав холодную плиту, он устремился в туалет. Выйдя из туалета, бросил горсть воды в опухшее лицо, открыл холодильник. На сизой решетке лежал одинокий мятый помидор.

Люба вернулась часа через два.

— Бананы ничего не стоят, и курица десять шиллингов, правда, синяя, — озабоченно сообщала она, выкладывая пакеты с едой на шаткий стол.

— Соседей видела?

— Нет.

— А наш мифический друг, не пересекались? — Люба молча дернула плечом.

— Там в вестибюле все на площадь побежали.

— Зачем?

— Ручки шариковые дают. По две штуки.

– Чего ж ты не побежала?

– Ну, Рома.

– И с пассатижами не шла на вытянутых руках. Сообщали же, что югославы и прочие шведы не могут устоять супротив хромированных пассатиж. Рыдают от восторга.

– Кашу сварить?

– Кашу. Плакать хочется от такой свирепой нерасторопности.

* *

*

Цыпкин, плотно сдвинув колени, сидел на стуле. Три человека окружали его: высокий плечистый мужчина с грубым тяжелым лицом, квадратный парень, толстые слюнявые губы которого угрожающе кривились, и седой холеный господин, равнодушно ожидающий дальнейших событий.

– Так вы уверяете, что футляр был пуст?

– Да, – устало выдохнул Кентавр, – я уже в десятый раз вам повторяю, пуст, абсолютно пуст.

– Но вы говорили, что видели камень.

– Видел. Четыре месяца назад, но даже в руках не держал.

Седой отвернулся и коротко кивнул:

– Миша.

Приземистый, все с той же кривой ухмылкой, сунул левый кулак в то место, где элегантный пиджак Кентавра Александровича расходился серыми полукружьями, а правый – в его острую нижнюю челюсть. Цыпкин беззвучно повалился со стула. На губах его выступила кровавая пена. Миша поднял короткую ногу.

– Стоп, – тихо приказал седой. Наклонившись, он внимательно заглядывал в белые глаза поверженного Кентавра. Тот судорожно открывал рот. Нако-

нец, с протяжным всхлипом дыхание вернулось к нему.

– Ну как, припомнили что-нибудь?

Цыпкин, тяжело дыша, мотал головой. Захватив рот рукой, он выплюнул два зуба.

– Печально, – Седой погладил свое холеное лицо, – но может быть еще печальней. Миша не знает удержу на работе. Слушайте меня внимательно, Цыпкин. Еремеич говорит: у вас хорошая голова. Что ж, эту голову мы сохраним. Даже зубы вставим. Только не вздумайте с нами играть в кошки-мышки.

Он помолчал, облизнул губы и улыбнулся.

– Иначе мы вам голову оторвем. Окончательно.

* *

*

Кентавр, прикрыв глаза, клонился к полу, длинная рубаха свисала с его острых колен, кончик языка бессознательно зализывал широкую дыру в передних зубах. С трудом повернувшись, он уперся в крашеный пол слабыми ломкими руками. Дрожь охватила его изогнутую спину, ознобной волной пробежала к онемевшим икрам. Он снова повалился на пол, тяжело дыша, стал собирать свое нескладное тело. Проковыляв к умывальнику, сунул голову под холодную струю, вяло размазывая воду узкими пальцами.

– Кто бы мог подумать, что у Еремеича такие длинные руки? Я был абсолютно уверен тогда в самолете, что меня надули как жалкого сопливого несмышленища. Потом только сообразил отодрать донышко. – Кентавр, вынув голову из умывальника, с отвращением глянул в зеркало.

– А что теперь? Ведь действительно оторвут. – Задумавшись, он привычно сунул большой палец к желтым зубам – неистребимая привычка щелкать ногтем

меж лопатинами передних зубов, от которой его так долго и безуспешно отучала родительница. Палец уперся в свежую дыру. Выругавшись, Кентавр сел в засаленное кресло. Неожиданно кривая ухмылка раздвинула его узкие губы:

– Вот бы маменьке догадаться! Вышибай зубы, и никакого дурного навыка.

* *
*

Харон нажал квадратным ботинком стеклянное крыло вертящейся двери и вышел в грохот надземки к чахлому приотельному садику. Старики в синих олимпийских костюмах печалились у пыльных кустов. Ветер шевелил пух на их плоских затылках. Харон, огибая звенящие, тугим пучком бегущие рельсы трамвайного круга, повернул к собору. В его огромной гулкой пещере никем не обремененные древние скамьи строгими рядами шли к резной кафедре. Одинокая фигура у подножья алтаря неслышно вопрошала Бога. Грозные трубы органа обрывались над ее головой. Харон провел рукой по теплому дереву, сел на скамью. Спокойно и печально вспоминал он канун отъезда... Что-то крошилось под ногами. Жизнь утекала меж пальцев. Время тащилось постыдно и равнодушно. И вдруг мелькнула возможность разом взорвать это пыльное существование, сбросить тяжесть империи, медленным ядом сочащуюся в крови. Это был шалый порыв, случаем выверенный шаг к предуготованной судьбе. Друзья опечалились. С Игорем вышло и совсем нехорошо. Когда прикончили четвертую мутную бутылку портвейна.

– Игорь Израилевич, отяжелели, – ласково обратился он к нему, – дозвоьте до дому сопроводить.

– Сопроводить! Да я здесь каждый камень знаю. Я-то у себя на Родине.

– Эх, Игоряша, Игорь Израилевич, человек Божий! Ведь Родина предрекана судьбой. Она открылась вам в вашем отчестве.

Нет, не захотел услышать. Так и ушел в хмельной злобе. А с Пашей получилось хорошо. Когда обвалилось старое житье, уехали прощаться с давно обжитым лесным углом. Вышли в глухую тьму, легли прямо у теплых шпал, глядя в душную утробу ночи пьяными, на все согласными глазами. И когда отмигали золотушным светом вагонные фонари и утихла железная дрожь, распили последнюю бутылку...

Густые тяжелые удары сосчитали время. Синим пламенем загорелись витражи. Радужный столб закрутил золотую пыль. Харон поднялся с темной скамьи.

* *
*

Кентавр в свежем полотняном костюме восседал за столом. Перед ним дымилась тарелка бульона, и он осторожно крошил в нее ломтики белого хлеба.

– Я тут объясняю Любе, как поступить с икрой и шампанским, – любезно заметил Цыпкин, обернувшись к входящему Подольскому.

– Вообще-то все нормальные люди знают, как с этим управиться. Да мы как будто и выпили всю водку, не уверен насчет шампанского.

– У нас есть шампанское, Рома, – кротко заметила Люба.

– Мои цены существенно выше, чем у всяких там перекупщиков, – веско уронил Кентавр, рассекая воздух узкой ладонью. – Больше того, если вы направите ко мне людей, с каждого человека получите 20 шиллингов.

– Цыпкин, ваша деловая хватка не имеет себе равных. Мне больно за нерасторопных перекупщиков. Предрекаю вас Светлое Будущее. Грядите во всей

Славе его. Люба, могу я получить тарелочку бульона, а Кентавр Александрович – искомое шампанское?

* *
*

Цыпкин вынул русско-немецкий словарь и остро отточенным карандашом перенес на бумагу следующее заявление: «Я хочу предложить Вам бриллиант исключительной ценности». Здесь последовали еще полчаса работы, которые выявили следующие достоинства «Еремеича»: «Вы не найдете в нем пороков. Его чистота уникальна. Я прошу за него...» Тут он задумался, оглядел несвежие стены, пожевал губами. Сколько же спросить с этих колбасников?

Кто-то тихо постучал в дверь.

– Войдите, – крикнул Кентавр, захлопнув словарь. Короткая женщина в мужских полуботинках решительно заступила на темные половицы.

– Тут принимают икру? – она вонзила в Кентавра напряженный черный глаз.

– Не принимают, а покупают. И дают хорошую цену, – мягко поправил Цыпкин.

– А водку берете?

– Да вы, мамаша, не расстраивайтесь, – несколько фамильярно продолжил Кентавр, – берем, все берем.

Мамаша, обняв увесистую клеенчатую сумку, принесла ее на середину стола. Белая рука Цыпкина небрежно воспарила над разинутой кошелкой, провела изящный зигзаг и нырнула в задний карман серых хорошо отглаженных брюк.

– Вот, пожалуйста, – он с хрустом отсчитывал зеленые бумажки, вытягивая и с легким поклоном вручая одну за другой.

– Приходите еще, присылайте знакомых, буду рад.

Мамаша, запихивая деньги в обвисший старой кожей ридикюль, покачала головой:

– Больше нету. А может, вы коробки принимаете? Такие, с картинками, у меня и доски есть...

«Палех!» – заскакала блохой ошалелая мысль. – «Иконы!» – обожгло длинный шишастый затылок. Цыпкин охладительно схватил себя за мочку бледного уха.

– Ну, что ж, приносите. Можно посмотреть, – холодно протянул он.

* *
*

На Ринге плескалось солнце. Оно высвечивало надменную мощь гранитных львов, присевших у летящих ступеней. Их прямые короткие лапы держали каменные шары. Черные лаковые автомобили, блестя хрустальными глазами и жаркой улыбкой радиаторов, замирали у кованых ворот. Кентавр Александрович замирал вместе с ними, угадывая за матовыми стеклами спесивую пресыщенность хозяев. Когда-нибудь и он гордо утонет в податливой коже, а пока... Он переждал яичное пламя светофора, острой изломанной фигурой рассек кипящий бульвар, нырнул в прохладную зелень парка. Гравий пустынных аллей, нежно-розовый, как крыло фламинго, строгая симметрия деревьев, неясные, едва угадываемые звуки вальса выгладили его нетерпеливые мысли. Он шел медленно, черпая воздух нервными пальцами. Очнулся Кентавр только у оперы, где его чуть не сшибла нарядная толпа. По Кертнер гуляли отменно выхоленные господа. Задрав гордые золотые головки, раскрыв в небрежной полуулыбке пунцовые губы, проносились молодые женщины, оставляя шелковые шлейф духов, надежды, тайны, восторга. Ватаги лохматых парней заслоняли витрины, бренчали гитара-

ми, обнимали накокаинённых подруг. Иногда, тяжело разрезая их шумный круг, проплывали массивные броненосцы: Он – в зеленой шляпе с пером, в толстых гетрах на могучих, корнями завитых икрах, Она – в необъятном болотном пальто и крепких тупоносых ботинках. Кентавр, рассеянно оглядываясь, завернул в узкий темный переулок. Переулок был пуст. В его изогнутом каменном горле затихал веселый гул Кертнерштрассе. Цыпкин медленно оглядел глухие ряды кирпичных особняков, крадучись подошел к двенадцатому номеру, нетерпеливо застучал бронзовым кольцом в дубовую дверь. Время остановилось. Он припал ухом к равнодушному дереву. Щелкнул замок, другой, дверь распахнулась. Сгорбленный маленький человек вопросительно поднял голову. Его мышинные глазки внимательно обежали костистое напряженное лицо Кентавра. Наконец узкие бескровные губы раздвинулись. Он усмехнулся. Кентавр поспешно вынул из кармана бумажку, где ровным круглым почерком было написано:

«По объявлению. Герр Хоффман, я хочу предложить Вам бриллиант исключительной ценности. Вы не найдете в нем пороков. Его чистота уникальна. Если мы столкуемся в цене, он ваш».

Герр Хоффман прочел послание, еще раз усмехнулся и, загребая воздух крохотной ладошкой, пригласил следовать за ним.

* *
*

Люба варила курицу, сосредоточенно снимая пену деревянной ложкой. Сладкий запах куриного бульона широко разливался по всем этажам отеля «Хернальсерхоф». За темными дверями семейных и одиночных номеров, на общих кухнях и спрятанных под кроватями

электроплитках, утром и вечером, буднями и субботами варили курицу, эту кроткую птицу. Люба сняла последний клочок серой пузырящейся пены. Зачерпнув ложку прозрачной жидкости, она с удовлетворением разглядывала нежные золотые бляшки. В дверь сильно постучали.

– Иду! – крикнула она, поспешно проглатывая горячий бульон и думая, что соли все-таки не хватает. За дверью стоял человек в кепке, левая рука его держала расписную балалайку, лицо сморщилось в короткой улыбке.

– Есть что-нибудь на продажу: икра, бинокли, часы, кораллы?

Люба не знала, что отвечать.

– Меня зовут Гриша, – неожиданно объявил он, снимая кепку.

– У нас, кажется, есть подозрная труба, – неуверенно протянула Люба. – Вы покупаете трубы?

– А часов с паровозом нету? Такие, знаете, карманные. На крышке паровоз. «Иосиф Сталин», – добавил он, подмигнув.

– Что?

– Паровоз, – нетерпеливо повторил он, пристукивая коротким хищным сапогом.

– Нет, – смутилась Люба, – паровоза нет, труба только.

– На трубе далеко не уедешь, – резонно заметил Гриша.

– А у нас больше ничего нет, – беспокоилась Люба.

– Ну, хорошо, – снисходительно согласился Гриша, вынимая мятую пачку шиллингов, – давайте вашу трубу.

– Прошу рекомендовать мужьям и родственникам. Гриша, Гриша-музыкант.

Он бойко ударил по струнам, навесив серое лицо над малиновыми петухами, резко оборвал игру, поклонился и вышел.

Кентавр Александрович, переломив длинный корпус, смотрел в тяжелое, схваченное широким латунным поясом увеличительное стекло. Под ним на глухом бархатном ложе, растекаясь в кипящих серебряных брызгах, лежал «Еремеич».

– И сколько же вы за него хотите? – с бледной улыбкой на чистейшем русском языке спросил хозяин.

– Вы говорите по-русски? – изумился Кентавр.

– По-английски, французски, итальянски и, с вашего разрешения, по-немецки.

Та же бледная снисходительная улыбка тронула его губы.

– Отчего же сразу не сказали? – насторожился Кентавр.

– На то есть свои причины, – спокойно возразил герр Хоффман, – так какова же ваша цена?

– Двадцать тысяч, – медленно объявил Кентавр.

– Шиллингов?

– Это смешно. Долларов, конечно, – нахмурился Цыпкин.

– Большие деньги, – маленький человечек пожевал осуждающе губами.

– Но не для вас, – галантно поклонился Кентавр, – вы отлично знаете, что камень стоит вчетверо больше.

– Не будем торговаться, – мягко прервал герр Хоффман.

– Так вы согласны? – залучился Кентавр, победно трепеща ноздрями.

– Согласен я пока только в одном, но весьма существенном.

– И это существенное?

– ...есть то, что камень вам не принадлежит.

– Паазвольте, – широко и растерянно запел Кентавр, – паазвольте. – Кадык его глухо щелкал в пересохшем горле.

– Вам ничего нельзя позволить, Цыпкин.

Кентавр резко обернулся, он сразу узнал этот голос. От дальней стены низкого зала, медленно скользя острыми лаковыми ботинками по китайскому ковру, приближался Седой. Правая рука его лежала в жестком кармане синего спортивного пиджака. Оправ серыми складками, Кентавр неотрывно смотрел в холодные равнодушные глаза.

– Вы – человек без ценностей, – ровно продолжал Седой. – В прямом и переносном смысле, – добавил он, бросив короткий взгляд на бархатный гробик, где сиял бриллиант.

– Но как нравственный урок и предупреждение еще можете послужить нашей организации.

Он плавно вытянул руку из кармана, поднял вороненый ствол и нажал курок...

* *
*

Люба возилась у плиты, когда входная дверь с внезапным треском въехала в оплывшую стену. Сухой бритый господин в джинсовом костюме прошел к дверям соседней комнаты. За ним слышалось тяжелое задышливое сопение.

– Кажется, мы ваши соседи, – улынулся он, – спокойно, Мишка, води себя прилично. – В кухню закатилась маленькая кривоногая собачонка. Ее круглая приплюснутая морда с оттянутыми кровавыми веками и заморщенной пуговицей мокрого носа была точной копией страшных собачьих морд из сказки о солдате и огнive. Люба очень хорошо помнила растрепанную книжку с бравым усачом и огромными свирепыми псами

на кривых вывернутых лапах, сидящих у кованых сундуков.

– Познакомься, Мишка, это наша соседка. Ее зовут... ?

– Люба.

– Ее зовут Люба. Понял? Ну, а я Кирилл Лившиц, реставратор из Москвы. Проездом, так сказать, по своей надобности. Вы одни?

– Нет, я с мужем, – почему-то виновато ответила Люба.

– Ничего, ничего, это, знаете, бывает. У меня вот тоже Мишка и Нонна, в некотором роде супруга. Кстати, куда она подевалась?

– Ваша «в некотором роде супруга» здесь, Лившиц. И хватит трепаться.

Нонна, чернявая быстрая женщина с белым полным лицом, на ходу поздоровавшись, поспешила в комнату.

* *
*

Харон дочерпал бульон и принялся обсасывать крылышко. Покончив с ним, он выразительно поднял брови.

– Встретился некто Сохатый. Бог знает как давно видел его на даче у Василенко. Такой, гнилозубый, врач. Представь, существует здесь уже около года и никуда не торопится. Говорит, Европа согласна его душе. Живет где-то на чердаке.

– Соседи пригласили нас на чай.

– Можно. У этого Сохатого есть девка. Он регулярно проникает в какой-то австрийский дом за городом, моет ее в ванне. И больше ни-ни. Это насыщает его либидо. Забавный малый. Я его приведу.

– Не надо.

– Отчего ж не надо? Он в самом деле презабавный. С женой развелся.

– Не надо, Рома, пожалуйста. Я устала от людей. Особенно забавных.

– А сама к соседям навестились. А знаешь, почему он с женой развелся? – Харон Кирбитьевич подождал ответа, не обнаружил одного и, тем не менее, продолжал. – Он всегда ее встречал одной фразой: «Давай вздрогнем», – а та говорит, я домой прихожу отдыхать, а не вздрагивать. Любовь, ты меня игнорируешь.

– Забыла тебе сказать, я продала подзорную трубу.

– Браво.

– Какому-то Грише-музыканту.

– Ааа, Насекомый, видел его у Кентавра. Конкурент.

– Все спрашивал часы с паровозом. Говорил, хочет уехать в Швецию.

– Ну, конечно, с паровозом. Один лысенький кандидат экономических наук скупал их скупал да и уехал. И вот именно в Швецию. Ладно, пошли к соседям.

– Только не задирай их, пожалуйста.

– Ни Боже мой.

* * *

*

– Вот, понимаете, решили познакомиться. А то живем, живем как-то неласково, – Лившиц пригладил свою бритую голову. – Пожалуйста к чаю, – он плавным движением вытянул руку в направлении пыхтящего самовара, накрытого калужскою бабой.

– Ужасный отель, – щебетала Нонна, быстро оборачивая во все стороны круглое белое лицо. – Но мы, кажется, уже подыскали квартирку. Очень симпатичную. Знаете, такие две миленькие спальни, кухонька и шикарная гостиная, – она оживилась, черные глаза ее

в начале фразы широко раскрывались, затем мягко шурились, как у довольной ленивой кошки.

– У нас здесь масса знакомых, ну просто масса. Столько художников выехало. Мишка, отстань, – отпихивала она настырную слюнявую морду.

– Это вам знакомые квартиру устроили? – тихо спросила Люба.

– Ну, конечно! – воскликнула Нонна, округляя жаркие удивленные глаза. – Мы расчистили пару икон, и этот Гриншпун сразу позвонил кому надо. Очень просто, – она улыбнулась. Черный забор ресниц упал на белые скулы.

– Нонна, что ты всякую муть несешь. Гриншпун. При чем здесь Гриншпун? Разлей лучше чай.

Все сосредоточенно пили чай. Пауза становилась неприличной.

– А вы знаете Кентавра Александровича? – поспешно вытолкнула Люба в густеющее молчание.

– Цыпкина? – оживился Лившиц. – Он у нас скупил все шампанское. Кажется, и шубу твою взялся продать?

– Я и без него продам, – нахмурилась Нонна, – а ты, Лившиц, не хами. Странный он какой-то, – продолжала она, опять улыбаясь и блестя свежими зубами. – Придет к одним нашим знакомым, согнется, в зеркало уставится и примется в носу ковырять. Интеллигентный человек, но манеры?!

– Действительно странный, – согласился Лившиц. – Вдруг предлагает мне идти в немецкое посольство. В Германии, говорит, жизнь совершенно райская. Деньги дают и на учебу, и на адаптацию, и чуть ли не на девочек. Социальная терапия.

– Желает воссоединиться с немецким народом, – ухмыльнулся Харон.

– С немецкими деньгами, – захохотал сосед, размахивая руками и опрокидывая чашку.

– Лившиц, – возмутилась Нонна, – ты ведешь себя как ненормальный.

Цыпкин попробовал разлепить глаза. Он медленно выплывал из серого забвения. Сначала почувствовал ветер, прошедший у холодных скул, потом расслышал плеск недалекой воды. Наконец в теплом сумеречном свете различил узкий мост, жирную вечернюю воду. Его подташнивало. Голова бессильно моталась на тонкой шее. Он напрягался, отгоняя липкий туман и сился понять, как оказался у этого моста.

– В меня как будто стреляли, – вяло удивился Кентавр, растирая озябшие ладони. Он сидел на жесткой железной скамье в десяти метрах от воды.

На мосту горели фонари, шагали беззаботные люди, ныряли глазастые автомобили.

– Видимо, это был какой-то газ, – наконец решил он. – А, да не все ли равно?! Главное что, главное, что жив, – наконец с острой радостью осознал Кентавр и тут же охлопал карман. Записная книжка, ключи, 200 шиллингов – все было на месте. Кроме, разумеется, «Еремича». Цыпкин горько усмехнулся.

– Какая глупость! Чуть не отняли жизнь. – С трудом, подволакивая ноги, Кентавр направился к мосту. На середине остановился, жадно подставил голову свежему ветру. Шум надземки и бегущие пятна огней оживили его. Он медленно пересек мост и спустился к станции.

Холл гостиницы затопили растерянные люди с чемоданами. Цыпкин сумрачно обошел толпу, поднялся к лифту. В номере был полный разгром. Швейцарское пальто с распоротой подкладкой валялось на полу, подошвы с его модных туфель были срезаны, куча белья свисала с умывальника. Кентавр заглянул под кровать. Ящик с шампанским и водкой исчез. Он сел на грязный матрац, привычно потянулся большим пальцем к зубам, но на полдороге развернул ладонь и, упав на нее высоким лбом, крепко задумался.

Харон Кирбитьевич, наморщив толстый нос, шел темным коридором. Удушливый запах горелого жира, капусты, мокрого белья прорывался из общей кухни, где в туманном чаду летали остервенелые женские голоса. Он остановился у знакомой узкой двери. Трижды стукнул костяшками пальцев и нажал тяжелую бронзовую ручку. Кентавр Александрович лежал на голом матрасе, отвернувшись к стене. Правая рука его, согнутая в локте, заломилась за спину. Простыни, одеяла, выпотрошенная одежда валялись по всей комнате. Харон, обойдя кучу белья, подошел к кровати. Цыпкин неожиданно обернулся. Воспаленный красный глаз строго, отчужденно уставился на Подольского.

— Что все это значит? — неуверенно начал Харон. — Переезжаете?

Цыпкин, не отвечая, буравил его злым настороженным взглядом.

— Я, собственно, стрелкнуть сигарету. У Любы кончились.

Кентавр медленно выпрямился. Пальцы его задрожали. Из брючного кармана он вытянул пачку «Мальборо». Харон молча взял пачку, выщелкнул две сигареты.

— Который час? — хмуро осведомился Кентавр, глубоко засовывая мизинец в хищный вырез левой ноздри.

— Около одиннадцати. Извиняюсь за вторжение. Всех благ.

— Всех благ! — проскрипел Кентавр. — Именно то, чего мне в последнее время так не хватает. Стоило уезжать из этой треклятой страны!

— Э, да вы, никак, сожалеете? — удивился Харон.

— Что ж, — проворчал Цыпкин, соединяя руки замком и устраивая их между тощих колен, — должен признаться, я существовал там с некоторыми ограничени-

ями. Но весьма комфортабельно: не утруждался, был вхож, имел девочек, — он вздохнул, рассеянно вынул сигарету, закурил. Взгляд его ушел за холодное темное окно.

— Отец у меня, правда, был дерьмо. Жадный скрюченный паук. Его даже бабка не любила. Бабка. Она все время торчала на балконе. Когда я шел из школы, шептала: «А вот идет наш Кентик, ну, весь как есть еврей».

Кентавр Александрович смущенно дрогнул, помолчал, провел невидящим взглядом по серым стенам. Дым сизой тучей ходил у вздувшейся зрелым нарывом потолочной лампочки.

— Она умерла потом. И этот паук, мой папочка, даже не пришел на похороны. Был у меня товарищ. Николай Николаевич. Вы его, наверное, знали по передаче «В мире животных». Очень интересный человек и большой любитель женщин. Ну, жена, правда, от него ушла. Он в ванне крокодила держал. В общем, развелся. Я и старшего брата его знал. Тоже развелся, — неожиданно засмеялся Кентавр, выпуская две чрезвычайно тонкие струйки дыма.

— А что с девочками? — осторожно напомнил Харон. — Были успехи?

— Я не знаю, что вы называете успехами, — надменно заскрипел Кентавр, — мы шатались по всем московским кабакам. Могли закатиться в любое время, и главным образом потому, что девочки у нас были экстра-класса.

— Так что же вынудило вас, дорогой Кентавр, покинуть, и скорее всего навсегда, столь гостеприимные отеческие брега?

— Обстоятельства косвенные. И, во всяком случае, никак не связанные с моим личным ущемлением. Я не страдаю по березкам, черному хлебу и селедке. Я — человек дела.

— Капитан, американец, — предложил Харон.

– Нет, я – немец, – сурово поправил Кентавр. – Мне чужд ностальгический мазохизм.

– Не жалею, не зову, не плачу... – протянул Харон.

– Именно. Племенным идиотизмом не страдаю. Дело делать надо.

– А почему вдруг немец?

– А потому, что моя мама – немка. Кстати, о девочках, – хищно прищурился Кентавр. – Могу организовать.

– Уж не тех ли, в серебряных сапогах до груди?

– Подберем на любой вкус, – потянулся Цыпкин. Челюсть его упала вниз, серая кожа провалилась вялыми складками в углы безгубого рта. Вся его согнутая, костлявая фигура обличала крайнюю усталость, неприбранность, потертость.

– Ну, я пошел, – Харон неопределенно махнул рукой. Кентавр защелкнул рот.

* *
*

Лившицы покидали «Хернальсерхоф», шумно собирая там и сям раскиданные вещи. Мишка тыкался складчатой башкой в озабоченные ноги хозяйки, принося изрядное количество слюны на высокие каблукастые сапоги. Наконец просторный кожаный чемодан был стянут витыми ремнями, а Мишка пристегнут к узорчатому ошейнику.

– Ну, соседушки, прощайте, – Кирилл наклонил бритый череп. – Желаю вам как можно скорее расстаться с этой поганой дырой.

– Всех благ, – кротко отвечал Харон Кирбитьевич, поддевая войлочной тапкой вялый капустный лист, приютившийся у порога.

– До свидания, – улыбалась Люба. – До свидания, Мишка, – добавила она, слегка тронув слюнявую морду.

– Вот мы и одни, – Харон заглянул в соседнюю комнату. – Однако просторные люди, спали сразу на пяти кроватях.

– Да просто переходили, где белье свежее, – предположила Люба.

В замке входной двери завозились ключом. Дверь подалась, и в кухню въехал брюхастый рыжий чемодан, запряженный брезентовой сбруей.

– К вам на жительство, – решительно объявил кадыкастый длинный мужчина в олимпийской костюме. За ним мелко семенила приземистая подруга и глазастая девочка лет десяти.

– В этом заведении только соседи свежие, – прищурился Харон Кирбитьевич. – А на жительство, видимо, сюда, – ткнул он палец в разинутую дверь.

Часам к шести соседи попросили не шуметь: они ложатся спать. Устали с дороги, да и нервы.

Опять покатались безликие суетливые дни. Соседи ели курицу. В шесть они ложились спать.

– Я, кажется, понимаю, почему они так рано ложатся, – однажды рассмеялась Люба.

– Да? – хмуро осведомился Харон.

– Чтобы не ужинать.

Через неделю заспанное семейство отбыло в Рим и заместились четою пенсионеров. Потом были пятеро с кошкой, две старушки с племянником, атлетический молодой человек с импозантной мамой. И все устремились в Рим, Рим – открытый город. Кентавр не объявлялся. Несколько дней комната пустовала. Люба ходила легко. Лицо ее выражало сосредоточенное удовлетворение. Но однажды вечером заныл тяжелый дубовый лифт, шипя стал на четвертом этаже, и по избитым камням затрещали чьи-то настырные каблуки.

– Хозяева дома? – пропел высокий женский голос.

Харон нехотя подошел к дверям. В номер ворвались две гладкие собаки: белая и черная. За ними, во взвизгившемся модном платье, влетела растрепанная румя-

ная женщина. Из-под ее темно-фиолетовых ресниц выскакивали безумные, влажные, веселым чёртом вспыхнувшие глаза.

– Машка, Дашка, уймись. Заморили насмерть. Алеша, Григорий, что же вы стоите? Держите проклятое животное.

– Какое, мама? – быстрый нервный мальчик лет 16-ти и довольно пожилой мужчина с изжеванным временем лицом вошли в прихожую.

– Какое? Все равно какое. Мы взяли чемодан?

– У меня только несессер, Роза, – пожал плечами хладнокровный Григорий, – но там есть стакан.

– Ох, ради Бога, извините, мы сейчас уйдем в свою комнату. Где она, кстати? Приходите к нам на новоселье, только захватите стаканы. Машка, Дашка, вперед, девочки, вперед.

Харон улыбался, ему нравились эти люди.

Вечером Люба варила картошку, пекла пирожки. Роза с собаками носилась по кухне.

– Мы едем в Израиль, – возбужденно говорила она, – но эти засра...

– Мама!

– Не буду, не буду, не буду. Короче, мы от них сбежали. Должны же мы немного погулять?! Гриша, доставай водку, шампанское. И икру, икру обязательно. Я так люблю икру! Хлеба только нет.

– Хлеб есть, – улыбнулась Люба, – и масло, и виноград.

– Ой, ой, так неудобно, так неудобно. Григорий, или ты, Алешечка, сходи купи чего-нибудь.

– Ну, мааа, я же здесь ничего не знаю.

– Право, не о чем волноваться, – убеждала Люба, ворочая шипящие пирожки.

– Нет, нет, это свинство – звать в гости, а у самих... я сейчас же пойду, чего-нибудь куплю. Какого-нибудь мяса, помидоры.

Роза рванулась к дверям, но там стоял плотный невозмутимый Григорий.

– Птичка моя, куда ты летишь? Все уже на столе. И водка разлита, и шампанское я в лед положил.

– Пирожки готовы, – Люба ссыпала пирожки на широкую тарелку.

– Вот видишь? – и Григорий осторожно подвинул возбужденную подругу к комнате.

* *
*

– Евреи! Вы предаете свой народ. Вы предаете будущее своих детей. Вы предаете себя. Не думайте, что вы отсидитесь на тучных землях Америки. Сапожный бизнес в Сиднее и Торонто не спасет вас от мирового племени антисемитов. Рано или поздно они выдернут вас из теплых постелей, и, жалкие и униженные, вы побежите к нам, и мы примем вас, и мы обнимем вас, и ваши слезы смешаются с нашими: зачем, о зачем так долго странствовали вы, братья, в пустыне, в пустыне ненависти! Слушайте, евреи. Впервые за тысячи лет мы живем на своей земле. На священной земле Авраама и Иакова. Вот этими самыми руками мы превращаем ее в цветущий сад. Наши дети родились и выросли в свободной стране. Гордые и прекрасные ходят они по земле. Они не знают векового еврейского страха. И вы не найдете грусти в их твердых глазах. Они – хозяева. Они – победители. Так будьте и вы в стане победителей. Оставьте мелочный расчет. Ваша страна ждет вас.

Оратор протянул руки в зал, молча выслушал аплодисменты. Ряды задвигались, заскрипели случайными стульями, натащенными изо всяких углов.

– Учитесь, Цыпкин, воздействовать на души людские. В бизнесе это не последнее дело.

Кентавр пожал острыми плечами.

– Я тут наблюдал, как сын сдавал деда в Израиль. Он все твердил ему в «лохматые уши»: говори, что ты один. А сами улетали в Нью-Йорк.

– В Чикаго, – уточнил Харон.

– А, конечно, – улыбалась рыжая девка, стреляя глазами, – мы тоже бабушку отправили. Там пенсионерам хорошо. Лечат бесплатно.

– Отчего ж вы сами не поехали? – тихо интересовался Харон.

– Да чего я там не видела? Ослы. Арабы. Еще и в армии служить. Дураков нашли, – она презрительно вскинула голову.

– Глас народа – глас Божий, – хмуро улыбнулся Харон.

– Да какой она народ? – осердился плечистый мужчина, злобно раздувая ноздри. – Мечется всякая мразь под ногами. Хоть бы сидела тихо, не разевала своей помойки.

– Хамло, – отвернулась рыжая, – здесь тебе не Бердичев. Чего хочу, то и говорю.

– Ах ты, стручок ржавый. Да я ж тебя пополам перерву, – рванулся плечистый.

– Брось ты ее, Хаим, – остановил тихий усталый голос, – и потом, она действительно может говорить все, что думает.

– Думает она, – глухо ворчал Хаим, перекатывая могучие плечи. – У нас бы ей быстро мозги вправили.

– Их надо убеждать, – тихо возразил голос. – Видно, не нашли мы еще правильных слов.

Кентавр поднялся и зарысил к выходу. Харон молча последовал за ним.

Они вышли к Бурггассе. Фонари дрожали на рябых крышах. Тугой сизый асфальт лоснился. Из углового полуподвального ресторанчика тянуло свежеперемолотым кофе. Кентавр внезапно остановился.

– Зайдем, выпьем по чашечке.

По вытертым замшевым ступеням они спустились к тяжелым дверям, прошли мимо стойки бара и уселись у глубокой ниши окна. Неожиданно Харон усмехнулся.

– А почему, собственно, Кентавр, вы не зажигаетесь идеей возвращения в древний город Ершалаим? Папа ваш, Александр Авраамович, безусловно, не одобрил бы такого поведения.

Этот ернический тон раздражал Кентавра. Он морщился, поводил плечами и вообще производил всеми тощими членами своего тела богатую коллекцию знаков неодобрения.

– Папе моему, Александру Авраамовичу, – наконец холодно сообщил он, – давно и глубоко наплевать на весь белый свет. Включая древний город Ершалаим.

– Пошто так? – действительно улыбался Харон. Но Кентавр, не отвечая, смотрел на теплые фонари. Фиолетовый вечер колыхался в узких улицах. Его прохладные руки обнимали старые липы, качали узловатые стволы. Из стрельчатых окон собора выливалась густая усталая медь, величая Бога и Время.

– У меня была запутанная семья, – неожиданно начал Цыпкин. – Мать не любила бабу, бабу любила только отца, а он... он даже не пришел на ее похороны. Когда мать вышла замуж, бабу объяснялась только на идиш. Мать очень сердилась и угрожала отцу, что станет говорить по-немецки. Бабу была тяжелая, грузная, но, если я приходил с товарищем, не ленилась пришлепать из кухни и спросить, не гой ли он. А потом все бормотала – хороший мальчик, весь как есть хороший мальчик. Да, бабу, – Кентавр покачал головой, – она всегда сидела во главе стола, сразу за высокими полированными часами. Я ее боялся. Такая темная, огромная. А мать записала меня русским, – неожиданно скрипуче рассмеялся Кентавр Александрович.

– Я не знаю, – сосредоточенно тер подбородок Харон. – Человеку, составленному из половинок и даже четвертей, невозможно не чувствовать себя евреем в

России. Даже если он записан русским. Напомнят. Ототрут чугунным плечом. Прошипят из глухой очереди: жид, пархач. И тогда начинается великая ненависть, великий разброд и великий спор. Нужно разъять душу и скроить ее заново, ибо воистину нехорошо быть человеку одному. Если бы я решил, что я русский, ни под каким видом не покидал бы я России. Если бы я решил, что я еврей, ни секунды не раздумывая, полетел бы в Израиль. Но я такой же кентавр. И не могу вырвать грешный мой язык. Не могу забыть.

Принесли кофе вместе с румяными булочками, джемом и маслом.

– Ммм, чертовски вкусно! – прижмурился Харон. Цыпкин, положив масло в самый центр булочки, аккуратно растянул его к краям. Джемом он пренебрег. Осторожно вытянув губы, он дегустировал кофе.

– Да, неплохо, культурно кушают.

– Кентавр Александрович, у вас развиваются замашки будущего диктатора. Или шизофреника, что, в общем-то, одно и то же. Обращаетесь к себе в подозрительном числе.

– Я имею в виду немцев, – сморщился Кентавр, – качество, качество – вот их главная сила.

Чьи-то изящные ножки заслонили окно. Кентавр опрокинул голову, хищная улыбка разрезала его серые щеки.

– Хорошая девочка, – он плотоядно облизал тонкие губы.

– Кентавр Александрович, вы меня удивляете. У вас, кажется, налаженный сексуальный бизнес, а вы тут пустяками занимаетесь.

– Хорошая девочка – не пустяк, – вздохнул Кентавр, отрываясь от соблазнительных ножек.

– Кстати, о пробелах в вашем бизнесе, – нахмурился Харон. – Вчера, гуляя в районе Марии-Хильфер, наблюдаю всклокоченного человека, по всем приметам явного соотечественника. Пристает с какой-то бумаж-

кой к австрийским гражданам. Явно в отчаянии. Подхожу, беру бумагу. На ней одно только и есть корявое слово: Хернальсерхоф. Ага, думаю, голубчик, из нашенских. «Вы русский?» – со слезами на глазах спрашивает человечек. В некотором роде, говорю. И представь, начинает он громко рыдать. Да успокойтесь, в чем, говорю, дело? – Харон Кирбитьевич завозился, устроился поудобнее и с явным удовольствием продолжил былинным речитативом:

– И поведал он мне меж рыданиями,
Как пошли они колхозом на порнофильм,
И жена, и брательник, и тестюшка.
И все было в нем замечательно,
А как кончилось удовольствие,
Задержался он при афише той,
Где увидели голу грудь впервой.
Постоял он там, нагляделся всласть,
А уж сам дрожит, захотелось страсть.
Вот к жене он скорей обертается,
А уж нет ни ее, ни брательника,
Да и тестя чёртова след простыл.
И бросается он туда-сюда,
И кричит, руками размахивает,
Да понять простую речь его некому.
Вот стоит он один, сиротинушка,
И лежат перед ним да все три путя,
А куда итить не задачится.
И не пил, не ел он, ходил всю ночь.
Он ходил всю ночь, да не выходил,
А не встретить меня, так пропал совсем.

Кентавр поощрительно оскалился. Харон потерял щетину подбородка.

– Подхватил его я, да к автобусу. И, не решаясь доверить случайностям географии, прямиком в родной «Хернальсер». Сцену бурного воссоединения с семьей за недостатком изобразительных средств опускаю. Видите, что получается, Цыпкин? Ваша фирма не охватила

клиента, не облегчила вовремя, пренебрегла общественным долгом, потеряла деньги и чуть не стала причиной персональной трагедии.

– Могу себе поставить в вину только потерю денег, – ухмыльнулся Кентавр.

* *
*

Цыпкин появился внезапно. Харон лежал на небранной кровати. Его шершавые пятки упирались в железные прутья. Он спал. «Робинзон Крузо», открытый на 12-й странице, был вложен в темно-синий англо-русский словарь. Кентавр присел на соседнюю кровать. В руках он вертел изящную бамбуковую трость.

– Господин Подольский, – балагурил Цыпкин, шевеля тростью несвежие простыни. Харон нехотя открыл глаза.

– Ба, ба, ба, Кентавр Александрович. Свежи, прибраны и даже элегантны.

Кентавр позволил себе улыбнуться.

– Прекрасная немецкая работа, – тотчас улыбнулся в ответ Харон Кирбитьевич, отмечая ровный ряд передних зубов. – Где изволили подлататься? Впрочем, какие я пустяки спрашиваю. Полагаю, дверь была открыта?

– Да, – коротко подтвердил Кентавр. – Я, собственно, пришел сообщить, что нашел вам квартиру.

– В самом деле? – Харон свесил ноги в изжеванных пижамных штанах. – Извиняюсь, несколько сомлел за одолением английского. Дорого?

– Да вам что за дело? Фонд платит, – кивнул ботинкой Цыпкин. – Моя каморка на самом верху, а ваша – на первом. Соседями будем, – осклабился Кентавр. – Вы обедали?

– Еще нет.

– Можно после обеда вместе поехать, – дипломатически заметил Цыпкин.

– Ну, конечно, оставайтесь. Сейчас Люба что-нибудь сварганит. Какие новости?

– Да особенно никаких. Вот получил письмо от приятеля. Из Америки.

– Что пишет?

– Ну, что он пишет? Работает под Бостоном, инженером.

– Кто кого раздевает: он Америку или она его? – зевая спросил Харон.

– Так напрямую о деньгах он не пишет. Но я построил уравнение, ну, вы знаете там, X, Y. Вышло около тридцати тысяч.

– Отчего же прямо не спросить? Занимаетесь этой убогой арифметикой.

– Алгеброй, – флегматично уточнил Цыпкин. Он встал, прошелся по скрипучему полу, ударяя тросточкой в спинки кроватей. – Хорошо бы вечером закатиться в какой-нибудь шикарный кабак, – неожиданно объявил он.

– Так за чем же дело стало? – лениво протянул Харон. – С вашими финансовыми усилиями вы определенно имеете право на вознаграждение.

– Это верно, – легко согласился Кентавр, победно раздувая ноздри.

– А вот и Люба, которая что-то не радостна, – Харон тряхнул складками пижамы, вытянул правую руку вперед. – Радуйся, Люба, Кентавр-благодетель, мощным копытом врагов сокрушая, нам постоянное стойло промыслил.

* *
*

Харон оставлял «Хернальсер» без сожаления. Люба аккуратно заправила кровати, убрала кухню и даже

порывалась вымыть пол. Возмущенный Харон остановил это неуместное рвение.

– Береги силы, подруга. Просто безнравственно мыть полы в этом борделе. Да, да. «Хернальсерхоф» – в прошлом европейски знаменитый бордель. Верно, Кентавр? Но интересно, что и другие наши поселения – тоже бывшие бордели. Беттина и ее кожаное рыло, этот отельчик у вокзала, где, кажется, наш доблестный Кентавр охлаждал не вовремя явившиеся страсти. А зазорного ничего нет, как человек свободный, одинокий, весьма представительной наружности...

– Ну, хватит, – недовольно насупился Цыпкин.

– Отдаю только должное вашим достоинствам. Вот и эту неслыханную скромность причислим к счету. Ну, что? Двинулись к фрау Харрар. Так, кажется, прозывают нашу домовладелицу?

– Так, так, – скороговоркой подтвердил Кентавр, направляясь к выходу.

По отшлифованным булыжникам Грильпарцерштрассе они спустились к бронзовым фигурам Ринга. На блестящей торгово-парадной Мария-Хильфер толпился народ. Кентавр подвел их к одной из витрин.

– Я давно наблюдая за этими сапогами, – торжественно объявил он, пронзая страждущим взглядом свекольную кожу. – Думаю, через неделю я их возьму.

– Зачем через неделю? Бери прямо сейчас.

– Ты наивный человек, Харон, – победительно улыбнулся Цыпкин, – через неделю они будут стоить втрое дешевле.

В опрятном трамвае, где пожилые хаусфрау прижимали громадные хозяйственные сумки к болотным пальто, Кентавр настороженно выглядывал контролеров. У Лерхенфельда они с облегчением выскочили из задних дверей.

– Герр Цыпкин, я принесла в вашу комнату настольную лампу.

– Благодарю вас, фрау Харрар, – церемонно склонился Кентавр.

Фрау Харрар ободряюще дернула носом. Ее шляпка уехала к левому уху, сухое длинное лицо разломилось, крутая нижняя челюсть с измятой бородавкой тронулась вниз, и прямо в лицо Харону бросились крепкие желтые клавиши. Фрау Харрар говорила по-английски, стуча фразами, как порожний состав, неудержимо бегущий под уклон.

– Что она говорит? – выдохнул Харон, стараясь не глядеть в водянистую серую муть, которая неожиданно твердела, наливалась темным огнем и свирепо вырывалась из несвежих складок закрашенных век.

– Говорит, что устроит вас хорошо. Как меня. Ха-ха-ха. Что в моем пенале жил афганский профессор, и чтобы вы не смели жечь газ для обогрева. У вас стоит масляная печка, а трубу она сейчас принесет.

Фрау Харрар тряхнула шляпкой и загремела широкими разношенными ботинками к ближайшей двери.

– Это не ваша, – пояснил Кентавр, – одной японочки. Она учится в Консерватории.

– Слушай, по-моему, от старухи вовсю несет шнапсом.

– Конечно, – рассмеялся Кентавр, – всегда в подогреве.

Из двери пятилась фрау Харрар, пронзая темную лестницу жестяным коленом.

– Ой, – воскликнула Люба, – а как же эта японочка?

– Это не наши проблемы, – суровым жестом отстранился Кентавр.

– Ну, так, может, она наконец покажет избушку?

– На курьих ножках, – хихикнул Кентавр.

– Самое было бы ей там место, – согласился Харон, потирая нос.

Но фрау Харрар уже отпирала следующую дверь. Седые букли ее стали дыбом. Она призывно махнула коленом.

– Слушай, чудесная квартирка. И даже с мебелью, – поразился Харон.

– Да, – ревниво откликнулся Цыпкин, медленно огибая широкий диван, стеклянный кофейный столик и красного дерева буфет с медными застешками. – Повезло вам. Я и не знал, что такая хорошая квартира. – Кентавр постоял у просторного окна и скороговоркой продолжил: – Давайте закругляться, несите ей завтра свои бумаги да и переезжайте.

* *
*

Венское утро. Булыжники Шаллергассе влажно блестят. Строго молчат деревья. Черные стволы шагают по Штейнбауэр. Над ними висят нежно-зеленые пухлые облака. Горьковатый запах угля, молотого кофе, румяного хлеба. Любе нравится идти по чистым пустынным улицам, в установленном порядке, в крохотных заботливых садах с прямыми белыми скамьями, в выскобленных рядах магазинчиков, в первых теплых лучах приступившего дня. Нидерхофштрассе надломилась и двинулась вправо к зашитым в целлофан стопкам кирпича. Уже слышен глухой гомон рынка, наглая струя чеснока, золотистый амбарный запах лука, лимонной свежести, сладковатый дух парного молока, утробная сырая волна мясных рядов. Рынок по-прежнему ошеломляет ее. Люба не знает, на чем задержаться. Как молнии, сверкают узкие длинные ножи, валится с медовых окороков душистая ветчина, распахиваются бараны туши, тянет паленой щетиной, оскаленные сви-

ные головы внушают восторг и ужас. А рядом бушует море: дымятся на льду горы мидий, костяным шорохом наползают крабы, бьют темной полированной клешней в край деревянной лохани, ровной шеренгой марширует дунайская селедка, по железным обоям прилавка летит в перламутровой слизи нежная камбала. Густеет день, пышнее цветут розы в длинных глиняных кувшинах. Пряной сладостью истекают бананы, лопаются потертые кожаные одежды гранатов. Кровавый сок пятнает жадные пальцы. Пора домой. Сумка непобедимо тяжела. Еще только пройти изысканный Майндлингер, вдохнуть волнующий аромат шелка, замши, духов, а потом у Тиволи вскарабкаться на самый верх пыхтящегося двухэтажного монстра и медленно, торжественно двигаться к дому.



Харон продирался богатыми венскими задворками. Белые особняки глазели венецианскими окнами на приливающие воды ленивых фонтанов. Грудастые нимфы и Лаокооны, вырубленные из местного песчаника, хоронились в высокой зелени. Гладкие жуки из породы БМВ и мерседесов отдыхали у тихих почтенных оград. Харон блуждал между ними, как мышь в лабиринте. Ему было жарко. Но чем более энергично он шагал, тем более запутывался в тенистых улочках и прохладных тупиках. Два бодрых подтянутых старика вышли ему навстречу. Харон нетерпеливо воззрился на их румяные свежие лица. Старики, тихо беседуя, прошли мимо.

– Дойче зольдатен, – внезапно заорал Харон. – Ахтунг. – Зеленые гетры дрогнули и тотчас остановились. Харон беспомощно растопырил руки. Единым разом он исчерпал все запасы своего немецкого. – Сум

Тюркен, – отчаянно твердил он озадаченным старикам.
– Отель, отель.

Наконец один из них тихо взял его за руку. Довел до конца улочки и махнул рукой в направлении желанного здания. Минут через десять Харон Кирбитьевич шагал ободранным коридором. Двери номеров выскакивали так часто, что он удивлялся, может ли за ними помещаться живое человеческое тело. Там, за одной из этих дверей, предполагался Ваня Пуговкин – старинный приятель, только что отчаливший от берегов отчизны дальней и нашедший приют в этой грязной дыре, так неожиданно торчащей в самом эпицентре бургерского благополучия. Ваня мертво лежал на узкой кровати. Его пыльные ботинки упирались в стену. Голова к голове с ним лежал сосед-обитатель. Бицепсы соседа вздувались толстыми якорями, синяя муха бродила по его оттопыренной губе. На каждом волосатом пальце сидела именнованная буква: «Хайим», – без особого удивления сложил Харон. В узком проходе катались пустые бутылки. Харон насчитал пять столичных.

– Иван, – строго воззвал Подольский, теребя безвольное тело. Ответом ему был тяжкий вздох и волна перегара такой силы, что он едва устоял на ногах.

– Ваня, – кротко обличал Харон, – зачем пить так много? Так несуразно много? Я и сам грешник. Но все же... Ты меня слышишь, Иван? – Пуговкин сморщился, завозил губами, но глаз не открыл. – Хорошо, отсыпайся, – согласился Харон. – Приду завтра. – Он выскочил в коридор. Из фойе доносились сердитые крики.

– Тихо, тихо, товарищи-господа. Я имею донести до вас сообщение. Если вы блюете по пять раз в день, то какие же простыни? И готовить в номерах воспрещается. Бежите на общую кухню или гуляйте в ресторан, а у которых найду плитки, коленом под зад и гуляй Маня.

– Так их, Ленчик. Засрали помещение, не продышишь, – задушевно соглашался толстый дядька в соломенной шляпе.

– Какое хамство, – качала головой худенькая старушка.

Ленчик, вбитый в кожаную куртку до пузырящихся швов, хищно улыбался собранию наглым чернобровым лицом. Рядом с ним, гуляя синим языком между кровавыми губами, нетерпеливо стучала ботинком теща и хозяйка помещения мадам Беттина. Ее высохшие икры в разлезшихся черных чулках била нервная дрожь. Ленчик выслушивал невнятную тещину речь и переводил ее на простой доходчивый одесский язык. Где-то с год тому назад малокровное дитя мадам Беттины пало жертвой южного темперамента, и Ленчик въехал в гостиновладельческую семью. Все это охотно и громогласно сообщила Харону Соломенная шляпа. Харон выслушал сообщение не без интереса, пересек галдящую толпу и покинул отель.

* *

*

Ваня Пуговкин разлепил голубые глазки, сбросил затекшие ноги с узкой кровати и уронил похмельную голову на широкие теплые руки. Он плохо помнил, как оказался в этой каморке. Вздохнув, Пуговкин пошарил в карманах, вынул кучу бумаг, адреса, телефоны, шесть рублей, мятую пачку «Примы», связку ключей от замков, которых никогда уже не открывать. В окне билось пыльное солнце. На кровати соседа сидел рыжий кот. В лапах он держал кусок копченой колбасы. Иван замер. Слюна закипела в его пересохшем горле. Он неслышно прыгнул к коту. Почесывая левой рукой широкую башку, подобрался правой к когтистым лапам и вырвал колбасу. Кот не шевелился. Чувствуя перепойную жажду, Иван выскочил в коридор. Одна мысль застряла в тяжелой его голове: пива, пива. Он огладил карманы ковбойки: В одном из них приколотая булавкой сидела сотня

долларов. Ему повезло, каким-то шестым чувством он наскочил на пивной подвальчик, растопырил четыре пальца и сунул стодолларовую бумажку. Ему принесли четыре кружки, какие-то вкусные заедки и целую кучу шиллингов. Иван отмяк. Он медленно тянул холодное горькое пиво. Лицо его багровело. Откинувшись на просторной дубовой скамье, он лениво водил глазами по каменным стенам, по рядам пивных кружек с затейливыми крышками, сидевшими на высокой полке, по могучему бугристому затылку хозяина, склонившегося над распахнутой газетой. Тишина, прохлада, нерушимый порядок радовали и раздражали Ивана. Ему не хватало духоты и грязи пивного ларька, злобно-веселого гомона алкашей, сладкого запаха разбавленного жигулевского, деревянного куска воблы, засосанного до последней кости, приятелей, орущих из темной очереди, потного и счастливого прорыва с гулкими пенящимися кружками к серому забору с лебедой, где, устроившись на сгнившей овощной тарелке, можно разломить чекушку, брызнуть в тесные кружки приятелей и зажевать крутым черным хлебом. Пуговкин тяжело поднялся, подошел к стойке, заказал еще пару пива. Раздражение его улеглось. Он вертел в руках тяжелую кружку, приносил ее к распутившемуся красному лицу, припадал надолго к холодному фасонному краю и тяжело вздыхал.

* *

*

Рыжим субботним утром Цыпкин подходил к рынку, к тому его дальнему концу, у мазанных суриком сортиров, где созревала толпа, темными гроздьями вспухавшая меж полицейских барьеров. Кентавр, далеко вперед протянувши тонкую шею, высматривал кого-то в толпе. Он прошагал вдоль барьера почти до конца, пока не уперся в чью-то толстую суконную спину. Федя,

запрокинув лохматую белую голову, стоял третьим. Он увидел Кентавра уже давно и делал ему отчаянные знаки.

– Кентавр Александрович, – закричал наконец Федя тонким бестрепетным голосом, – деньги, деньги давайте.

Цыпкин перегнулся через барьер.

– Смотри, хорошие номера бери, – жестко протянул он. – Ну, знаешь, где торгуют пивом и сосисками.

Федя понимающе кивнул, обдернул школьный китель, в котором почему-то слонялся все лето. И всем своим напряженным вихрастым профилем обратился к каске.

Блошиный рынок возникал из небытия раз в неделю. Его шумные прилавки, вздыбившиеся фруктовыми ящиками на пронумерованных кусках асфальта, предлагали старые заслуженные предметы, волею судьбы обратившиеся в товар. Ржавые рогатые каски, плоские немецкие штыки с подозреваемыми следами вражеской крови, пустившиеся вприсядку мятые самовары, останки никелированных кроватей с горячими латунными шишками, значки и штандарты провалившихся в Лету полков и дивизий, ряды измасленных человеческим потом рубанков, целые кланы фарфоровых кошек с потревоженными временем членами, стога кожаных пальто, перепоясанные и готовые к путешествию картонные чемоданы, валяющиеся в ноги покупателей, стеклянные флаконы с причудливыми пробками и кучи темных пиджаков, беспрерывно примеряемых и пересчитываемых застенчивыми усатыми людьми. У более солидных прилавков выставлялись картины, старое серебро, плюшевые вырезные альбомы, неожиданные кирзовые сапоги. Это мирное единение старины, эту отрадную для глаза оживленную пыль истории нарушала особая порода людей, торгующих вещами, не имеющими детства и юности, не возросших к почетной старости. Одни из них молча каменели над янтарными

ожерельями, рюмками червленого серебра, соблазнительной гусеницей изогнутыми кораллами. Другие, надев ондатровые шапки, строго глядели в толпу, время от времени трогая холодными руками лаковые церкви и Иван-царевичей, упиравшихся малиновыми сапогами в изумрудную твердь, дабы ловчее тащить хвостатых Жар-Птиц по квадратным и круглым коробкам, огибаемым золотою насечкой. Краснорожий дядя с перебитым носом и вовсе не трудился приискать место, а, бросив на чугунные плечи песцовую шубу и время от времени уставляя бинокль в прущую рядом толпу, сумрачно сплевывал ей под ноги. Прочая нерасторопная публика, притулясь со своей «гжелью», «хохломой», неизбежными матрешками на нелегальном уголке затертого асфальта, тревожно ожидала карающих властей или оседала фотокамерами, часами, меховыми паланкинами, аптечными весами, металлическими брусками для измерения горизонтальной поверхности, льняными простынями, балалайками, сипящими куклами, медведями, бесконечно стучащими деревянными молотками по липовым наковальням, хромированными кусачками и нешуточным набором фиолетовых трико на прочно установленных, широко раскинутых прилавках перекупщиков.

Кентавр аккуратно распространил ящики по территории номер 47. Порывшись в адидасовской сумке, вытянул кусок желтого бархата с кистями.

Вместе с Федей ухватившись за кисти, туго растянул его, заправив концы под шершавые доски. Критически осмотрев поверхность, Цыпкин прогладил ее недоверчивой рукой и стал выкладывать оптику. Два «Пентакона» с набором объективов, три зеркала, кинокамеру «Салют». Федя осторожно развязал рюкзак и предъявил модное женское пальто на затейливых пуговицах.

— Кентавр Александрович, глядите, какое пальто мать принесла! От католиков!

– Это безнравственно, Федя, – строго заметил Кентавр.

– А чего? – весело закричал Федя, – у нас денег нет. Раз дают... И еще, Кентавр Александрович, мне сестра кофту дала.

– Ну, хорошо, хорошо, – торопился Цыпкин. – Положи куда-нибудь с краю.

Толпа напирала. Первым ушел «Пентакон». За ним зеркалка и другой «Пентакон». Федя шустрым, взъерошенным воробьем бежал за отвергнутым покупателем. Мятая кофта пламенела в его потной подмышке. Длинная очередь построилась за пивом. Кентавр проглотил накатившую слюну. Он взглянул на соседа. Тот, накинув на одно плечо серое драповое пальто, злобно мял смуглое скуластое лицо красными ободранными руками. Рысьи глаза его яростно щурились, стараясь победить перепойную усталость. Он сбросил пальто с плеча, подхватил его двумя руками, встал поперек толпы, шевеля тяжелые складки.

– Австрийские граждане! Внимание! Замечательное пальто! Австрийское пальто! Оно защитит вас от дождя, согреет в зимнюю стужу, укроет в ненастье, сэкономит в несчастье. Всего 40 шиллингов. Паршивые 40 шиллингов решают судьбу человека. – Его обходили. Он, глухо матерясь, вернулся на старое место.

– Дяденька, – подхватился Федя, – вы так ничего не продадите. Несите ваше пальто сюда. Можно, Кентавр Александрович?

Кентавр рассеянно кивнул. Человек медленно подошел. Левый клык его горел полуденным солнцем.

– С вашего разрешения, Голицын Федор Степанович.

Кентавр объявился коротко и без особого удовольствия:

– Цыпкин.

Тронув вяло протянутую руку, Голицын обернулся к Феде.

- Ну, тезка, сколько за продажу отначишь?
- Как положено, – лукаво прищурился Федя. – 30%.
- Годится.

Федор Степанович стоял прямо, неподвижно, глядя поверх плывущих голов презрительно-равнодушными глазами. Единственное, что его сейчас занимало, – это пиво. Холодное с горчинкой, неизъяснимым букетом радующее пересохшее горло.

– А не ссудится ли на кружку, хотя, конечно, позор? – он раздумчиво покосился на Кентавра. Цыпкин нахохлившейся пыльной птицей завис над камерой. Глаза его затянуло усталой розовой пленкой.

- Нет, – уныло подумал Голицын, – здесь не светит.

Мимо них в который раз прошел сосредоточенный, потухший мужчина с удочками.

- Наш человек, – кивнул Голицын.

– Шурин, козел, говорит: вези удочки! – мрачно обернулся страдалец. – Вот и хожу как дурак. Хоть бы какой завалящий турок купил. И не смотрят. А может, вы купите? – внезапно встрепенулся он, шевеля пучком удочек. – Задарма отдам.

Кентавр открыл сонные глаза.

- Назовите, пожалуйста, ваше «задарма».

– Ну, дайте полтинничек. У меня ведь десять штук, – просительно затянул мужчина.

- Двадцать, – сурово предложил Цыпкин.

– А, мать их! Забирайте! – в отчаянном азарте махнул он рукой.

- Федя, – тихо окликнул Цыпкин, – прими.



Харон примерил мятую каску, взял широкий полированный нож, медленно провел перед глазами. Каска

пришлась замечательно. Суровые окопные тени явились у впалых щек.

– Что это я делаю? – с отвращением подумал он и, сбросив каску, сумрачно зашагал вдоль рядов. Толпа вернула его в широкий проход. Над задумчивым собранием хохломы, биноклей, серебряных подстаканников, пухлых карманных часов с паровозом человек в рыжей кепке, глядя на покупателей туманными оловянными глазами, трепал визгливые струны балалайки. Рука его лениво ходила по черному грифу. Вдруг он встрепенулся, забросил кепку к затылку, низко раскидывая колени, выскочил вперед, затрещал каблуками и с бешеной силой хватанул струны. «Ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду, сидит ворон на дубу. Сидит ворон на дубу и играет во трубу. Приходи к нему лечиться и ворона, и волчица. Всем сыграет во трубу ворон, сидя на дубу».

Толпа подалась. Но столь же внезапно артист вернулся к хохломе. И опять безучастными оловянными глазами глядел сквозь текущую публику.

– Насекомый, – с удовольствием опознал Харон. – Одурел от профита или заскучал в немецкой земле. Однако, где же вы, Кентавр Александрович? Было указание на пивной ларек. А, а, а. Здравствуйте, насилу набрел. Федя, променял счастливое детство на торговые ряды. Буду пенять мамане. Вас, извините, не знаю, как величать.

– Голицын Федор Степанович.

– Поручик?

– И очень дельное предложение. Пивом не угостите?

– Ну, конечно же, пивом. Вам, Кентавр?

– Не откажусь, – с достоинством согласился Цыпкин.

– Феде, за малыми летами и нездоровой склонностью к профиту, не предлагаю.

– А мороженое? – улыбаясь, закричал Федя, теребя конопатый нос.

– Охладиться тебе и вправду не мешает. Как торговля? Все вытрясли из этой шелудивой публики?

– Я счастливо расстался с пальтуканом, – доложил поручик, зарываясь носом и губами в горькую пену.

Кентавр поглощал пиво сосредоточенно и строго. Он не зевал по сторонам, не провожал тоскующим взглядом стройных голенастых девчонок, не разделял беспричинную веселость, которая там и сям выплескивалась безмятежными радостными кликами. Денек отяжелил его солидной пачкой шиллингов, но он не чувствовал никакого удовольствия. Напротив, тоскливое неопределенное раздражение бредило душу. Харон встрепенулся.

– Поскольку рынок умирает прямо на глазах, а вечер так хорош и прибыль, подозреваю, не хуже, отчего бы нам не посидеть в каком-нибудь уютном местечке? Разумеется, Кентавр Александрович, стороны вносят посильно равную лепту.

– Я занят, – нахмурился Цыпкин. – Вообще у меня ангина.

– Ангина и пиво сочетаются замечательно.

– Ну, хорошо, – неожиданно для себя согласился Кентавр. – Идем в «Жар-Птицу».

* *
*

«Жар-Птица» обернулась тем заведением, в котором австрийский сервис притворялся русским. По стенам всё ходили тяжелые мужики в ярких поддевах и лаковых сапогах, а над входом в пивной зал разлегся усач в таких необузданных шальварах, которых, верно, не видывали с баснословных времен Запорожской Сечи и беспримерных подвигов Нечипоренки. Имелись, конечно, и разудалые тройки, изо всяких углов наезжающие на остолбенелого посетителя, гармонии, растяги-

ваемые во весь размах задористых рук, бабы в пестрых платках, затевающие неясные хороводы. Но главным источником вдохновения, незабываемой вершиной и катарсисом заведения являлся румяный господин, который под внимательным взглядом двух жар-птиц, расхаживающих у него за спиной, вовсю набивал свои тугие щеки жареным поросенком, кулебякой, осетром и прочим замечательным продуктом, дымившимся на необъятном золотом блюде.

– Ну, этот не иначе как царь, – ткнул в румяного Харон. Они только что спросили голубцов, пельменей, водки. Кентавр примеривался к икре, что было, конечно, совершенным вздором. А пока с любопытством рассматривали темную залу, чинных посетителей, бесшумных лакеев в белых портках и цветастых рубашках и квадратных жар-птиц, все ходящих за спиной у румяного. Принесли графинчик водки, очень быстро пролившийся в жаждущую глотку Голицына. Кентавр, опечалившись, приналег на пельмени. Вскоре принесли и второй графинчик, и третий. Кентавр, наконец, почувствовал приятную теплоту, дружество застолья. Он совершенно оставил в покое жаркие голубцы, глаза его призакрылись, легкая улыбка растянула бледные губы. Откуда-то выскочил гривастый человек с гитарой. Сделав кокетливый перебор мягкими сапогами, завел «Полна моя коробушка». С соседнего столика артиста в упор изучал строгий австриец при фраке в золотых круглых очках. Огромный глаз его смотрел тускло, настоятельно. Гривастый вдруг сошел с назначенного репертуара, затянул переливчатую тирольскую песню. Клиенты дружно затопали кружками. Кентавр удовлетворенно кивал головой. Поручик сумрачно встал и прямо зашагал к гривастому. Тот как раз вытянул последнюю трель, прижал гитару к груди и раскланялся.

– Кентавр Александрович, – внезапно строго спросил Харон, – я надеюсь, мы выдержим это посещение? В противном случае предлагаю удаляться через сортир.

Голицын протянул руку к гитаре. Гривастый подался назад. Виртуозно перебирая струны, неожиданно низким сиплым голосом Голицын начал «Очи черные». Немцы насторожились. Но когда на рыдающей ноте, оборванной в горячечный шепот, поручик обессиленно сник, зал обвалился в неистовый крик и аплодисмент. Голицын переждал шум, коротко поклонился, так же строго и сумрачно вернулся к столу. Кентавр был растроган. Он заказал два графина водки, блины и судака в сметане. Он не делал комплиментов поручику, но охотно подливал ему в рюмку и всеми складками острого лица выражал приязнь и расположение.

– Замечательно, – прижмурился Харон, надвигаясь на судака. – Где так ловко обучились вы петь?

– Природа, – коротко отвечал Голицын.

Неспрошенная бутылка вина вдруг явилась в руках подошедшего лакея. Улыбаясь, он указывал в глубину зала. Там какие-то люди высоко поднимали кружки. Кентавр в ответ поднял бутылку. Голицын мельком взглянул на нее.

– Кислятина, – и отшел в сторону.

Но, когда прислали «Метаксу», оживился. Улыбка распахнула его твердые губы, и хищный огонь зажегся в рысьих глазах.

– Слава Богу, сообразили. Хотя водка была бы лучше.

Кентавр чувствовал особую легкость в мыслях. Вернее, свободное, воздушное безмыслие. И, хотя ноги его налились и с трудом отрывались от пола, он еще выпил бутылку вина, отвергнутую поручиком.

– Самостоятельно, – удовлетворенно отметил Кентавр, так как Харон тоже не составил ему компанию. Опять выбегал гривастый. Опять пел про ямщиков, про горестных, неутешных цыган. Но все это приходило к Кентавру как завернутое в вату. Глаза его закрывались. И, когда он, преодолевая гудящую темноту, подымал

чугунные веки, на него все наскакивала ноздрястая лошадиная морда с дымящимся бешеным глазом.

*
*
*

По утрам туман сырой паутиной оседал на железе решетки. В спальню заползали невнятные рассветные тени. Сквозь потные квадраты окон выступал булыжный двор и трехногое корыто для мусора, приведенное фрау Харрар с неделю тому назад. Харон со вздохом откинул одеяло, потянулся. Люба, как подстреленная птица, склонив голову к плечу, раскинулась на широком диване. Он неслышно вышел на кухню, зажег газ, хрустя челюстью, одолел подступившую зевоту. Так, сначала в «Биллу»: хлеб, сыр, сосиски. В угловой за чаем. Взять «Цейлон» в желтой упаковке с кораблем, тот крепкий, с густой ароматной горечью. А главное – «Гросс». Сегодня четверг: бесплатные свиные головы. Под студень позвать Феликса с Иваном, Кентавр объявится самостоятельно, этого не избежать. Харон вышел на Шаллергассе. Изморозь вывездила серые камни. Как в серебряном сне, нежно вызванивая, трамваи спешили к Зюдбанхофу. Лицо одубело на холодном ветру. Он усмехнулся. Где вы, Игорь Израилевич? Неутомимый любитель свинины! Поверите ль, что в далекой немецкой земле просто так в ваши робкие руки отдадут розовые ножки и тяжелые зубастые рыла?! Ах, как любили вы похмельный борщ и дрожащий, прозрачным мрамором сияющий студень! Как охаживали его с чесночком, хренком и укропом! Увы! Уплыли эти времена. Вы у себя на Родине. Ау!

Когда он вернулся, на кухне сидел Кентавр и бесшумной рукой добирал остатки печенья.

– Какие планы? – поинтересовался Цыпкин, ощупывая взглядом плотный пакет со свиным рылом.

– Планы самые простые – завтракать.

Люба уже несла тарелки. Кентавр оживился, затрепал длинными пальцами. Горячую колбаску он нарезал тонкими кружочками и долго макал в горчицу.

– Спасибо, надо идти, – наконец поднялся Кентавр.

– Дела, дела, дела, – пропел Харон.

Цыпкин торжественно кивнул.

– Люба, как давно состоит на довольствии наш домашний монстр?

– Как приехали. А что?

– И завтраки, и обеды, и ужины?

– Что за мелочность! Он – один, неухоженный, мятый какой-то.

– Да я не о том. Замечательной бережливости человек. Священное отношение к валюте. Он меня вчера вдруг спрашивает: Харон, если не секрет, сколько у тебя денег? И чувствую, что очень ему неловко. Но натуру не может превозмочь. Разумеется, говорю, секрет. Очень он обиделся. Под конец я все же его утешил, признался в ста шиллингах. А дела у него нынче простые: пошел воссоединяться с Германией.

– Он хочет остаться здесь? – удивилась Люба.

– Как честный немецкий офицер. Мама фон Бюстгальтер или что-то там. Но немцы, как всегда, педантичны. Не достает какой-то бумажки или заявления, в общем, самого последнего пустяка.

– Что же он там будет делать?

– Деньги.

* *
*

Ваня Пуговкин гулял вдоль реки Дуная. Недавно он успешно заселил покинутую квартирку с огромными дубовыми кроватями. Имелись в ней и дряхлые ампирные шкафы, бормочущие безлунными ночами тусклыми

ми ушедшими голосами. Когда шамкающие дверцы их неожиданно раскрывались и затхлая глубина сочилась черной готической жутью, Пуговкин открывал глаза, напряженно вслушивался в скрипы и шорохи, матерясь лез за бутылкой. Просыпался он поздно. Мясистое лицо его свирепо морщилось, большое белое тело нехотя возвращалось к жизни. Гулял он вдоль реки каждое утро, стараясь победить ночное онемение. Потом шел к Поручику, помещавшемуся этажом выше, играть в кости. Но сегодня Поручика не было, и он все шагал и шагал и когда спохватился, то понял, что убрел Бог знает куда.

– ... твою мать, куда ж идти-то? – громко выругался Пуговкин.

– Русский? – неожиданно услышал он. Рослый старик в зеленой тирольской шляпе улыбался ему самым дружеским образом. – ... твою мать, давай петушка. – И, закатив голубые глазки к жидкому австрийскому небу, с той же дружеской улыбкой старик перечислил все матерные коленца и пассажи, схоронившиеся с далеких колымских времен.

Пуговкин поощрительно кивал. Старик, выложив все свои драгоценности, спокойно ждал одобрения. Иван постучал в его широкую спину.

– Молодец, папаша. А не скажешь ли, в какую сторону мне двигать? Заблудился я, понимаешь.

Старик улыбнулся, в свой черед похлопал Пуговкина по плечу, приятельски подмигнул и продолжил свой путь. Иван долго стоял с разинутым ртом. Плюнув, он развернулся и зашагал обратно.

– Вот немчура проклятая! Или не понимает он ни хрена, что ли? Мало, видать, сидел, старый козел, – Пуговкин с силой поддел ботинком камень, валявшийся на дороге. Но на немецкой земле ничего случайного не валяется. Камень оказался опорой вентиляционного люка. Твою мать, обморочно заорал Иван, подбирая убитую ногу. Как раз накануне, выложив кучу денег, он купил эти особые, исключительно мягкой кожи ботинки,

в которых нога, ну, прямо, была как родная. Крепко сжав багровые челюсти, Иван сурово захромал по широкой незнакомой улице.

* *
*

Каждое утро Феликс и Цыпкин играли в преферанс. Они сидели на грязной постели Кентавра, шевеля жирные карты. В этой холодной игре Феликс неизменно выступал страдательной стороной, что, впрочем, никак не умеряло его страсти. Кентавр же рассматривал этот энтузиазм как верный и необременительный источник дохода. Иногда игра перемещалась вниз, к Подольским. Под эту оказию подавалось терпкое красное вино, Харон лениво проигрывал десятку-другую, Феликс яростно шлепал картами, а Цыпкин хладнокровно при- считывал взятки.

– Бессовестно так выигрывать, должен вам заметить. Более того – безнравственно.

– Карты не имеют отношения к морали, – холодно парировал Кентавр.

– Но Феликс наг, нищ, обременен семейством, – настаивал Харон. – В этой дурацкой игре вы эксплуатируете его самолюбие.

– Я не понимаю ваших намеков, – сердился Цыпкин. Глаза его загорались тусклым багровым светом. – Я готов прекратить игру в любое время.

– Но вы не готовы остудить Феликса в его детском нетерпении.

– Я не холодильник, Феликс не ребенок. Играем мы или нет?

– Господа, господа, прекратите базар, играю семь треф. Ваше слово, Кентавр Александрович...

Но сегодня в гостиной было тихо. За окном неслышно падал снег. Харон спал на вытертом диване.

Теплый ветер, заходящий от печки, шевелил страницы «Робинзона Крузо», упавшего ему на грудь. Ожидалась примерная попойка, и он желал наперед выпасться. Люба «разбирала» холодец. Ее маленькие руки проворно отделяли всякие неуместные кости, грубые куски отслоившейся кожи, ноздреватые хрящи от нежного, перевитого нитями распустившегося мяса желе; украшали его звездочками моркови, солнечными узорами крутого яйца, праздничными веточками укропа. Покончив с холодцом, Люба раскатала тонкий лист слоеного теста, основу яблочного пирога. Темные медовые яблоки на густом сахарном сиропе доходили в духовке. Облитая горячим румянцем, в зеленом стареньком платье, она и сама очень походила на ядреное яблоко. У дверей завозились. Заливистый веселый голос Пуговкина прокричал:

– Гостей принимают?

Люба бросилась к дверям. За Пуговкиным стройной сумрачной тенью стоял Поручик. Он шаркнул ножкой, строго наклонил голову.

– Извините за вторжение. Незванный гость хуже татарина. Тем не менее, рискую представиться: Голицын Федор Степанович.

Пуговкин снял с плеча тяжелую сумку.

– Вот, Люба, приготовил. Думаю, на всех хватит. – Он стал поспешно тягать литровые бутылки.

– Это – на чесноке, медовуха, тут попробовал одну штуку. Эта – просто рябиновая. Вот еще огурцы. И капусту засолил.

– Ваня, ну, куда столько? Все будут пьяные.

– Хорошо, хорошо, – одобрил Харон, выплывая из гостиной в мятых портках.

– Недолив и Недопив – два величайших зла, с которыми всемерно призываю бороться. Прошу извинить за домашний затрапез. Прошу также скинуть верхнюю одежду. И давай, Ваня, испытаем рябиновку. Поручик, вы позволите предложить вам стопочку?

– И даже две, – согласился Голицын. Вчерашняя похмельная муть совершенно осела, и тигриные глаза его янтарно светились. Харон вынул из буфета три чашки, разлил рябиновую.

– Со свиданьем... М-да, достойный продукт, Ваня. И повторим, но это уже все. Люба обижается.

– Кентавр будет?

– Не зван, но неизбежен. Как ночь и день.

– А Феликс?

– Феликс зван.

Заблеял телефон. Попечением фрау Харрар связь с миром была односторонняя: диск телефона заперт солидным висячим замком. Харон снял трубку:

– Говорите.

– Харон? Это – Кентавр. Я в городе. Какие планы?

– Планов никаких.

– Я купил себе сапоги. По шестерному сэйлу. Вечером забегу показать.

– Я уверен, что покупка замечательная. Но не уверен, буду ли дома.

Последние слова Харон проговорил в мертвый телефон. Обернувшись к гостям, он значительно поднял брови.

– Кентавр. Объявил о покупке каких-то небывалых сапог. И, конечно же, предъявит их в самое ближайшее время.

– Что, небось, всю водку сожрали, сволочи? – загремело в передней. В огромной малиновой шапке с помпоном, насунутой на острые уши, Феликс надменным петухом прошагал в гостиную.

– Не бушуй, дружок, не бушуй. Хлебни-ка вот лучше с дорожки. Сейчас и за стол сядем.

– Ванька варил? Ну, молодец. Вкусно. А я, братцы, от контролера бег.

– За твою дурацкую шапку должны бесплатно возить.

– Пошел...

– И из гостиницы тебя выперли. Потому шуму от тебя на десятерых.

– Д-да, братцы. Поперли, – Феликс смущенно захекал. – Теперь вот с коленями живу.

– С какими коленями?

– Из Ташкента. Хорошие люди, плов варят, нас угощают, но родственников! И дети, и тети, и тещи троюродные. Как набегут! Как поднапрут со всего города! Не повернись. А где Кентавр?

– Что, соскучился?

– Да нет... я...

– Сегодня никакой игры. Отдыхай, расслабляйся, прочищай дыхательные пути.

– Нам открыты все пути-дороги, – заорал Феликс. – Садимся мы, наконец, за стол или не садимся? Любовь Михайловна. Как сказано в одной книжке для наставления юношества: душа просила вина, вина.

– И холодца.

– И огурца. Ванька вон какую банку приволок.

– Несу, несу, садитесь, – отмахивалась Люба.

– Первый тост за хозяйку, – гремел Феликс. – За хозяйку, за хозяйку, за Любовь Михайловну, ура.

– Наступите ему на горло. Сейчас Харрар прилетит.

– На метле.

– Жжелаю отдыхать культурно, – бушевал Феликс. – Без ограничений.

– А немчура, ребята, по-русски лопочет, – неожиданно объявил Иван. – Подходит ко мне сегодня один дед и говорит: дай петушка. Ну, потом, правда, ничего понять нельзя.

– Да, – подтвердил Феликс, – мы тут с женой моей, Валей, идем вдоль оперы и видим пожилого без руки. Я говорю: руку-то, небось, у нас потерял, старый хрен. А он, подлец, оборачивается и – ну, как мы с тобой: «У вас, – говорит, – у вас». Холодца, – вспомнил Феликс. – Наливай, Рома, чтобы просторней было. Эх, а почему не поем? Гитара есть?

- А ты, никак, играешь?
- Я не играю, нноо...
- Позвольте, позвольте, Поручик, что ж вы всё скромно так молчите?
- Господа, господа, ну, пожалуйста.
- Заткнись, Феликс, не зуди. Вот Федор Степанович сейчас нам споют.
- Без гитары затруднительно, – холодно отвечал Поручик.
- Господа, неужто не сыщем паршивой гитары?
- Звонят.
- Это, конечно, Цыпкин.
- А, Кентавр Александрович, дорогой. Вы должны мне 80 шиллингов.
- Я, кажется, не вовремя, – бормотал Цыпкин, тем не менее направляясь к столу.
- Ну, Кентавр Александрович, ну, какой вздор. Ну, разумеется, вовремя. Кстати, ваша девушка Оксана имеет гитару?
- Гитару? Да, кажется. Только почему вдруг моя?
- Неважно. Зовите ее сюда.
- Если вы настаиваете, – Кентавр неуверенно топтался у стола.
- О, так это и есть знаменитые сапоги? – наконец сообразил Харон. – Покажите, покажите.
- Кентавр охотно вышел на середину.
- По шестерному сэйлу. Поздравляю. Неслыханно. Полыхают как огонь. Кого-то вы мне в них напоминаете. Определенно былинного героя. Нет, не могу вспомнить.
- Да уж вы, пожалуйста, вспомните, – кокетничал Кентавр, отставляя ножку.
- Вспомнил, – ударил себя в лоб Харон. – Иванушку-дурачка.
- Феликс гулко захохотал. Цыпкин сморщился.
- Вечно ты, Харон, какую-нибудь гадость скажешь.

– Какая же гадость? Ваня – любимый герой русского народа. За честь взять надо. Так идете за гитарой?

– Хорошо, я схожу.

* *

*

– Напоили, сволочи, – гремел Феликс, упирая стеклянный взор в неподатливые каменные ступени. Красный колпак, захавши на глаза, свирепо мотался.

– А я девчоночкой была неподатливая, – затянул он, перебирая ступени. Феликса вынесли, как знамя. Голова его моталась на тонкой шее. Поручик выступал твердо. Только припухшие складки в углах жесткого рта и несколько залоснившийся кончик тупого носа указывали, что изрядная доза спиртного была принята и счастливо освоена.

– Я девчоночкой была неподатливая, – еще раз всхлипнул Феликс и окончательно провалился в твердые плечи товарищей.

* *

*

Кентавр Александрович, облачившись в белоснежный костюм, решил прогуляться по Рингу. Настроение у него было превосходное. Только что прошел освежительный дождик, тянул легкий, малиновый ветерок, молодые каштаны лепетали влажными листьями. Превосходным настроением Кентавр Александрович был обязан черной икре, с небывалым проворством устроенной в хрустальные льды ресторана «Жар-Птица».

– Чёрт побери, – рассуждал как-то Харон, валясь на диван после особенно плотного обеда. – В далеких, холодных краях плавает это бревно: осетр или там белу-

га, катится вниз по матушке по Волге, где его улецают острой, вспарывают тяжелое брюхо и разливают загубленную, усоленную жизнь в стеклянные гробики. А потом верткое эмигрантское племя выкапывает ее из государственных захоронилищ, протыкает чудовищную российскую границу и везет сюда, в гостеприимные руки Кентавра Александровича Цыпкина. Руки, которые уже так устроены, что не проедет мимо них никакая мало-мальская прибыль.

Кентавр осторожно обогнул лужу, перенес серый замшевый ботинок на сухую сторону и тут же въехал в чьм-то вельветовые брюки.

– Excuse me, – опустив глаза долу, быстро произнес Цыпкин, подозревая, что британское извинение, имея выгоду быть иностранным (и тем самым требующим послабления), является и весомо международным.

– Don't worry, Jam O. K., – быстро ответили брюки.

Кентавр поднял голову и увидел рыжего невзрачного человека. Рыжий улыбался ему так широко и сердечно, что Цыпкин безо всякого труда построил ответную улыбку.

– My name is Tom, – все улыбался рыжий.

– Кентавр, – лапидарно представился Цыпкин. – Не потревожил ли я вашу ногу?

– Нет, ничего, – отмахнулся Том. – У вас несколько странный акцент. Вы не из Скандинавии?

Кентавр вздохнул и признался, что он из России.

– О. Это интересно. Не хотите ли выпить? У меня как раз собрались друзья, буквально пять минут отсюда.

– Это заманчиво, но не нарушаю ли я каких-либо ваших планов?

Кентавр решил быть любезным до самой последней степени, желая поддержать и сколь возможно продолжить наиприятнейшее впечатление.

Рыжий Том отмел эти любезности простым движением конопатой руки, и они зашагали вместе...

В свой узкий пенал на шестом этаже Цыпкин возвращался несколько спотыкливо, перегруженный пивом и бутылкой какой-то сладкой липучей дряни. Но, нисколько о том не жалея, он исчислял приобретения: поставки шампанского молодым австрийским бездельникам, заказ на песцовую шубу, наконец, желание приобрести «подлинный раритет национального характера», после расшифровки обернувшийся подходящей иконкой. – М-да, м-да. Найдем, найдем. Потолковать с Лившицем. – На этом последнем соображении утомленные веки Кентавра захлопнулись, он ощупью добрался до жесткой кушетки, почти бессознательно скинул пиджак и провалился в облегчительный сон.

* *
*

Рыжему Тому очень нравилась луноликая фрау Лившиц. Тома, помня просьбу о «национальных раритетах», в уютное гнездышко Лившицев однажды завел Кентавр. Увидев фрау Лившиц, Том совершенно отложил попечительство о раритетах. Напрасно Кентавр заводил разговор об удивительных иконах XVII века, напрасно вынимал серебряный окладень, «проклятый Рыжий» занимался исключительно Нонной, которая еще шире раскрывала свои круглые глаза, еще жарче улыбалась свежими зубами и охотно соглашалась посетить под руководством Рыжего укромные места венской богемы. Кирилл был в смущении.

– Ну, и гостя привели вы, Цыпкин. Я просто обязан ему рожу набить.

– Не горячитесь, Кирилл, не горячитесь. Сначала засунем ему пару иконок. Мешают вам лишние деньги?

– Лишних денег не бывает, – согласился Лившиц. – Но пусть ведет себя аккуратней.

Рыжий, почувствовав напряжение, с улыбкой обернулся к Кентавру.

– Вы, кажется, показывали что-то интересное. Могу я взглянуть на это еще раз?

Кентавр Александрович удовлетворенно кивнул. Они медленно двинулись на кухню. Лившиц подошел к Нонне, по-хозяйски огладил ее просторные бедра.

– Что, кобылка, в стойле не стоитя?

– Не хами, Лившиц, – Нонна недовольно отвела руку.

– Думаешь, рыжий слаще? – не унимался Кирилл, еще крепче сжимая полновесные бедра супруги.

– Идиот, – яростно вырываясь, шипела Нонна.

Кирилл отошел к зеркалу, взял маникюрные ножнички, стал сосредоточенно подстригать ногти.

– Ты еще на ногах подстриги, – дымилась Нонна.

– Можно, – меланхолично согласился Лившиц, разувая правую ногу.

– Ты что, совсем с ума сошел? – подскочила к нему Нонна.

– Нравится Рыжий? – настаивал Лившиц, прицеливаясь к большому пальцу.

– Ну, ты идиот! Идиот. Скотина просто.

– Я тебя не ревную, – спокойно продолжал Кирилл, – могу хоть сейчас к нему на руках отнести.

– Подлец, – завизжала Нонна, хватая ножницы. Лившиц твердо отвел ее полную белую руку.

– Мешаешь, девушка. Иди лучше к Рыжему, он утешит.

– И пойду.

– Иди.

– И пойду.

– Иди. Иди на ...

– Люба, третий день звонок не долбит в нашу скучную дверь, третий день я пью чай и мне хватает печенья. Что случилось с нашим рыцарем профита? Сытая Германия отказала ему в родительском благословении? Венские проститутки зарезали за карточной игрой? Рыжий Том отстранил от бесплатных запасов спиртного? Короче, где он? Где солнце, приносящее свет в нашу унылую жизнь? Где Кентавр Александрович фон Ципке?..

– Он болен, – односложно сообщила Люба.

– Женщина, отчего же ты молчала? Зачем утаила эту горькую новость? Немедленно проведать старого доброго Кентавра.

Харон Кирбитьевич скушал второй стакан чаю, бодро поднялся. Лифт не работал. Фрау Харрар отключала его по вторникам и пятницам. Во дворе пыхтел какой-то механизм. Едкая волна карболки забегала на верхние этажи. На площадке у двери Кентавра стояли мешки с цементом, древние пыльные рамы и мягая клетка, залитая птичьим пометом. Харон тронул звонок. Резкая трель забила в тесном пространстве.

– Кто там? – далеким расслабленным голосом спросил Цыпкин.

– Ваш сосед и доброжелатель, – крикнул Харон в холодную щель замка. Медленные шаги подвинулись к дверям. В бордовом халате, накинутом на ветхий бледный состав, изжелта-серый, с неожиданным костяным восковым носом, на пороге воздвигся Цыпкин. Он бесконечно долго, холодно смотрел на Подольского, нехотя отступил и побрел к серым простыням и пухлому зеленому одеялу, раскинутым на узком диване.

– Как здоровьечко? – громко спросил Харон, усаживаясь в жесткое кресло.

– Пожалуйста, тише, – слабо возразил Кентавр.

– Как сношения с Германией, – прошептал Харон, – есть надежды на воссоединение?

– Консул уверяет, что есть, – оживился Цыпкин.

– Воссоединиться всегда приятно, – согласился Подольский. – Но... не будет ли это противно гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?

– То есть? – уставился на него Кентавр.

– Слабые знания русской классики могут вредно отразиться на вашем процветающем бизнесе. Я клоню к тому, что не лучше ли податься в Соединенные Штаты?

– Нет, – осердился Кентавр, – все рвутся в Америку, а ведь это варварская страна. Отсутствие устоявшейся культуры, вульгарные дикие города, какое-то месиво из племен и народов. И чудовищная преступность. Вчера только читал в газете: один идиот взял да и перестрелял 10 человек. Просто от скуки. В Германии ничего подобного случиться не может. Что ни говори, это старая, проверенная временем Европа.

– В старой, проверенной временем Германии один идиот перестрелял миллионы. Должен заметить, Кентавр Александрович, что вы выбираете самые пошлые и расхожие аргументы. Отношу это исключительно на счет вашего болезненного состояния. Кстати, шестью этажами ниже варится укрепителный бульон, и Люба обещалась быть по готовности.

– Спасибо, спасибо, – пробурчал Цыпкин.

– А может, хотите чего более серьезного? Не запирайтесь, скажите, готов услужить.

– У меня температура. Какое уж тут питье.

– Температура, да, – согласился Харон, уныло обозревая ядовитые стены пенала.

– Когда я был мальчишкой, – неожиданно начал Кентавр, – я очень любил деньги. Мелочь складывал столбиком, три копейки к трем копейкам, пятаки к пятакам. Потом менял на серебро. Когда собиралась длинная колбаса в 10 рублей, мать шла со мной в сберкассy, и я клал новую бумажку в коробку из-под зубного

порошка. Хорошая у меня была мать, – убежденно кивнул Кентавр.

Подольский сидел не шевелясь, боясь перебить сокровенную минуту.

– Потом я купил велосипед. Отстоял за ним длинную очередь на Пушкинской. Ну, знаете, там, у театра Станиславского и Немировича-Данченко. В очереди дрались, номера писали на руках. У меня было два номера. Один я продал. Каким-то цыганам, – улыбнулся Цыпкин. – В нашем дворе велосипедов не было. Сначала я катал всяких клопов, 10 копеек за круг. Потом стал давать напрокат. И уже через месяц вернул все деньги. Да, деньги – страшная сила, Харон Кирбительевич, им все равно, смеетесь вы над ними или нет. Их слово всегда последнее.

– Боже упаси. Не смеюсь. Вовсе не смеюсь. Но что же было дальше? Когда вы одолели свое счастливое детство?

– Дальше я, во-первых, хорошо учился, во-вторых, стал собирать марки. У меня завелась обширная клиентура, и я делал хорошие деньги.

Кентавр замолчал, лицо его медленно завернулось к подушке, и так же медленно широкие плоские веки закрыли глаза.

* *
*

Кентавр возбужденно ходил по пеналу. Воспаленные глаза его горели тусклым огнем. Германия отказала. Окончательно. Бесповоротно. Правда, оставалась еще одна возможность, не столь веселая и заманчивая: пересечь границу нелегально.

– На копытах в Германию, – криво усмехнулся Цыпкин, останавливаясь у высокого окна. Дождь исполосовал стекло узкими серебряными хлыстами. Напро-

тив и тоже на шестом этаже какой-то господин вышел на балкон, строго оглядел ряды матовых окон и, как показалось Кентавру, погрозил ему пальцем. Цыпкин отошел от окна. – Да, на копытах, – окончательно утвердился он.

К вечеру они были у границы. Том помог ему вытащить тяжелую сумку.

– Если войти в здешний лесок и идти все прямо, то минут через 20 вы будете в Германии. Никуда не сворачивайте, а то можете угодить на пограничный пост. Советую дождаться темноты и желаю счастливого путешествия. – Том быстро сунул короткопалую бледную руку к горячей потной ладони Кентавра, хлопнул дверью голубого мерседеса и медленно откатился в густую тень пустынной дороги.

Кентавр одиноко сидел на опушке, высчитывая надежность и глубину приливающих сумерек. Одет он был в плотный серый костюм, мягкую шляпу с узкими полями и известные свекольные сапоги, нареченные Хароном «Иванушки». Иванушки были надеты в видах возможной сырости и неопределенности предстоящей лесной дороги. Прошло два часа, Цыпкин все не двигался. Он опять прикидывал так и этак последствия своего решения, щупал внезапно дрожащей рукой шелковую подкладку с ушитой в нее толстой пачкой долларов, нервно потирал крылья трепещущего носа. – Ну, пора идти... или отменять всю эту музыку. Лес стоял глухо, темно, настороженно. Треснул сучок под сапогом. Он вздрогнул, крепче сжал кулаки.

– Да что они мне сделают, чёрт побери, – неожиданно осердился он, – на худой конец вышлют обратно. Ну, посижу, может, день-два. Это же Европа, не Сибирь.

Кентавр ободрился, нетерпеливо отвел тугую ветку орешины, твердо зашагал вперед. Он все шел и шел, временами поглядывая на стрелку компаса, вделанного в широкий ремень его швейцарских часов. Глаза его

привыкли к рассеянной мгле, и он легко обходил тяжелые стволы дубов и вязкие высокие травы. Что-то повернулось в его душе. Волнение улеглось. Он рисовал на чистом и спокойном полотне воображения картины теплой будущей жизни. Руки его автоматически отодвигали кусты, мысли летели вперед, в еще неведомый, но безусловно готовый принять и жаждущий его успехов мир. Внезапно Кентавр услышал шелест падающей воды. Он замер. У высокой сосны молодой плечистый солдат освобождался от запасов баварского пива. Он стоял, широко расставив ноги, в упор глядя на Кентавра...



Харон надорвал тонкий конверт. Обратная его сторона была записана плотным убористым почерком. Он заглянул в конец послания, прошел в гостиную, лег на диван и принялся рассматривать бисерные строчки.

«Дорогой Кирбитыч, мои нынешний обстоятельства таковы, что я позволяю себе обратиться к вам с известной степенью фамильярности. Вы, конечно, знали о моем желании непременно обосноваться в Германии. Какое-то иррациональное чувство толкало меня в этот угол Европы энергично и настоятельно. Но судьба распорядилась иначе. Получив формальный отказ, я был до того расстроен, что, кое-как побросав вещи в сумку, отправился на границу, надеясь пересечь ее в пустынном слабоохраняемом месте. Я думал добраться до Берлина, прокантоваться какое-то время в беженском лагере и с полугодовой задержкой, но осуществить наконец свою мечту. Сбил ли я с пути, или подлец Том дал мне заведомо неправильное направление, но я угодил прямо в лапы пограничников. Они были очень удивлены этой оказией, так как Наши (они потом

мне подробно разъяснили) ходят совсем другим путем, не причиняя хлопот ни себе, ни им. Они совсем молодые ребята, веселые и любезные. Мы выпили много пива, но граница не перестала быть границей, и я провел ночь в полицейском участке, правда, в довольно комфортабельной комнате. Утром меня повезли в самый конец этого маленького городка. Я с тоской смотрел на его чистые гладкие улочки, нарядные домики и только одна мысль сверлила мне голову: никогда. Никогда не гулять мне по этим узким улочкам, никогда не сидеть в угловом баре. Никогда... Да что говорить, я был совершенно убит и потерян. Меня поместили в гостиную, где я ожидаю процедуры возврата и откуда пишу это письмо. К сожалению, у меня временно забрали наличные деньги и документы и вернут их только в Вене. Не могли бы вы повидать Лившицев, сообщить им о моих обстоятельствах, о проделке Тома и о том, что я не смог выполнить их просьбу. Надеюсь скоро увидеть вас, Любу, Феликса и всех тех, с кем мы так мило проводили время.

P. S. Пожалуйста, напомните фрау Харрар, что у меня течет туалет.

P. P. S. Пусть Феликс передаст свой карточный долг Лившицам.

С германским приветом К. А. Цыпкин

Подольский перечел письмо, задерживаясь на неожиданных лирических оборотах, и вернулся в самый конец послания, к двум так характерно выскочившим просьбам. Нет, не бежит своих пороков Кентавр Александрович. Все так же ухватист и мелочист. А ведь вполне проникательный человек. Харон зевнул, отложил письмо.

– Люба, – крикнул он в шипящую кухню, – Кентавр взят на границе. А также имеются проблемы с его германскими чувствами, туалетом и карточными долгами.

Кентавр Александрович, распространив потертый чемодан, выложил на него блестящие ложки из набора «подарочный», которые шли за серебряные. (Цыпкин долго прорывался к серебряному бизнесу, но, почувствовав угрозу существованию, до времени отложил рывок.) К ложкам добавился массивный портсигар с синим глазом на кнопке замка и, с некоторыми колебаниями, безобразное насекомое, вылепленное из дешевой желтой пластмассы, дрожащее золотыми ножками. Насекомое притворялось «элегантным изделием из янтаря». Оно явилось на свет Божий холодным февральским днем, когда Феликс отбывал в Страну Изобилия. Построив семью, обряженную в новое платье, он выдал отрокам до сего момента сберегаемые электронные часы, лелеемое изделие 2-го московского часового завода. Феликс сурово оглядел семью и вдруг ткнул строгий вопрошающий палец в пластиковый мешок у ног младшего отрока.

— А это что?

— Это богатство, — за онемевшего младшего ответил старший. В мешке сохранялись давно и со тщанием накапливаемые камешки, цветные шарики, огрызки карандашей, солдатики и вообще все, что потребно порядочному десятилетнему человеку.

— Дай сюда, — грозно протянул Феликс. Но тут накатило такси, вспыхнуло прощание, семья была поспешно засунута и с последним обличающим воплем: — Сволочь ты! — такси рванулось в аэропорт, а «богатство» — в крупчатый февральский снег. Тут-то и выпало из него окаянное насекомое, подобранное Кентавром.

Отскребя все свои сусеки, Кентавр набрал только эту ничтожную дрянь, бросил ее в чемодан и явился на рынок с твердым намерением вышибить последний

шиллинг. Завтра, воскресным майским днем, они летели в Америку.

– В Америку за золотом, – беззаботно напевал Харон Кирбитьевич.

– Из Америки с говном, – мрачно вторил Поручик.

Делать им было нечего, и все они толпились у серого чемодана. Пуговкин не предвиделся. Он лежал без движения в своей громадной ампирной кровати и где-то на самом краю сознания смутно жаждал спасения: холодного, как его ночные призраки, баварского пива.

Первым ушло насекомое. Пожилая хаусфрау высадила его на левый борт неизбежного болотного пальто. За ним отошел портсигар. Двое «коллег» торговали чемодан, осторожно качая его высокими ботинками. Кентавр, однако, не хотел расставаться с чемоданом, покуда не устроятся ложки.

– Цыпкин, отдайте чемодан, ложки беру на себя, – скучал Поручик.

Кентавр оставался тверд. Наконец и ложки были пристроены, но теперь пропали коллеги. Становилось жарко.

– Идемте пиво пить, – предложил Харон. – Цыпкин, я беру у вас этот чемодан.

– Не валяйте дурака, – холодно возразил Кентавр.

– Но я серьезно. Обременен вещами, нуждаюсь в дополнительном чемодане. Держите 40 шиллингов.

– Не валяйте дурака, – еще раз вяло возразил Кентавр, принимая, однако, левой рукой 40 шиллингов.

– Идем мы наконец? – хмурился Поручик, в досаде бросая об асфальт мелкую монету.

– Пятак падал звеня и подпрыгивая, – сообщил Харон, перехватывая чемодан из скользких пальцев Кентавра.

– Какой еще пятак? – злобился Поручик.

– Смотри учебник русского языка для 5-го не то 6-го класса, параграф деепричастие.

– А мы из параграфа причастие, – хрипло рассмеялся Голицын. – Желаем причаститься. Пивом. Кстати, Цыпкин, я слышал, вы деловой человек?

– А в чем, собственно, дело?

– А в том дело, что я собираюсь открыть балетную школу в Нью-Йорке. Не желаете поучаствовать? На паях.

– Да, да, Кентавр, после нарушения германской мечты самое время взяться за американскую.

– В смысле крушения? – подозрительно оскалился Кентавр.

– В смысле мечты, – мирно возразил Харон Кирбительевич.

– Вы тоже пайщик?

– Никаким боком. Лишен специфических талантов. Засим разрешите откланяться. Раздет, несобран, и семья в разброде.

* *
*

Расплескались синие дали. Прозрачный майский день до краев наполнил тихие венские переулки. Нарядные трамваи бодро бежали свежими бульварами. Лохматая напряженная толпа колыхалась у таможни, взвешивала угластые чемоданы, опрометью кидалась к посадочным местам. Мятое лицо Голицына не сулило ничего хорошего его говорливому толстому соседу. Обливаясь счастливым потом, тот поведал, как вместо положенных двадцати затарил по пятьдесят килограмм во все свои четыре чемодана.

– Замолчи, паскуда, – сурово оборвал его Поручик.

– Ты зачем здесь? Какие пятьдесят килограмм?

– Чемоданы, – бормотал толстяк.

– Профессия? – грозно спросил Поручик. – Я тебя давно приметил. – Он схватил его за трепещущее горло.

– Ппусти, – жалостно хрипел толстяк.

Харон Кирбительевич с трудом разжал железные пальцы.

– Ну, довольно, довольно. Покинем Европу без скандалов. Кентавр Александрович, вы прозреваете будущее. Что на горизонте?

– Новый Свет.



E. Sztein's Antiquary

PUBLISHING AND INTERNATIONAL DISTRIBUTION
594 CHESTNUT RIDGE RD. ORANGE, CT 06477 - U. S. A.
Phone (203) 387-0597

Издательство «Антиквариат»
радо сообщить о выходе новой книги

ВАДИМ КРЕЙД

«ПРАПАМЯТЬ»

– антология русской поэзии о реинкарнации.

Стихи

Юрий К о л к е р

«МЫ ГОСТИЛИ В РАЮ...»

СВЯЩЕННЫЕ ТАНЦЫ

Ты, помнится, шла босиком.
Пружинил чуть влажный торфяник
Под маленькой ножкой твоей,
Июньское небо сияло,
И травы бездумно цвели.

Коричневой лентой вилась
Тропинка. Поодаль виднелись
Дома садоводства. Я нес
Две узеньких лодочки, стелек
Подпревших ловя аромат.

Зачем твою смертную тень
Я вызвал? Два раза сменилось
Слагавшее плоть вещество,
И рад я, что наша разлука
Таким сургучом скреплена.

Как ветер был дивно упруг
В то утро! Как цепко пространство
Влекло и лелеяло нас
В тот полдень на дачной тропинке!
Как время упруго лилось!

Недавно я был там. Тропы
Не стало. Болото расселось.
Меж кочек, томатных лагун
И ржавых лиманов к поселку
Пути для меня не нашлось.

И столь же subtilный ландшафт
Вместили пространство и время
В сосуд, примиряющий их.
Пленительный очерк разрухи.
Этюд расслабления. Распад.

Итак, тот сияющий день
Был нужен как точка отсчета,
Где глаз твоих карих, и трав,
Бездумно цветущих, вкрапленья
Играли служебную роль.

Итак, это старость во мне
Воркует. Осунулось время,
Поникло пространство. А сень
Поднявшейся рощи закрыла
Ряды садоводческих дач.

Не знаю, окреп ли мой дух,
Но слово мне стало послушно.
Оптический фокус его –
Улыбка над прошлым. Без грусти
Я вижу, как я постарел.

И, линзы мои наведя,
Я вижу тебя молодою,
Веселою, полною сил, –
Меж тем как на улице мимо
Прошел бы, тебя не узнав.

И вот я с улыбкой смотрю
И вижу: по дачной тропинке,
Влекума упругой волной
Июньского ветра, босая,
Идешь ты одна, без меня.

1982, Л-д.

ЛИСТОПАД

В. Я.

В саду ли, где мрамор щербатый грустит,
Где Полдень с лицом Каракаллы стоит,
Сжимая короткие стрелы, –
Покой и надежду я вновь обрету?
Три нежных сивиллы со мною в саду,
А в будущем – те же пробелы.

Иду, и гербовые листья летят,
Кленовые, точно напомнить хотят
О заокеанском соседе.
Я вижу судьбы его гибельный срез,
Прощальный визит, атлантический рейс,
И сердце в привычные сети

Летит – не ему ли шепчу: прекрати?
Но шепот другой различаю в груди:
Прощай же! до нового рейса!
До близкой, до нашей далекой весны!
Готовят нам ящики – мы спасены...
Мой лист атлантический, взвейся!

1974-80, Л-д.

* *
*

Как шумный ливень, необуздан гений:
Не мыслит он, но твердь животворит.
Он не союзник умудрённой лени –
И нас торопят фортку затворить.

С остолбененьем наша мудрость схожа.
Надежен ствол ее, да стебель сух.
Рефлексии пожизненная ноша
Надкушенный отягощает дух.

Меж тем как он, не вглядываясь в средства,
Вычерпывает суть свою до дна,
Коллекциями сумрачного детства
Твоя наперсница поглощена.

И, ей подобна, в боль свою вникая,
По эту сторону добра и зла,
Исхлёстанная веточка нагая
Качается, касается стекла.

1979, Л-д.

* *
*

Ее первым любовником был
Тот, кто землю другую любил,
И стихи о стране отдаленной
Посвятил он подруге влюбленной.
Он уехал, а берег иной
В них блесстит, омываем волной
Дактилической, неуголенной.

Меж холстов, табуреток и книг,
В поздний час зажигая ночник,
Она видит, как тень пробегает
От окна и к трюмо приникает, –
И оттуда, сквозь сумрак живой,
К ней доносится вздох теневой,
Точно гость бестелесный вздыхает

1987

ЯСОН

Мне было тринадцать лет.
Я слышал чудные звуки –
И знал: удел небывалый
Судьбой уготован мне.

Мне было тринадцать лет.
Свирепый голос призыва
Гордостью беспредметной
Душу мне насыщал.

Мне было тринадцать лет,
Когда у ручья старуху
Я встретил: горб и лохмотья.
И мне сказала она:

– Юноша, воды быстры,
Камни остры... – С размаху
Ее, подхватив, перенес я
Через воды ручья.

Костлявые помню пальцы
И тонкую, словно в веснушках,
Коричневатую кожу
В меня вцепившихся рук.

До пояса доходила
Порою темная влага,
И с левой ноги сандалью
Поток у меня сорвал.

– Сядь, милый, переобуйся...
Но, сбит воздушной волною,
Вскочил я: – Где ты, колдунья? –
И не было никого.

1985

СИЕНА

Грешили – и собор воздвигнут был,
Каких не видывали: пламень скрытый
В себя вобрав, овеществляя пыл
Той крохотной общины деловитой.

У них с Творцом особый был союз.
Говел убийца, отбывая мессу,
В исповедальнях отпускали груз
И не теснили съенского повесу.

Зато и чувственному дан простор
В твоём духовном, убежавшем тлена:
Но правда ли, что мрамор, не фарфор,
Ты вознесла, коммуна ди Сиена,

Над вывихами мировых столиц?
Грешили, торговали, воевали
И верили – и линии сошлись,
И ангелы к Всевышнему воззвали

И выдохнули из бесплотных уст
Неслыханное славословье раю,
В которое, как в Моисеев куст,
Вхожу – и чудом, грешный, не сгораю.

1987

ВО ФЛОРЕНЦИИ

Тот, кто Арно с Невою сравнил,
Был не вовсе неправ
Всхлипы волн у литейных перил
Властью слова уняв.

Пусть он даже сказал на авось –
Вышел звук не пустой:
Что у этой реки началось,
Завершилось у той.

Я сегодня у этой реки.
Насыщается взгляд
Тем, что ямбы клевали с руки
Четверть века назад.

Здесь Европы полуденной блеск
Занялся и угас,
Чтобы слабый, но сладостный всплеск
Докатился до нас.

Но тускнеет ее барельеф,
Лилия отцвела,
Да и третья река, обмелев,
Не влечет, как влекла.

Все морщинки лица твоего,
Город мой, узнаю.
Нет бездомнее нас никого:
Мы гостили в раю.

1987

* *
*

Политик в той земле доживал,
Поблажку в той заслужил
Стране, с которой он воевал
И которую победил.

Отечество, воплотясь в большинство,
В торгашеский унылый класс,
Провидчески выдворило того,
Кто вел его в страшный час.

Наместничествуя, снискав почет
На материке царей,
Вздыхает он старчески: – Всё течет,
Всё суетно. Панта рей.

В Европе смеркается. На берега
Любезных внутренних вод
Он смотрит со стороны врага,
Впивая пышный заход.

А часом раньше всходит на борт
И вскоре над ним летит
Кто тоже страстный был патриот
И страстный космополит.

(Вот пункт, где мы уроним слезу
На варварскую строку:
Стовёсельный парусник там, внизу,
И боинг здесь, наверху.)

Не лидер, не воин и не герой,
Чухонец, анахорет,
– В подлунной, – вздыхает этот второй,
Больших изменений нет.

Капризный средиземноморский рок,
Навязчивый компаньон,
Таких повымостил нам дорог,
Что и Мёбиус – посрамлен, –

Он видит с набранной высоты,
В стекло упираясь лбом,
Кикладов кленовую медь, пласты
Гончарные в голубом.

1988



стихотворение богато как оспина чья-то
белый халат милосердия жесткий крахмал
мечется бисером под ноги небо как вата
недоуменная чайка и серый квартал

полукочевник причудник карманному ветру
звонкое золото волос остригает под ноль
глупая белая птица семьсот километров
только приманка твоя ненадежная роль

утром в потемках будильник вода из-под крана
брызнет струей как по пальцам линейкой не спать
это блестящий танцкласс с боковушкой чуланом
время щербатое ливень повернутый вспять.

бисером под башмаки и потом на полслова
загнутым клювом окраины разбередив
будто невыпавший снег будто дождь четверговый
самонасвистывающийся легкий мотив

(из цикла «ОНО»)

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Глухая несытая полночь
спускает свою бечеву,
ты помнишь, ты помнишь, ты помнишь,
что жизнь — это сон наяву,

где лаем бродячей собаки
взлетает неслыханный год,
и кто это в красной рубахе
в ночи с колотушкой бредет,

в потухшие окна скребется
и пробует двери как тать,
и медленно роет колодцы
для тех, кому велено ждать,

покуда не вызреет память
на дальней границе тепла,
кому не дано чужестранить,
потемки сжигая дотла.

* *
* .

Давай поедem на вокзал:
перрон, вагон, буфет –
мне память в узел завязал
некупленный билет.

Безумный сторож у ворот
считает каждый час
и кашляет, и что-то пьет,
не поднимая глаз,

а сквозь разрывы облаков
рогаликом – луна,
а скорый поезд был таков,
и снова ночь без дна,

на окнах лед, а у ворот,
как пес, безумный сон,
один всю зиму напролет:
вокзал, билет, перрон...

МУЗЫКА

Когда вы умрете, я выйду из тьмы
и вас окружу голосами,
я вам нарисую луга и холмы
и стану печалиться с вами.

А нынче так шумно, и день нехорош,
и вы недоверчиво врете,
что я пропаду ни за грош, ни за грош,
а вы никогда не умрете.

(из цикла «Дорога на Бодензее»)

* *
 *

Человек в шерстяном колпаке
посещает читающий дом,
он бутылку зажмет в кулаке
и на кухне напьется потом,

и, о чем-то спросив невпопад,
среди добрых людей как в тюрьме,
жизни досмерти будет не рад,
как жемчужине в теплом дерьме.

Говорящему нет языка,
что ж ты здесь словно нелюдь сидишь?
Свиноферма любви велика –
пол-Чертанова хочет в Париж.

И, с трудом унимая озноб,
он в подъезде просыплет табак
и, надев наизнанку колпак,
упадет в придорожный сугроб.

(из цикла «Человек»)

* *
*

Дорогой из Иваново в Москву
В холодную осеннюю годину
Прижавшись к дребезжащему стеклу
В себя вбираю Русскую равнину.

Недачные какие-то места,
Неласковые. Сумрачно и сиро.
Всё – елка, да береза, да сосна.
Однообразно – даром, что красиво.

Но почему-то сердцу тем теплей,
Чем дольше я не отрываю взора.
Чего смотреть? – сосна, береза, ель –
Ни круч, ни волн, ни блеска, ни простора.

Снег черно-белый, талая вода
Полузамерзшая. Картина в целом
Ритмическому замыслу верна
И отвечает чьим-то тайным целям.

Как будто кем-то выстроены ясно
Резоны, чтоб для нас обосновать
Позицию: терпеть и не смиряться,
Сопротивляться – и не бунтовать.

* *
*

Царь вопрошает: «Чем живет народ?» –
На что без размышлений отвечает
Лукавый царедворец: «Спит да пьет,
Да славит полноту твоих щедрот,
И вообще души в тебе не чаёт».

Царь вопрошает вновь: «А молодежь?
Инфантилизму нет ли в молодежи?»
«Нет, молодые на отцов похожи,
На труд и ратный подвиг их пошлешь –
Пойдут не глядя. Только будь поостороже:
Не позволяй им праздность да балдёж».

Царь спрашивает: «Ну, а какво
Клеветникам, студентам, негодяям?»
А царедворец: «Им хуже всего,
Народ к их пропаганде невменяем,
О них и знать не знает большинство,
И мы ведь тоже бдим: казним, сажаем».

Доклад закончен. Царь доволен тем,
Что он услышал. И о молодежи –
Приятно слуху. Ясно, не совсем
Всё так, как сказано, но всё же, всё же –
Не всё же ложь! И – про народ: похоже,
Что он любим народом. Пусть не всем!
Докладчик награжден и обнадежен.
Великий Кир проходит в свой гарем.

ПРИВАЛ

– Далеко ли отсюда до места? –
У Иосифа отрок спросил.
– Это, сын мой, пока неизвестно.
Набирайся терпенья и сил.

– Далеко ли отныне до срока? –
Стал немедля расспрашивать мать.
Погрустнела, вздохнула глубоко
И промолвила: «Лучше не знать».

Было марево зноя дневного
Непонятных видений полно,
Было всё первозданно и ново
И еще не вполне решено,

И еще колебался, быть может,
Всей немыслимой мыслью своей
Тот, Кто горькую чашу предложит
И безмолвно прикажет: «Испей!»

* *
*

Слух звука ждет – но звуки онемели,
Движенья ищет взор – движенья нет.

П. Вяземский

Читаю Вяземского у себя в котельной,
Идя к его усталости смертельной
От подражаний, шалостей и грёз.
И слух мой поэтический раздельно
Воспринимает, чувствуя всерьез,
И путь его – разомкнутый, но цельный,
И нарастанье боли неподдельной,
И – каждый мне доверенный насос:
И воздухоподсос неугомонный,
И сетевой, и циркуляционный,
И третий поршневой, и дымосос.

Читаю Вяземского у себя в котельной –
Немного убаюкан колыбельной
Родных котлов за тонкою стеной,
Витаю где-то мыслию бесцельной,
Слегка рисуясь пред самим собой

Тем, что и я от жизни канительной
Устал, как он, – забытый и больной.
На самом деле – это ложь и поза.
А за окном – семь градусов мороза,
И чувствуется скрытая угроза
Моей судьбе в связи с его судьбой.

Трясется бойлер, паром трубы грея,
Дрожат, вибрируют – стена и батарея,
И пол, и стол, и ритмы, и слова.
Я не того боюсь, что устарею –
Боюсь, что станет жизнь во мне мертва.
Мысль не нова, но что поделаться с нею,
И в том ли суть – нова ли? не нова?
Читаю Вяземского. Вслушиваюсь. Мне ли
Судить его закат, его рассвет...
«Слух звука ждет – но звуки онемели,
Движенья ищет взор – движенья нет».

Истории не скажешь: «Извините,
Пересмотрите заново судьбу,
Поэт не умер, он как раз в зените,
В тоске и в грусти – да, но не в гробу.
Не прогрессивен, но зато свободен,
И умудрен, и полн душевных сил...»
Но век его прошел и мой проходит,
А предыдущих – тех и след простыл.
Не мистик я, и в холод запредельный
(В ничтожество! – как говорил он дельно)
Готов уйти от здешнего тепла.

Читаю Вяземского у себя в котельной.
Проходит жизнь, а ночь почти прошла.

Четыре стены и окно в пустоту
И черный архангел на черном мосту,
И плащ его рванный и стриженный лоб,
И холод на сердце, и мелкий озноб, –
Как будто судьба запирает врата
И выбора нет, и проблема снята
(Снята – словно смыта дождем со стекла),
И белый архангел не кажет крыла.

Окно в пустоту и четыре стены.
Есть мера без меры и даль без длины,
И черный архангел взывает вотще
В подбитом страданием черном плаще.
Взывает архангел и машет рукой,
А мост уплывает куда-то с рекой,
А крылья архангела обожжены,
И нет у него ни страны, ни жены.

Но это – неправда, но это – навет,
Всё есть у него, да у нас его нет,
И мост из-под нас уплывает с рекой
Под свист и под хохот, под рев бесовской,
И нечисть в цивильном, и крылья, и крест
Заносит с дисплея в особый реестр,
И тощая ведьма заносит косу,
И дьявол доволен работой АСУ.

Четыре стены и окно в никуда.
Неправда, что правда не стоит труда,
Неправда, что не оставляет следа
На мокром стекле дождевая вода.
Неправда, что всё понапрасну, когда
И правда – беда, и неправда – беда,
И правда – судьба, и неправда – судьба.

Зовет, и поет, и рыдает труба.

Я жизнь люблю и умереть боюсь.
А. Тарковский

Три дня, три ночи льет без перерыва
Холодный дождь неласковой весны,
И женщины, блестящие как рыбы,
Плывут себе, глупы и холодны.

Цветут сады. Течет весенний город
Куда-то в реки стоком дождевым.
И встречный технократ, поднявший ворот,
Меня вбирает взором неживым.

Он мне кивает, я ему киваю.
Знаком я с ним? Наверное, знаком.
Мы разминулись – я его смываю
Из памяти – с портфелем и зонтом.

Смываю, как с доски смывают числа,
Любуясь заигравшей чернотой.
Неужто взгляд мой – без любви и смысла?
Такой же вялый, блеклый и пустой?..

А вот – большая мокрая собака
Бросает на меня мгновенный взгляд,
И два ее сверкающие зрака
Мне всё о ней бесстрашно говорят.

Здесь – жизнь души в тревожном развороте:
Пойму ее? Вступлю ли с ней в союз?
Ей-Богу, дух неотделим от плоти!
Я жить хочу и умереть боюсь.

Я жизнь люблю, где отражаюсь криво
В рябом и мятном зеркале воды.
Три дня, три ночи льет без перерыва.
А под дождем сады цветут.
Сады!

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Россия и действительность

К 1000-летию Крещения Руси

Николай Т ю л ь п и н о в

ГОД СКОРБНОГО ТОРЖЕСТВА

Год на излете. Год с такой магической цифрой в своем числе («88») – необычный в российской истории.

Кому как (утверждать не берусь), но мне кажется, что не только в России, а и во всех уголках земного шара чувствовалась необычность этого года. Событие, которое произошло, известно всем. Оно отмечалось всем мировым обществом, хотя оно вроде бы не вселенского масштаба. Вроде бы и серьезных последствий оно не несет не только для всего человечества, но и в масштабах страны, однако его отголоски разносились по всему свету.

При всей значимости этого события, оно на самом деле находилось как бы в тени других событий, более ярких, более броских, более плакатных.

Перечислим хотя бы некоторые из них.

Начало вывода советских войск из Афганистана; освобождение Матиуса Руста; волнения в Армении и в Нагорном Карабахе; сенсационные выступления советской прессы за издание книг и возвращение Солженицына на родину и т. д. и т. п. Вести о них подхватывались средствами массовой информации и находили во всем мире отклик. Одним из тех событий было и то, о котором мы говорим: 1000-летие Крещения Руси.

Надо сказать, что его приближения советское руководство ожидало с нервозностью, иногда с раздражением. И это понятно: обойти юбилей молчанием было невозможно. Но и отмечать с размахом, с пышностью, с помпой, привычной для других, гораздо, конечно, более скромных юбилеев, нельзя: против убеждений, против идеологических установок. Вот

тогда-то, еще за несколько лет до юбилея, выполз из недр идеологических лабораторий новый термин: принятие христианства.

Вроде бы и то же самое, что Крещение, а вместе с тем и не то же самое. Принятие – что-то, как будто если и не насильственное, то и не совсем добровольное. Это во-первых. А во-вторых: принятие – это что-то вроде политического акта, ничего общего с духовной жизнью не имеющее. Вроде как ратификация какого-нибудь договора.

Но и еще и другое слово было пущено в ход: введение христианства.

Это что же такое? Введение войск? Введение военного или чрезвычайного положения? Введение комендантского часа? Новая регламентация жизни?

Как назвать, как будто особого значения не имеет. Но в данном случае совершенно очевидно желание приуменьшить значение исторической даты, умалить его; налицо попытка извратить самый смысл события и перекрасить, перелицевать. Точнее: лишить его всякого смысла.

Но событие было. Событие произошло. От него никуда не деться, никуда не уйти. Юбилей приближался, и власть предержащие должны были повернуться к нему лицом. Хотелось это им или не хотелось, но они вынуждены были по крайней мере создать видимость заинтересованности или даже – участия.

Живые нервы теле-, радио- и прочих коммуникаций разносили из Москвы благие вести о подготовке к празднованию и о праздновании – о том, что по советскому телевидению транслировалась Пасхальная заутреня (пусть и глубокой ночью, скрытно от телезрителей, но все же – впервые!); о том, сколько гостей съехалось, кто приехал на торжества и как торжества проходили. По многим странам Европы разъезжал (не сказать же – гастролировал) хор Троице-Сергиевой Лавры. Но что более всего поразительно, так это то, что на страницах советской прессы стали появляться выступления священнослужителей. Почему более всего поразительно? Да потому, что раньше это было немыслимо. Потому что раньше немыслимым было, чтобы на газетной или журнальной странице появилось изображение церкви с крестами. Если это по недосмотру случалось, виновнику грозили немалые неприятности,

Не в столь стародавние времена верующему в СССР надо было скрывать, что он верующий. Да и вовсе даже не в столь стародавние, а в совсем свежие и очень хорошо нам известные.

Теперь, как видно, положение резко изменилось.

Пожилая женщина, как пишет в одном из летних номеров американский журнал «Тайм», говорит корреспонденту: «Я больше не боюсь признаваться людям, что я христианка». И, как живописует корреспондент, «слезы хлынули у нее по щекам». «Молодая мать, — умилительно рассказывает корреспондент о своей другой встрече на пути в Загорск, — держит за руки двух своих ребятишек и замечает: — Я надеюсь, что они будут носить крестики с гордостью».

Нет сомнения в том, что празднование Тысячелетия всколыхнуло Россию, однако жизнь, действительность не располагает к сентиментальности, не располагает к романтическим настроениям. При всем стремлении советского правительства создать видимость того, что этому событию придается в СССР подобающее значение, создать видимость заинтересованности, участия, заботы о верующих и нуждах Церкви, создать впечатление терпимости к вере, оно ждало юбилея с приличествующим нетерпением, которое выдавало подлинные настроения: поскорее бы отпраздновать да и забыть!

Мы стали свидетелями рукопожатия в Кремле — рукопожатия богоборческой власти и Церкви. Мы были свидетелями невиданного собрания духовенства в Большом Театре. Государство вернуло Данилов монастырь, вернуло Оптиную Пустынь, вернуло Валаам, вернуло обитель на Соловках, вернуло Толгскую обитель на Валдае. Можно воскликнуть: какая щедрость! Но задумаемся: по сути, ведь оно, государство, бросило под ноги Церкви поруганные, растерзанные и оскверненные святыни. Да притом лишь малую толику того, что Церкви принадлежало и было отнято. Главное же — веру, поруганную, оскверненную, растерзанную и разрушенную, отнятую у народа, оно вернуть не в состоянии. Да даже если бы это было и в его власти, оно легло бы костями, все сделало для того, чтобы вера на русскую землю не возвращалась.

Наступила видимость мира. По крайней мере — перемирия.

Хорошо это или плохо? Разумеется, хорошо, и любой в подтверждение, что это хорошо, приведет известную поговорку о том, что худой мир лучше доброй ссоры. Но скажите,

отчего это в самый разгар торжеств врываются тревожные чувства и настроения? Не оттого ли, что «братание братанием», но мы-то знаем, что за тем «братанием»? Мы-то знаем, чего стоит заигрывание власть предержащих с Церковью. Мы-то знаем, что ни на одну минуту власть предержащие не забывают о своих целях – уничтожении Церкви, искоренении веры. Мы-то знаем, что видимые послабления сопровождаются прежним упорством и натиском на религию и веру – только способами более скрытыми, а потому и более коварными. Мы-то знаем, что главной задачей власти последних десятилетий было загнать деятельность Церкви за церковную ограду, уж если веру и религию не удалось до конца искоренить. Мы-то знаем, что видимость послаблений ничего не стоит. Мы знаем, наконец, и то, что кровью мучеников за Христа отстояла Церковь свою жизнь и свое бытование на русской земле. Не благодаря благосклонности и терпимости власти, а как раз наоборот – вопреки ее ожесточению, злобе, вероломству и насилию.

Но каков спрос с власти, по природе своей атеистической, богоборческой? Ее политика в отношении к Церкви понятна. Если не оправдана, то, во всяком случае, объяснима. А политика самой Церкви? Духовенства? Религиозных деятелей?

Начать с главного: где, скажите, есть такая армия, которая в час торжества не почтила бы память своих павших воинов, чьей кровью и жизнью удалось одержать победу? Где найдете вы таких полководцев, которые в победных торжественных речах не нашли бы слова благодарности к своим героям, павшим и живым? Духовенство Русской Православной Церкви посещает могилы и неизвестных и известных солдат, погибших в годы войны, возлагает венки, почтительно склоняет головы перед их памятью. И это, конечно, возвышенно и прекрасно: никто не собирается этого отрицать. Но известен ли вам хотя бы один случай, чтобы духовенство почтило память *своих воинов* – страдальцев за Христа, исповедников веры, того сонма новомучеников российских, чьей кровью утвердился и выстояла Церковь? Известно ли вам, чтобы с амвона были вознесены молитвы за них, этих воинов, и к ним? Известно ли вам выступление Церкви в защиту гонимых? Скорее, наоборот: известны выступления в защиту и в оправдание гонителей и против гонимых. Известно, что архиереи прино-

силы клятвенные заверения в том, что в Советском Союзе нет гонений на веру и проч.

Смысл евангельской заповеди о необходимости повиновения земным властям обратился в прямую противоположность: повиновения богоборческой власти. Божественная заповедь обернулась против Бога? Возможно ли это? Согласимся: невозможно. И, тем не менее, в практической повседневной жизни сплошь да рядом мы сталкиваемся с тем, что церковная иерархия охотнее всего стремится угождать земным властям, нежели Богу.

Вам со стороны, конечно, легко судить! – Таким возражением можно ответить на обвинения церковной иерархии за ее сотрудничество с богоборческой властью. Но мы подчеркнем: так это выглядит внешне, без учета скорбей и борений, глубоко внутренних, скрытых за блеском торжества богоборческой власти над Церковью. Церковь – пленница. Внешне она унижена и угнетена, однако это вовсе не означает, что в узах пленения и внешнего рабства она побеждена. Не побеждена, уж если на земле, где должна была бы выветриться даже память о Церкви, каждый день люд православный поет перед иконами: «Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды...» Надежды не «на князи, на сыны человеческие», не на власть.

Да, судить не нам церковных иерархов. И уж не мне, тем более, чья жизнь (не сочтите за лицемерие) – завещание и пример того, как не надо жить. Но и о власти можно сказать: сколько плоть со всеми ее болезнями, страстями и страданиями причиняет «неудобств» душе всякого человека, как и гордыня души и ума – плоти, столько правительство, физическое воплощение народной души, причиняет страданий, страстей и болезней народу.

Но давайте посмотрим на тот более широкий фон, на котором проходил юбилей Тысячелетия Крещения Руси. Ведь подавляющее же большинство населения Советского Союза – неверующие, атеисты, если не активные, то пассивные, уж, во всяком случае, многие из которых не переступали порог церкви и не держали в руках Евангелия. Их ни в коей мере не интересовали ни юбилейные торжества, ни положение верующих. Заметим попутно, что разве в Москве, в Ленинграде, в Киеве, в столицах союзных республик, да еще в некоторых крупных городах, пожалуй, – хотя, конечно, гораздо в мень-

шей степени, – наблюдались признаки некоего духовного возрождения.

События иного рода, не связанные внешне с тысячелетним юбилеем, охватили страну. Пропасть жизни разверзлась под ногами: процесс, который называют «перестройкой» и «гласностью», обнажил то, чем жила страна, начиная с октября 1917 года. Впервые народ получил возможность заглянуть в свою историю, в свою собственную биографию – увидеть, какой жизнью он жил, какой трагический, кровавый путь он прошел.

В Советском Союзе боятся прямых определений, прямых признаний. Отсюда – лукавое желание, лукавое стремление подменить одно понятие другим. Вернейшее тому свидетельство – страх перед такими понятиями, как «свобода», «демократия». Их-то в первую очередь стараются смягчить советские идеологи: так, свободу слова называют гласностью, демократию – демократизацией, попытки реформ, пока еще, как мы знаем, слабые, – перестройкой. А то время, когда стрелка общественных нравов упорно держалась на нуле, принято теперь называть временем застоя. Подумать только, какое безобидное, почти ласкающее слух слово подогнано под то, что надо бы назвать эпохой общественного разврата.

Но прессе свойственно проговариваться. В одном из сентябрьских номеров еженедельника «Московские новости» в статье «Терпимость к инакомыслию» отмечается главная черта времени: в атмосфере стало «больше молекул свободы». Точнее сказать нельзя, точнее нельзя выразить состояние общества: оно живет в атмосфере «молекулярной» свободы.

Год на излете. Событий произошло множество. Таких, которых долго ждали (а некоторых не ждали вовсе).

Если, однако, окинуть хотя бы лишь беглым взглядом наиболее из них важные или, лучше всего, те, по которым как раз и можно вычислить питательный состав атмосферы на наличие в ней «молекул свободы», то подойдем мы к выводу, весьма неутешительному.

В самом деле: вывод войск из Афганистана. Он далеко еще не завершен, а война ведется там четвертый год при новом советском руководстве, то есть почти столько же, сколько велась при руководстве прежнем.

Возвращение академика Андрея Дмитриевича Сахарова из ссылки накануне этого года и первые его публичные выступления. Это произошло как будто с наибольшей легкостью, напоминающей, впрочем, ту легкость, с какой при прежнем руководстве он был схвачен на улице и сослан в Горький. Но и теперь, когда Нобелевский лауреат, выдающийся ученый снова в Москве, а его имя время от времени появляется на страницах прессы, – по меньшей мере было бы легкомыслием утверждать, что ему предоставлена свобода выступлений и действий.

Неслыханный размах демонстраций в Армении, события в Нагорном Карабахе и та глухота, с какой правительство отнеслось к чаяниям народа, так же, как и коварство «решения» проблемы крымских татар, – не оставляют места для иллюзий: советскому правительству чуждо, «противопоказано» прислушиваться к голосу народному.

Неожиданностью были выступления советской прессы за издание произведений другого Нобелевского лауреата, Александра Солженицына, за возвращение ему гражданства, а также и за возвращение его на родину. Но и в этой кампании легко просматривается злая ирония, насмешка повторяемости событий, тех методов, какими велась кампания, предшествовавшая травле, аресту, изгнанию.

Конечно, к событиям надо отнести реабилитацию Бухарина, Рыкова и прочих, массированные разоблачения преступлений Сталина, войны с крестьянством, сбор средств на памятник жертвам сталинизма, публикации «Доктора Живаго», «Чевенгура», других произведений, находившихся за семью печатями запретов. Среди этих событий, отметим мы, не было в минувшем году события значительнее 1000-летнего юбилея, но и более скромного, чем самое скромное событие в стране.

Так что же в итоге? А то, что так называемые «гласность» и «перестройка» едва лишь достигают исходных рубежей: тех, когда еще не было Афганистана, ссылки Сахарова, изгнания Солженицына. Но «гласность» и «перестройка» пока еще даже не приблизились к тому рубежу, когда не было оккупации Чехословакии, когда на позорном счету добрежневских руководителей было несколько крупных акций – кровавое подавление венгерского восстания, Берлинская стена, массовое закрытие церквей.

Итог, как мы видим, неутешительный. Прямо сказать – скорбный. Сейчас, в эту пору «реформ», страна едва достигла того рубежа, от которого началась пора восемнадцатилетнего (почти двух десятилетий!) правления бесцветнейшей из бесцветных личностей – этот пир на костях, это пиршество на крови предшествовавших лет. Новая модель обуви демократии, таким образом, мало чем отличается (если отличается!) от той, наскоро сколоченной из досок сталинских лагерей и «осоюзенной» стежками колючей проволоки.

Мы, однако, не вправе не замечать перемен, даже и незначительных, на уровне «молекул свободы». И не вправе не радоваться им. Но вот именно на этот год показательной благосклонности к Церкви выпали торжества. Но подумаем: ведь символ немоты нашего сердца в самом сердце Отчизны, молчат колокола Кремлевских соборов, безмолвствуют алтари, как символ будущего падения «Третьего Рима» (нашей гордыни), как символ будущего когда-то и настоящего теперь нашего раскола и разброда, который век стоит расколотый Царь-Колокол. Какая буря «великой культурной революции» пронеслась над просторами России, срывая кресты и сваливая колокольни, опустошая и разоряя церкви! «Вот моя душа». – Не так ли может сказать каждый из нас, остановившись перед Храмом, превращенным в руины или в хлев.

Но в гонениях на Церковь нового нет ничего: наше Тысячелетие извело это не единожды – во времена разинских, пугачевских и прочих бунтов «за землю, за волю да за счастливую долю». И не наследники ли Разина и Пугачева засели в Кремле? А мы, с чьего попустительства – «молчаливого трусливого благоразумия» – реки пролились крови, не их, Разинных и Пугачевых, пособники?

На этот год и выпал юбилей – 1000-летие Крещения.

Случайность ли, – задумаемся над иным вопросом, – случайность ли то как будто совпадение, что все более и более ощутимые признаки пробуждения появились в стране на пороге, а главное же – именно на год Тысячелетия? Как будто случайность. Как будто тут никакой связи нет, а пытаться заглянуть в тайну Промысла было бы опасной и непростительной дерзостью. И, тем не менее, сам по себе Промысел как будто дает нам возможность заглянуть в его тайну.

Неспроста же власть, не знавшая колебаний и сомнений, позволила (да-да, позволила!) замахнуться на некоторые свои

«святыни». Неспроста же она обращается к тем, кого гнала, кого преследовала, кого уничтожала. Понадобились иные гимны, иные идеи. Неспроста же она пытается соединить несоединимое, совместить несовместимое. Пытается породнить ложь и правду, любовь и ненависть, жизнь со смертью. Отчего же вдруг – и к Солженицыну и к Сахарову? За поддержкой, что ли, хотя мы знаем, что у советской власти панический страх перед свободой?!

Как раньше, так и ныне дети верующих родителей часто стыдятся, что их родители верующие, как раньше, так и теперь родители верующих детей стыдятся часто признаваться, что дети их верующие. Иным студентам семинарий приходилось получать от родителей письма-проклятия: «Нам стыдно за тебя. Ты опозорил наш род. Нам стыдно перед соседями. Уж лучше бы стал вором, бандитом, сидел в тюрьме, чем учился на попа». А знаю я случай, когда молодой ученый, кандидат наук, оставивший науку, принявший рукоположение, получил от родного брата телеграмму: «Стыд и позор. Не появляйся в наших краях, если не хочешь, чтобы одним человеком стало меньше на земле».

Конечно, не всякому, кто избирает путь служения Богу и людям, летят вслед подобные проклятия, но вряд ли некоторые, едва, впрочем, приметные, послабления и перемены в неравноправных взаимоотношениях государства и Церкви, часто, как знаем мы, драматических для последней, ослабили сильнейшие ожесточение и злобу против веры и верующих, против иного понимания миропорядка и жизни.

Будто опомнившись, будто спохватившись, советское руководство словно бы поняло, осознало, что надо бы дать возможность вздохнуть свободнее – если не всему народу, то хотя бы интеллигенции. Страна еще не вздохнула. Она лишь перевела дыхание, но даже в атмосфере той «молекулярной свободы», по замечанию тех же «Московских новостей», «легче дышится, разнообразнее стала интеллектуальная, духовная жизнь». А вместе с этим стало ясно, стало совершенно очевидным, что не государство отделило Церковь, а оно само, государство, отделило себя от Церкви. Совершенно ясным, очевидным стало и то, что, отделив себя от Церкви, государство обрекло себя на гибель, что, по сути, любое сообщество, равно как и любой человек, отделившие себя от Церкви, обречены.

Обреченная власть насилия и тьмы, как видно, не в состоянии противиться более непреложности этого закона. Недавно же из самых глубочайших недр все чаще прорываются чувство вины перед содеянным, мысль об общественном, гражданском покаянии и об очищении. «Тут, – как пишет на страницах сборника «Иного не дано» критик Игорь Виноградов, – одного сбора средств на сооружение памятника жертвам репрессий мало, – как ни важно и ни благотворно само по себе и это общественное движение совести тоже. Тут нужно, как минимум, чтобы в назначенный по воле самого народа его Верховной Властью день и час вся страна встала хотя бы в минутном общем скорбном молчании под соборный поминальный зов заводов, фабрик, поездов и кораблей перед незримыми ликами наших истребленных собратьев, клятвенной символикой этого всенародного духовного порыва и акта признавая и подтверждая свою трагическую вину перед ними и очищая свою общую душу бесповоротным и полным в ней покаянием». Тут нужно, добавим мы, чтобы вся страна встала в минутном скорбном молчании и под соборный, поминальный звон колоколов всех церквей – и кремлевских в том числе, и тех, что еще устояли на просторах России. Вот тогда и наступит день торжества – скорбного, а вместе с тем и радостного: торжества Правды.

Невозможно? Но Бог разделил все языки и народы по плодам веры и неверия. Дал всякому народу, как и всякому человеку, наикратчайший путь к спасению: одному – через сорокалетнее блуждание в пустыне; другому – через мрак слепоты к прозрению; третьему – через разбой, грабежи и насилия – к внезапному озарению покаяния на Кресте Жизни.

ТЮЛЬПИНОВ Николай Александрович – родился в 1940 г. в деревне Малиново Белгородской области. Учился в Свердловском суворовском училище. Работал в районных газетах на Урале и Горьковской области. Окончил Литературный институт им. Горького. Работал в «Литературной газете», в журнале «Советская литература» на иностранных языках, в издательстве «Современник». Опубликовал в советской печати рецензии и статьи о Д. Лихачеве, М. М. Бахтине, А. Платонове, В. Непомнящем, Ю. Трифонове.

Живет в Париже.

Восточноевропейский диалог

Леонид П л ю щ

22-25 марта нынешнего года в помещении фонда Аденауэра под Кёльном состоялась конференция представителей советской оппозиции, посвященная обсуждению ситуации в Советском Союзе. Обращение ее участников мы опубликовали в 56-м номере нашего журнала. Начиная с этого номера, редакция планирует познакомить читателя с наиболее проблемными материалами этой конференции. К ним, на наш взгляд, относится и предлагаемая ниже статья.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СССР

СССР – последняя многонациональная империя мира, если не считать его же индокитайской марионетки.

Специфика советского империализма – в тоталитарной сущности советского государства. Сплав тоталитаризма с империей создает постоянную угрозу как существованию отдельных государств и народов, так и всему миру. Нынешнее проникновение СССР в страны Азии, Африки, Европы, Латинской Америки – продолжение политики захватов 20-40-х годов, создавшей современную систему сферы подчинения Кремлю. Там, где не удастся захват власти верными Кремлю партиями, поддерживается или создается дисбаланс существующей либо возникающей системы. В слаборазвитых странах это способствует возникновению разнородных тоталитарных и тиранических режимов, препятствующих развитию этих стран по пути цивилизации.

Для самой империи это оборачивается разрастанием военно-полицейско-бюрократического аппарата, все более сковывающего производительные силы страны. Но и без тоталитаризма, уже по самой своей геополитической природе, эта империя требует огромного полицейско-бюрократического аппарата. Неизбежно поэтому развитие бюрократии в целое сословие, в задачу которого входит унификация страны,

сотен национальных культур и исторически сложившихся структур, всесторонний контроль и подчинение национальных организмов единым имперским целям, функционирование такого аппарата-сословия происходит за счет и вопреки интересам всех наций, включая русскую, вынужденных расплачиваться за анахроническое сохранение, расширение и тоталитарное перерождение бывшей Российской империи.

Застой 60-80-х годов в международной политике выразился в росте советского экспансионизма, а во внутренней – усилением общесоветского шовинизма, военно-патриотической истерией, спонтанным и поощряемым КГБ развитием национал-большевистских тенденций, все более приближающихся к нацизму. Все это (и, вдобавок, планомерная, систематическая, научно разработанная русификация всех нерусских народов), в свою очередь, спровоцировало рост русофобии в стране. Вне страны эту роль сыграло советское вмешательство в жизнь других стран. Русофобия в отдельных регионах дополняется другими фобиями и межнациональными конфликтами, нередко поощряемыми центральной властью.

Связь национальных проблем со всеми фундаментальными проблемами «перестройки» обусловлена также рядом других причин.

Русификация языка и культуры нерусских народов – одна из основных форм общей денационализации и духовной деградации населения страны, с такими последствиями, как алкоголизация страны, всеобщая коррупция, безынициативность, безнравственность и цинизм, в особенности поразивший образованные слои населения.

Общее свойство советской политэкономической системы – бесхозяйственность, отсутствие инициативы, ответственности и заинтересованности в развитии страны – в национальной сфере выражается в форме национального нигилизма, дополняемого местничеством и республиканскими мафиозными субструктурами бюрократии, коррумпированной еще более, чем центральная. Такие денационализируемые республики-провинции – сегодня основная сила сопротивления изменениям даже в их горбачевской форме полумер.

Лишенные своей культурно-экономической аутентичности, республики превращаются в глухие сатрапии-провинции и в этом качестве являются базой «системы торможения», которую мечтает разрушить Горбачев. Как показал чернобыль-

ский опыт, эти малороссийские административные единицы – наиболее взрывоопасное звено всей советской системы, во всех сферах ее функционирования. Национальная провинция – авангард советского движения вспять, к превращению империи в слабо развитую страну с мощным военным потенциалом. Чингис-хан, вооруженный плохо работающей ракетно-ядерной техникой, уничтожающий людские и природные ресурсы собственной страны, неизбежно, рано или поздно, перейдет к стратегии компенсации внутренней слабости внешними завоеваниями.

Горбачевская реформа до последнего времени затрагивала национальную сферу в наименьшей степени, что выявляет неадекватность кремлевских реформаторов, их желание обойтись в этой области минимальными подчистками*. Но именно по этой причине реформы в области межнациональных и межреспубликанских отношений должны стать в центр внимания зарождающегося гражданского общества, людей всех наций и убеждений, федералистов, автономистов, сепаратистов.

Исторический путь деколонизации уже прошла Европа, и в конце концов придется пройти этот путь и Советскому Союзу. Вопрос в том, в каких формах произойдет советская деколонизация: в итоге мировой войны, кровавой революции, либо эволюционным путем поисков новых форм национального существования и сотрудничества.

Даже в рамках советского права и идеологии эволюционный путь возможен. Болезненная в настоящее время проблема русификации республиканских наций может быть безболезненно решена возвращением к так называемой ленинской нацполитике 20-х годов. Это прежде всего «коренизация» административно-хозяйственной деятельности республики, с учетом новых условий жизни страны, с учетом мучительной истории развития межнациональных отношений в 30-80-е годы (искусственный голод в ряде регионов страны, депортация целых народов, искусственные перемещения рабочей силы из республики в республику, стихийно-бюрократическая и целенаправленная, планируемая русификация, политика государ-

* Если Чернобыль не заставил Кремль пересмотреть внутреннюю национальную политику, то, возможно, армяно-азербайджанский конфликт вынудит это сделать...

ственного шовинизма, целенаправленное стравливание народов, произвол территориальных разделов и перерасделов страны и пр.).

Первоочередной задачей является государственное обеспечение развития культур и языков страны. Для народов, формально имеющих административно-территориальный статус союзной или автономной республики, области или края, необходимо принять закон о государственном языке данного национального региона, обязательном в учебных заведениях республики и в делопроизводстве (при сохранении функции языка межреспубликанских отношений за русским языком). Этот закон должен отменить брежневскую «демократию» добровольного выбора родителями языка обучения в школе. Такой закон должен стать гарантией спасения языка и культуры малых народов в условиях постоянного наплыва инонациональных меньшинств, давно уже составляющих большинство во многих «автономных» республиках, областях и краях.

Чтобы обеспечить права нацменьшинств в каждой из административно-национальных единиц, закон должен предусмотреть возможность создания школ и других учреждений, структур и объединений, государственных и общественных, обеспечивающих полнокровную культурную жизнь нацменьшинств данного региона.

Народы, лишенные в свое время государственно-административной автономии, должны иметь возможность восстановить прежний свой статус республики, области и т. д. В основу решения такого рода проблем должна быть положена как воля данного народа, так и исторический принцип, в частности принцип прецедента. Пример депортированных крымских татар показывает, что решение национально-территориальных проблем не может быть обеспечено формальным референдумом населения данного региона, так как во многих случаях такой референдум лишь закрепит итоги многолетней истории национальному угнетения. Принцип прецедента – ранее существовавшей Крымской автономной республики – в данном случае более гуманен и демократичен, чем референдум среди жителей Крыма.

Но и этот принцип восстановления исторической справедливости не должен превращаться во всеобщую формулу, единую для решения всех проблем. Лишь гласная воля данного народа должна определять решение его проблем. В частности,

специфические проблемы народов, не имеющих территориальной автономии, а также нацменьшинств, имеющих территориальную автономию вне пределов данной республики и вне СССР (ассирийцы, гагаузы, месхи, греки, корейцы, немцы, поляки, русские и украинцы, компактно заселяющие многие районы страны вне своей республики), требуют в каждом конкретном случае своего специфического решения. Для наций, которые не могут или не стремятся иметь территориальную автономию, должна быть предусмотрена возможность культурно-персональной автономии и максимальные возможности связи со своим национальным «материком», в частности, возможность эмиграции.

Особые формы национальной ситуации и дискриминации евреев сочетаются в СССР с «Потемкинской» Еврейской автономной областью, не имеющей никакого реального значения в жизни советских евреев. Как и другим народам, евреям должна быть предоставлена возможность самим выбирать свою национальную судьбу – как на личностном, так и на общенациональном уровне (ассимиляция, эмиграция, национально-персональная или территориальная автономия и т. д.).

Межнациональные конфликты, неизбежные в многонациональном котле империи, всегда могут и должны разрешаться в условиях законности и свободы слова для всех наций и граждан.

Каждая нация в СССР имеет свои больные проблемы, во многом общие с другими народами, но во многом существенно специфические. Своеобразие каждой национальной проблемы таково, что никакая общая административная формула не может удовлетворить национальные потребности. Единственный правовой способ демократического решения национальных проблем есть последовательное соблюдение и развитие принципа права наций на самоопределение. Этот принцип, формально положенный в основу советского государственного права, никогда вполне не соблюдался, а со сталинских времен практически заменен политикой «разделяй и властвуй» и прочими имперскими шовинистическими принципами, в брежневское время дополненными теорией и практикой создания «единого советского народа», теорией «двух материнских языков» при одном государственном, обладающем особыми мистическими, интернационалистическими свойствами (теории Шеварднадзе и других руководителей КПСС), брежнев-

ской формулой советской культуры – «национальной по форме, социалистической по содержанию, интернациональной по духу (!)» – и прочими теориями, нацеленными на унификацию и нивелировку национальных культур на базе русского языка.

Гарантией от реставрации сталинской национальной политики является введение в закон процедуры для осуществления возможности отделения той или иной нации в самостоятельное государство или присоединение ее к иному государству. В частности, введение в закон права на пропаганду и агитацию за отделение и за другие формы самоопределения нации.

Существующий закон о шовинистической и военной пропаганде – закон, не мешавший до сих пор официальной шовинистической и военной пропаганде в формах «советского патриотизма» и «военно-патриотического воспитания», но использовавшийся против тех, кто отстаивал право наций на самоопределение, должен быть либо отменен, либо сформулирован недвусмысленно и в соответствии с законом о праве нации на самоопределение, а также с правами личности на свободу слова, печати, демонстраций, союзов и т. д. Закон должен провести четкое правовое различие между «словом» и «делом», например, между дискриминацией личности по национальному признаку и протестом личности против национальных диспропорций в политике, экономике и культуре. В контексте традиций агрессивной политики СССР против других стран закон о пропаганде войны должен четко сформулировать понятие пропаганды войны и предусмотреть особо тяжкое наказание за это преступление лиц, наделенных государственными функциями, в том числе работников партийно-правительственного аппарата пропаганды.

При всем принципиальном значении права на отделение понятие самоопределения им не исчерпывается. Закон должен указать различные формы самоопределения, дать им четкое правовое толкование и предусмотреть возможности, не сформулированные в законе. Понятие самоопределения должно включать в себя различные формы автономии и федерации народов, формы выявления и развития национальных структур, политико-экономических потребностей и структур, их обслуживающих.

Понятие национального самоопределения включает в себя право личности на выбор вероисповедания или Церкви.

Запрещение целого ряда церквей (Украинская и Белорусская Католическая и Автокефальная Православная), преследование других (Литовская Католическая, ЕХБ, иеговисты, кришнаиты и др.), вмешательство властей в церковную и внецерковную религиозную деятельность и межцерковные отношения (поддержка Московской Патриархии в ее борьбе против Украинской Католической Церкви, Зарубежной Русской Церкви, Украинской Автокефальной Церкви, а также против так называемых сект) – всё это формы нарушения права на самоопределение личности, а следовательно, и нации. Закон об отделении Церкви от государства должен включать в свою формулу понятие независимости Церквей от государства. Первым шагом к реализации этого требования является легализация запрещенных конфессий, не нарушающих международные нормы государственного суверенитета и неприкосновенности личности*, и четкое правовое обоснование запрета какой-либо конфессии в тех случаях, когда таковой запрет останется или будет введен. При этом закон должен предусматривать права конфессии защищать свои интересы и способы этой защиты с помощью суда – как от ограничения своей религиозной деятельности, так и от публичной клеветы.

В политико-экономической сфере проблема национальной суверенности непосредственно связана с общей проблемой перестройки – с задачей оптимальной децентрализации планирования и управления страной, с задачами развития творческой инициативы населения, его заинтересованности в жизни страны. И, соответственно, с задачей борьбы с нивелирующим, убивающим всякое творчество, интерес, инициативу и ответственность масс бюрократическим аппаратом «торможения».

В этих задачах, стоящих перед государством, обществом, народами страны, есть частичное, хотя и временное совпадение интересов кремлевских «реформаторов» и правозащитных движений различных народов страны. И это частичное совпадение интересов страны и части правящего слоя делает возможной частичную реализацию требований оппозиции. От

* Под предлогом нарушения этих норм, посягательства на права и жизнь других людей, на суверенитет государства обычно и ведутся репрессии против ряда конфессий.

степени реализации их зависит как дальнейшая судьба народов страны, так и судьба горбачевской перестройки.

Алмаатинские, чернобыльские, кавказские и балтийские события – при всей их разнородности – демонстрируют всю важность накапливающихся в империи взрывоопасных национальных противоречий, способных в итоге похоронить не только империю, но под ее обломками – и народы, которые ее взорвут.

Национал-большевики, выискивая виновника всех бед страны в тех или иных нациях, не только не спасают положения, но и разжигают параноидальный огонь взаимной ненависти в национально-взрывчатой атмосфере СССР.



Израильский журнал на русском языке не только для евреев. Каждую неделю: Интервью с политиками, экономистами, эмигрантами и новоселами. – Обзор израильской печати («Маарив», «Едиот ахронот», «Харец», «Джерузалем пост» и т. д.) – Лучшее из журналов Свободного мира. – Самиздат. – Роман в продолжениях. – Письма читателей.

– Дискуссии без цензуры. – Новые рассказы и повести несоветских русских авторов. – Что происходит по ту сторону кордона и др.

Запад – Восток

Ганс Н о л л ь

ПРОИСХОЖУ ИЗ «НОВОГО КЛАССА»

Я рос, воспитываясь в социальной среде так называемого «нового класса». Этот класс сложился в Советском Союзе и странах Восточной Европы после захвата в них власти коммунистическими партиями. У его представителей, естественно, есть дети, в том числе и такие, которые оказались в конфликте со своим социальным слоем или вознамерились сделать коммунистическую систему более эффективной. Как первые, так и вторые пытаются, хотя и руководствуясь принципиально различными мотивами, что-то сдвинуть с места, преодолеть застой. Если говорить в целом, то сегодня, вопреки всей косности коммунистических структур, многое изменилось внутри «нового класса». Там нет больше «коммунистической сознательности» как таковой – несмотря на то, что внешняя оболочка, аппарат подавления и официальная партидеология продолжают сохраняться. И оттого постепенно теряет свою монолитность внутреннее ядро общества. Сформированное неукоснительным подчинением определенной идеологии, оно уже не в силах справиться с прагматизмом молодых поколений, видя в нем «измену Великому Учению».

Находясь и без того в условиях изоляции ГДР от внешнего мира, мы, дети высокопоставленных работников, ведущих идеологов и «придворных» деятелей искусств, содержались к тому же еще в одной изоляции, внутренней, где должны были как можно дольше выдерживаться в стороне от реальной жизни, сохраняя неискренность и «неиспорченность». Нигде дистанция, пролегающая между верхушечным слоем и непривилегированным населением, не является столь скандальной, как в странах «реального социализма», где она проявляется не только в области жизненного уровня или свобод, связанных с материальным положением, но и в вопиющем противоречии между почти безграничным могуществом и полнейшим бесправием – обстоятельство, которого многие здесь, на Западе,

просто не замечают. Мы жили в своем кругу сынков и дочек номенклатуры, в таком ограждении от влияния извне, что долгое время даже не представляли себе, как выглядит повседневная жизнь иных людей. Оппозиционное брожение, испытываемое остальной молодежью в ее загнанном положении, долгое время было нам чуждо. Общеизвестно, что партийная верхушка занимается самообманом, возводя декорации к спектаклю некой, реально не существующей «социалистической жизни». Дело, однако, не ограничивается только инсценированием, как это практикуется с изобилием в витринах магазинов или ремонтом домов, попадающих в поле зрения «руководящих товарищей». У самих обитателей соцстран вырабатывается глубокий рефлекс, заставляющий их чураться того, что правда станет заметной и за это на них обрушится гнев вышестоящих партийных инстанций. Так что все, кто как-то причастен к общественной жизни, вольно или невольно вносят свой вклад в затуманивание подлинных отношений в стране. По этой причине любые попытки их вскрытия – да хотя бы, как сейчас в СССР, под лозунгом «гласности» – связаны с такими невероятными трудностями.

Несмотря на закрытость общества, в котором мы жили, мне хорошо знакомы настроения среди моих сверстников из других социальных слоев. Мне, как сыну одного из представителей «нового класса», были предоставлены широкие возможности поездок, а кроме того, я должен был пройти «курс производственного обучения», обязательный в системе «социалистического народного образования» в ГДР, где каждый гимназист, начиная с седьмого класса и вплоть до выпускных экзаменов, должен раз в неделю отработать на одном из производственных предприятий, занимаясь при этом неквалифицированным физическим трудом. Эта процедура находила одно время голоса поддержки и на Западе: считалось, что молодые люди таким способом подводятся, мол, вплотную к практике и потому не так оторваны от жизни, покидая гимназию, как это наблюдается в иных странах. По этому поводу я могут только сказать, что то, что на Западе понимается под производственной практикой, не имеет ничего общего с выше-названным «днем занятий на производстве», где все дело было лишь в занятии выхолощенным, тупым и мертвым трудом, который ложился на нас физическим и психологическим бременем, не давая нам ни малейшей практической пользы.

В основе этой «трудовой практики» лежали «теории», аналогичные тем, которые мы видели в маоизме в Китае и, в еще более обостренной форме, в Камбодже при Пол Поте, в силу которых интеллигенция этих стран подвергалась насильственной пролетаризации, унижениям и непрекращающимся попыткам уничтожить ее как социальный слой с собственным лицом. Понимая смысл всего этого, мы шли на промышленные предприятия и должны были там прочувствовать и глубоко усвоить ведущую роль рабочего класса. При этом мы знакомились со всем убожеством системы: с некомпетентностью «кадров», подбираемых не по критерию профессиональной квалификации, а по «партийной преданности», с раздуванием бессмысленных органов, комиссий, советов и учреждений по контролю и охране, в то время как само производство продукции находилось в запустении – на нем губительно экономилось то, что без оглядки растрачивалось в другом месте. В этом отношении «Введение в социалистическое продуктивное производство» – так назывался этот теоретический предмет – было крупной ошибкой. Очевидно, им просто не обойтись без рабочей силы школьников и студентов.

Позднее я наблюдал то же в Советском Союзе, где молодых интеллигентов посылали в сельские районы, «на целину» и где они, после всего заученного наизусть по марксизму в программах школы и института, могли собственными глазами видеть, как гниет урожай, а убранное зерно оставляют лежать на железнодорожных станциях, пока оно наконец не потеряет своей годности. Таков первый шок, очнувшись от которого, становишься восприимчив к правде.

Преувеличение роли ручного труда, представлявшее одну из главных черт нашего воспитания, восходит к теории марксизма. В этой теории есть что-то извращенное, так как при ее создании Карл Маркс, сам, безусловно, интеллеktуал, был движим мотивами, крайне враждебными интеллигенции. Искать, выражаясь словами немецкого романиста XIX в., вложенными в уста одного из его героев, «все спасение в четвертом сословии» было модой времени. А у Маркса к этому добавилось еще и то, что он не любил себе подобных. Веру в грядущее наступление «лучшего мира» – «светлого будущего» – он связывал с неким промышленным пролетариатом, которого, однако, в Марксовой форме на Западе больше не существует. Все это – реквизиты архаичной моды XIX столетия, что,

однако, как видно, не препятствие для ее почитателей еще и сегодня.

Там, где марксизм – господствующая идеология, он вынуждает оставаться на реакционных позициях, препятствуя человеческой мысли, ее дальнейшему развитию, ведя к законсервированности и оцепенению общества, в котором он практикуется. Так же и с нами – нам прививались такое видение мира, которое по диктаторской императивности и жесткой законченности его учения можно бы просто назвать неприемлемым. Мы воспитывались на фальсифицированной картине истории, на бредовых революционных и общественных теориях, на презрении к индивидууму, составлявшем основу прививаемого нам нравственного облика человека, на выборочных научных дисциплинах, всюду втиснутых в рамки, под опеку схоластики марксизма. То же в отношении литературы и искусства – от них требовалась «партийность» и «служение классовой борьбе». И вообще все порождения человеческой мысли оценивались единственно по тому, пригодны ли они для подтверждения марксистских теорий и в какой степени.

К этому добавлялось постоянное обновление знаний катехизиса марксизма-ленинизма. Пять-шесть раз я обязан был изучать изданный в 1847 г. «Коммунистический манифест»: сначала в школе на уроках по социополитстрановедению и истории ГДР и в рамках так называемого «года политучебы» для членов ССНМ (аналога комсомола в ГДР. – П е р.), затем в обоих университетах и в Высшей школе искусств. Изучались и другие «первоисточники классиков», которые «прорабатывались с конспектом»: «18 брюмера Луи Бонапарта», устаревшая работа Фридриха Энгельса «Диалектика природы», ленинские «империализмы» – несостоятельные теории, датированные началом столетия. Обилие печатных трудов, призванное внушить ощущение «научности», – увесистые тома сочинений «в огороде бузина...», с библиографией, датированной, как правило, годом более ранним, чем 1900-й. А то, что выходило позднее, «было не по программе», так как даже как «толкование» – а Розы Люксембург это касалось так же, как и Эрнста Блоха, – эти работы уже отклонялись от ортодоксального марксизма.

То, что все нынешнее марксистское просвещение замерло на литературе для чтения с давно истекшим сроком актуаль-

ности, является его дилеммой, которую мы, тогда еще не вдаваясь глубоко в основы, воспринимали как нечто подозрительное и к тому же сковывавшее и затруднявшее наше юное марксистское мышление.

Тем не менее, я изучал «классиков» с подобающей тому серьезностью, пытаюсь вникнуть и вжиться в их мудрость и найти в ней смысл. Напомню, что к концу 60-х – началу 70-х годов марксизм как теория казался на пути к победе также и в Западной Германии. Обращение левых интеллектуалов Запада к Марксу и к инспирированным его учением общим и частным теориям только поддерживали в нас чувство, что, конечно же, мы имеем дело с вершиной человеческой мысли.

Позднее я часто сожалел, что затратил столько времени на изучение марксизма, прослеживая ход мысли «классиков», казавшийся мне логичным в себе, но бессмысленным из-за неверных посылок. Со временем я стал думать об этом же иначе: мне теперь ясно, что, основательно занявшись Марксом и Лениным, я приобрел иммунитет ко всем учениям о спасении человечества и тоталитарным философиям, с какой бы стороны они ни исходили. Годам, проведенным в «системе социалистического образования», я благодарен, по крайней мере, за то, что преодоление ее догм приучило меня к скептическому и внимательному взгляду. Когда мне было лет восемнадцать, ко времени моих выпускных экзаменов из гимназии, меня посетили первые сомнения, возникшие еще не в результате жизненных шагов и жизненного опыта, а просто в результате абстрактных размышлений. Я начал задаваться вопросами: почему наступление того или иного неизбежно? Откуда черпали Маркс и Ленин их прозорливую уверенность? Кое-что в их книгах не столь убедительно, чтобы представить себе, что это именно так. И уже ты двигался в направлении, которое могло стать для тебя роковым: тут уже оставалось не слишком много от единомыслия сверстников, на этом пути ты оставался в одиночестве. Сегодня то же самое выглядит немного по-другому: критические настроения в молодежной интеллектуальной среде в ГДР распространены уже широко. Мы же тогда связывали свои надежды с Хонеккером, с новым, великолепно провозглашенным им курсом и верили, что со смещением Ульбрихта произойдет что-то существенное. Атмосфера среди моих одноклассников, с которыми я готовился в Кепенике (Восточный Берлин) в 1972 г. к выпускным экзаменам, была

исполнена надежд и державной преданности. Лишь позднее мы поняли, что все осталось по-прежнему и таковым и останется, пока система в ее основной экономической и политической форме неизменна.

Постепенно в школе, где я учился, образовался некий кружок. Все его участники принадлежали к «новому классу» и ощущали несоответствие того, чему нас учили, с тем, что мы видели. Это были дети партпрофессуры, министров и высших офицерских чинов, «придворных» деятелей искусств и «ответственных работников». Мы встречались в домах наших родителей, и в то время, как в соседней комнате хозяин дома, отец одного из нас, готовил свой доклад для очередной партконференции, мы вели беседы на темы, нежелательные в кругу старших, обменивались запрещенными книгами и задавались вслух вопросами, на которые не могли найти ответа, но которые, как мы догадывались, подрывали систему мышления, в которой нас воспитывали.

Кружок затем распался: выбрав разные направления, мы разошлись так же, как это было бы типично и для Запада. Как относиться к своим юношеским сомнениям: продолжаешь ли ты считать их правильными или предаешь их, приспосабливаясь и служишь делу, которое в глубине души отвергаешь, — зачастую это лишь вопрос, касающийся характера личности. Молодая смена функционеров моего поколения, получивших воспитание вместе со мной, не отождествляет себя больше с «реальным социализмом». Эти молодые функционеры, пожалуй, более апатичны к социализму, чем их сверстники на Западе, что, однако, не означает перехода в лагерь мятежников. Изрядно опутанные и окованные, они следуют по предначертанному для них пути. Путь этот, однако, не единственный, а с возможностью замены на альтернативный: любой из них может представить себе свою карьеру на ином поприще, например, в каком-нибудь банке или где-то в Верховном суде — они, пользуясь языком западных экспертов по Восточной Европе, «прагматики». Запад, с его многообразными возможностями, импонирует им, и потому эти «прагматики» в будущем могут стать для коммунистической системы более разрушительной силой, чем если бы составляли открытую оппозицию.

Возвращаясь к друзьям моей юности, скажу, что некоторые из них еще на призывной комиссии в военкомат быстро

дали уговорить себя вернуться на позиции лояльности – кажущиеся убедительными аргументы в пользу такого решения были у военкомата под рукой – и согласились на «особое прохождение службы», что, чему они вначале никак не хотели верить, вело их прямо в отделы министерства госбезопасности. Были и другие, полагавшие, что они не могут не считаться с родителями, – позиция, заканчивающаяся для выходцев из семей «нового класса» самым роковым образом: подавлением себя, самоотречением и самоотсечением, бегством в алкоголизм, злоупотреблением нейролептиками – ощущение этого конфликта тем невыносимей, чем выше способности и интеллект жертвы. Еще в 1984 г., покидая ГДР, я слышал от моих друзей, что они не могли бы, учитывая положение отцов, решиться на подобный шаг. За эти годы они «продвинулись», считаются теперь «кадровой сменой», а в последнее время им разрешены поездки на Запад. Из Гамбурга или Мюнхена, тайно или по долгу службы, они звонят мне по телефону, и по их голосам можно понять, что живут они в постоянном страхе и несчастливы.

Для тех же, для кого путь назад был более не возможен, имелся целый спектр оппозиционной настроенности. Этот спектр простирался, начиная от троцкизма – один из друзей моей юности основал в ГДР секцию КППГ/МЛ («марксисты-ленинцы») – вплоть до «правых уклонистов» (по аналогии с названными так в СССР в 1937 г.), т. е. вплоть до позиций, в которых обнаруживались, скорее, буржуазные тенденции. Я же в то время читал Томаса Манна, Стефана Цвейга и Гофмансталя, Оскара Уайльда и Метерлинка и этим путем развязался с враждебными индивидуализму марксизмом и «ленинским учением». Последующее развитие для каждого из нас протекало в соответствии с тогдашней ориентацией каждого. Тот школьный товарищ, что вызвал к жизни восточногерманскую секцию КППГ/МЛ, был арестован по смехотворному обвинению в распространении когда-то на какой-то улице каких-то листовок. Абсурдный процесс окончился осуждением его на 8 лет заключения, большую часть которого он провел в каторжной тюрьме Бранденбург, в той тюрьме, в которой сидел в заключении в свои молодые годы и Эрих Хонеккер. Я задаюсь иногда вопросом, о чем думается Эриху Хонеккеру в его тихие часы при мысли, что при его правлении молодые люди сидят – за что теперь он в ответе – в той же тюрьме, где когда-то сидел и он.

Концепция, которой я тогда придерживался, была скорее «бюргерская», чем радикальная. Похожая концепция под названием «марш через все институты страны» известна и Западу. Мой план в то время был – вступать в партию с целью ее «улучшения» изнутри. Интеллигентная молодежь, полагал я, должна повысить общий уровень этой организации и обеспечить решение вопросов, колющих глаза, какую область ни возьми. Правда, уже при вступлении в партгруппу я заметил, что там никоим образом не был проявлен интерес к моим предложениям по улучшению и нововведениям. Нашлись «товарищи», которым моя кандидатура сразу показалась сомнительной – вероятно, от них не укрылись намерения, с которыми я вступал в низовую партгруппу. Я возмущенно протестовал: в конце концов, я же хотел, как лучше «для дела». Вышестоящие инстанции, учитывая, из какой семьи кандидат, решили – принять: отец, как можно ожидать, позаботится, чтобы парень не наломал дров. Подобная ситуация повторилась еще несколько раз. В общей сложности трижды – т. е. каждый раз, когда я считал себя обязанным заявить на парткоме о своем отклоняющемся от общего решения мнении, – против меня затевалось личное дело, и трижды дело прекращалось сверху.

В 1976 г. был лишен гражданства популярный бард Вольф Бирман – акция властей, которой некоторое время предшествовали внутрипартийные разногласия в области культурной политики и которая положила конец нашим надеждам на либерализацию режима при Хонеккере. Группа из десяти известных литераторов ГДР подписала протест. Полномочными представителями этой группы выступили тогда Штефан Херmlin и Криста Вольф – имена, поднявшие волну молодой интеллигенции, сотни представителей которой поставили также свою подпись под текстом протеста, курсировавшим повсюду в списках. От моей поспешной подписи меня предостерег тогда тесть, который, хотя и не был никогда членом партии, тем не менее, пользовался привилегиями высокопоставленного лица, был посвящен в закулисные дела, однако сохранил по отношению к власти определенную дистанцию и постоянно проявлял сдержанность (бывает и такое). Предостерег он меня, предсказав заранее то, что затем действительно произошло: Херmlin и Криста Вольф, когда им стали угрожать репрессиями по партийной линии, на партсобрании восточноберлинского отделения Союза писателей отказались от своих подписей под

протестом, по существу, предав не защищенных именем и преимущественно юных «подписантов».

Те, чьи подписи стояли под письмом протеста, были отчислены из высших учебных заведений или уволены с работы; среди них известные и выдвинувшиеся творческие работники, например, главный оформитель издательства «Фольк унд вельт» Лотар Реэр. С его увольнением мы все потеряли заказчика, так как лицо, назначенное на его пост, получило указание не привлекать больше сотрудничавших до этого с Реэром — с такой основательностью проводилась чистка. Сотни интеллигентов были выброшены с работы, немалое число из них было затем арестовано. Госбезопасность вела тогда слежку за всеми восточноберлинскими творческими кругами, воцарилось необъявленное чрезвычайное положение, за малейшее отклонение от правил следовало увольнение, допрос или арест. Лишением В. Бирмана гражданства партия получила в руки лакмусовую бумажку для выявления позиции каждого. Я, последовав совету тестя, не числился в открыто протестовавших «подписантах», но для нас с женой само собой разумелось не подчиниться тому, что требовала теперь партия, когда каждый должен был лично одобрить лишение Бирмана гражданства и включиться в антикампанию с его осуждением, проводимую теперь централизованно. Совсем иначе повел себя отец. В своем письме в центральный орган ЦК СЕПГ «Нойес Дойчланд» он писал, что осуждает Бирмана и «стоящих за его спиной», имея в виду прежде всего философа Роберта Хавемана. Упоминанием Хавемана отец вышел за обычные рамки приказного изъяснения в лояльности. Но последовавшее за этим в 1978 г. его «Открытое письмо...» в «Нойес Дойчланд» еще более превзошло написанное ранее. Между мной и отцом произошел в связи с этим разрыв, сначала длиною в два года, а затем, после какой-то попытки сближения, окончательный.

Тем не менее, громкая фамилия служила мне защитой. Когда как-то в Высшем художественном училище в Берлине-Вайсензее шло принятие приветственного послания с заверениями верности в адрес Хонеккера, я позволил себе встать и покинуть зал, и этот инцидент не вызвал обычно неизбежных последствий. Но зато в следующем году, когда я не пожелал участвовать в семинарах по предмету «научный коммунизм», администрация затеяла мое отчисление из вуза. Однако и на

этот раз мое назревшее, подкрепленное партийным недоверем отчисление было предотвращено сверху.

Для определенных поприщ в ГДР появилась нужда в «кадрах второго поколения». Если в 50-е – 60-е годы велась последовательная борьба против «династий» (сыновьям врачей или научных работников, например, был закрыт путь к профессии отца), нынче властям уже не обойтись без фигур для представительства, умеющих уверенно «передвигаться по паркету» в поездках на Запад. Поэтому власти склонны позволить детям партноменклатуры продвигаться по служебной лестнице на заметные в функциональном отношении посты. Непременным условием для такой блестящей карьеры почти в каждом случае является готовность к сотрудничеству с министерством госбезопасности ГДР или, бери выше, с советским КГБ. Карьера такого рода – в качестве «свободного художника», однако «на привязи» – готовилась и для меня. Неоднократно предпринимавшиеся попытки завербовать меня в сотрудники ГБ или в стукачи и опробовать в этом качестве, должны были послужить им инструментом контроля. Агентурный сотрудник министерства ГБ часто, как правило неожиданно, появлялся у нас в художественной мастерской, связывая свои наблюдения (вроде того, над чем мы работаем, нет ли среди посетителей оппозиционно настроенных художников) с беседами о возможных формах сотрудничества. Такие беседы носили «прикровенный» характер, причем как с моей стороны – я желал избежать этой ловли, – так и с его: для него всегда существовала опасность, что я пожалуюсь отцу. В кругу наших знакомых, даже в узком кругу друзей, вращались лица из творческих кругов и студенты, которые сотрудничали или, по крайней мере, были как-то вовлечены в связи со службами восточногерманской ГБ или КГБ. Множество форм «взятия на прикол» настолько обширно, что один только их перечень перегрузил бы это описание. Среди наших знакомых (мне не хотелось бы здесь вдаваться в подробности) было много «выездных кадров», т. е. молодых интеллигентов, допущенных совершать поездки на Запад, в их числе и выдающиеся мастера своего дела, например, Рут Мосснер, график, которой в 1982 г. удалось в качестве возлюбленной Клауса Беллинга войти в доверенные круги Бонна. Общение с этими лицами было безопасным до тех пор, пока ты сам оставался тверд по отношению к заигрываниям и нажиму со стороны агентов ГБ.

А в общем-то, я был к общению такого рода привычен. Насколько помнится, «выездные» были вхожи и ранее в дом моего отца. Среди них были литераторы, которые сегодня пользуются известностью на Востоке и Западе и выполняют деликатные поручения в международном плане. Им, например, поручается запускать на Запад дезинформирующие тексты-«утки» через средства массовой информации, с которыми они регулярно сотрудничают. Имя им, этим «специалистам по особым поручениям», закамуфлированным под литераторов, ученых и творческих работников, – легион. Эти экземпляры относятся к постоянному составу «серой зоны» на стыке Востока и Запада.

Иными словами, в ГДР нынче идут поиски молодых способных кадров, и власти готовы, как это было в моем случае, проявить снисхождение к юношеским грехам кандидата, пока он подает надежды на сотрудничество. С этим сотрудничеством, как с «вампиризмом» – пути назад нет. Кто однажды пустился в это дело, причастен к нему пожизненно. Службы госбезопасности ГДР и КГБ позаботятся о том, чтобы перебежчик загадочным образом погиб в какой-то катастрофе или как-то исчез с лица земли, даже не покидая Запада. И, сознавая все это, специалисты занимаются своим делом: они могут быть литераторами или мастерами сцены, высоко чтимыми в обеих частях Германии, – действовать они обязаны, подчиняясь указаниям ГБ, безоговорочно. Разумеется, этот вяжущий процесс длителен, вначале ты не знаешь, как далеко зайдет твое порабощение, но в целом, по меньшей мере, нельзя не догадаться, во что пускаешься.

В 1980 г., после окончания учебы, меня снова вызвали повесткой в районный военкомат. До этого, в 1972 г., мне удалось с помощью справки от психиатра получить шаткое освобождение от службы по категории «условно-ограниченная годность». На этот же раз мне очень энергично дали понять, что время сомнений и нерешительности для меня прошло и что даже если и не обязательно «с оружием в руках», но свой долг я должен выполнить, хотя бы как сын одного из руководящих товарищей, а также как тот, на чью долю многократно выпали милость и терпимость высших властей. Более всего упоминание, что от меня-де не ожидается типичная служба «с оружием в руках», давало понять, куда меня собирались направить. Мне удалось избежать петли, хотя противник на этот

раз проявил особую неуступчивость: прежде чем они отступили, понадобилась шестинедельная голодовка, закончившаяся направлением на принудительное лечение в нервную клинику Шаритэ в Восточном Берлине, где я, тайно покрываемый некоторыми психиатрами, продолжал голодовку, пока не потерял 17 килограммов веса и не стал на какое-то время непригоден для «органов».

Для моей жены карьера складывалась так, что она по роду занимаемых ею постов тоже причислялась к «выездным кадрам». Последний из таких постов относился к февралю 1984 г., когда до компетентных инстанций дошли сведения, что мы вынашиваем планы покинуть ГДР навсегда. Жене предложили тогда должность, возлагавшую на нее некоторого рода контрольные функции во внешней торговле с Западом предметами художественного творчества. Должность – при ЦК СЕПГ, в так называемом «Большом доме», пышно обставленная, со служебной машиной западной марки, с возможностями свободных поездок на Запад, к тому же уйма разрешенных для ввоза «спецконтингентов». Последние авансы были сделаны, хотя и в прикрытой форме, уже после того, как мы подали заявление на выезд из страны, а после удавшегося перехода границы – даже через подставных лиц в Западном Берлине. Упорство, с которым министерство госбезопасности и его бутафорно замаскированные организации на Востоке и Западе не оставляют однажды начатого, поразительно. Тому, кого раз избрали для карьеры «кадровой смены», стоит огромных усилий вырваться из пут и непрерывно возобновляемых попыток его завербовать. Стопроцентной гарантии, что наконец удалось вырваться, не бывает. Максимальная осторожность необходима несостоявшемуся кандидату и впредь.

К этим вышеупомянутым «особым обстоятельствам» добавлялась еще и общая неудовлетворенность нашей жизнью в ГДР. Сопротивляясь выводу нас на запрограммированную карьеру, мы с женой вызвали усиление оказываемого на нас давления. В соответствии со старинным принципом кнута и пряника нас сначала лишили благоволения «сверху», а затем начались усиленные притеснения, связанные с профессией. ГДР – централизованное государство, где достаточно соответствующего указания – и любой будет лишен материальной основы существования. Для нас, свободных художников, зависящих от заказов, внезапно не оказывалось больше работы

во всей стране. После каждого такого периода выдержки голодом появлялся, как бы беспричинно, знакомый нам агентурный сотрудник ГБ или же «друзья» начинали нас подталкивать, что, мол, не стоит обострять понапрасну отношения с властями; там, мол, охотно готовы возобновить сотрудничество, как только мы со своей стороны готовы будем отказаться от своего «карьероненавистничества» (как выразился один «парламентер» от них). Так мы знакомились с механизмами государственной машины ГДР, испытывали материальные трудности и условия жизни без номенклатурных льгот – короче, переживали нормальную повседневную жизнь в ГДР.

Все это должно было, по их расчету, сломить наше сопротивление, но привело к тому, что мы начали задумываться над политическим строем ГДР в принципе. В просторном кругу наших знакомых была очень распространена полукритика в адрес этого государства, что на нас никогда не действовало убедительно и раньше: идеи, вроде тех, что были в кружке вокруг Бирмана, казались нам иллюзорными; псевдокритические позиции, занимаемые, например, Кристой Вольф и другими литераторами, мы воспринимали как лицемерие, так как их целью, как легко было понять, является лишь укрепление и «улучшение» модели социализма ГДР. Явно завышенная оценка, которой эти силы постоянно пользуются на Западе, объясняется тем, что властвующее над умами поколение здешних интеллектуалов придерживается идеологических штампов своей юности. Их клишированные идеалы – трафаретно просоциалистические. Так что нынче и в ФРГ критика марксизма с принципиальных позиций, не говоря уж о его отрицании, – нередко малопопулярное занятие. Есть случаи – взять, например, Гюнтера Гауса, политического эксперта СДПГ по вопросам взаимоотношений обоих германских государств, – когда вытеснение из общественного сознания реалистической картины ГДР становится движущим мотивом всей деятельности, направленной на установление политической власти, – мотивом, обнаруживающим громадное совпадение с интересами партруководства ГДР в тех же вопросах политической власти. В общественных выступлениях Гауса выступает наружу «типично немецкая», в худшем смысле этого слова, черта – смесь некомпетентности и лживости, столь же характерная для пропагандистских выступлений СЕПГ, – так сказать, проявление общности в обеих частях Германии, жела-

ние лицемеров от политики по обеим сторонам Берлинской стены пойти навстречу друг другу.

Когда после 1980 г. мы начали подвергать серьезному сомнению политический строй, то не находили в этом для себя почти никакой поддержки в литературе ГДР. Восточногерманские литераторы, даже те, кого на Западе считают «критически настроенными», не решаются до сего дня поставить под вопрос существо строя. Среди них есть такие – например, Криста Вольф и Херmlin, – которые (и это после всего ими увиденного и всего, что им известно) провозглашают ГДР лучшим и «несущим в себе будущее» германским государством. И западногерманская восторженная клака вздымает за это их имена на своих знаменах. В литературном мире ГДР можно встретить авторов всевозможных позиций: трусости и лени, ухода от острых тем и якобы «зашифрованности». Тому же, кто хотел бы с помощью литературы проникнуть в глубокие жизненные проблемы в этих жалких условиях, на своих авторов в ГДР рассчитывать совсем не приходится: для этого ему надо поискать чтение в переводах. Недавно я получил письмо из ГДР от одного молодого писателя. Как он пишет, в том, что касается «прямого подхода», он чувствует себя «всеми брошенным в ГДР» и потому «черпает для себя примеры в Венгрии, Польше и Чехословакии». В конце 70-х – начале 80-х годов помощью для нас была, прежде всего, современная советская литература, в которой можно было найти, хотя и чуждый нам в художественном отношении, но глубокий, порой даже радикальный анализ социалистического общества. К этому были еще протяженные поездки в Россию и южные республики: в Армению и Азербайджан, – добавившие нам уверенности за счет непосредственного восприятия к почерпнутым из литературы догадкам и предположениям. Мы узнали в самой формации Советского Союза колониальную империю, стянутую воедино вначале смутными надеждами послереволюционного времени, а затем уже – только военной силой. Развитие наций в этом принудительном союзе протекает не гармонично. Примером может служить перепад социальных уровней между Арменией и соседним с ней Азербайджаном, причем представить себе его можно только тогда, когда знаешь, что в определенных районах Союза – бедственное положение. С приходом к власти Горбачева появились планы по переселению части населения Азербайджана, оче-

видно, по причине того, что этим районам угрожает голод – ситуация еще хуже и безнадежнее той, что нам довелось увидеть в 1984 г. Я вернулся из Союза потрясенным, чтобы навсегда избавиться от веры. Сомнениями на ее счет я был мучим уже издавна, но не давал этим сомнениям взять окончательный верх. «Идея коммунизма», «освобождение угнетенных», «преодоление нищеты»... – я должен был своими глазами увидеть, в каком угнетении и нищете живут люди в «отечестве всех трудящихся Земли» (одно из распространенных обозначений СССР в системе политпросветработы ССНМ ГДР. – П е р.), чтобы осмыслить всю ложь моего воспитания. А после этого я был вообще уже не в состоянии не то что служить этому строю, но и жить там. С каждым днем все труднее было нам держаться скрытно, нас распирало от возмущения и презрения. Все меньше готовы мы были проявлять дальнейшую терпимость по отношению к друзьям, вступившим на путь карьеры. Нас стало раздражать их двуличие: их послушание как работников аппарата, министерств, издательств, где они продвигались по службе, и цинизм, которому они давали волю, как только мы оставались наедине, – а также их начинающийся алкоголизм, разлаженные подозрительностью семьи. Мы с женой жили во все большей изоляции, «круг наших знакомых потек, плавясь», – писал я позднее, найдя этому определение, в одной из моих книг. К этому добавились смерти дорогих нам людей, среди них Т. Хартфилд, вдовы известного графика и мастера фотомонтажа. Уже уходя из жизни, она открыла нам многое о сталинских чистках. То же и в той же форме повторилось еще дважды, трижды – «слишком много, чтобы носить это в себе дальше», – сказал я тогда.

Самое поразительное во внутриноменклатурной жизни – это полное отсутствие открытости, взаимного доверия. Известно, что в ГДР существуют кружки, куда люди прячутся, уходя от общественной жизни в частную. Это обстоятельство преподносится в ФРГ так, как будто оно имеет какое-то решающее значение. Гюнтер Гаус запечатлел это явление под термином «общество из ниш» – какое неподходящее определение, по крайней мере, по степени обобщения, которое оно должно выражать! Во-первых, «ниши» частной жизни нельзя запереть. И эта незащищенность касается как возможности засылки в них стукачей и провокаторов (это относится особенно к восточноберлинским творческим кругам), так и пря-

мого вторжения властей. «Ниши» оказываются нередко ловушкой и являются отнюдь не знаком «перемен, начала приватизации и либерализации в ГДР», как это утверждает Гаус, а скорее, выражением бедствия, в котором и далее находится именно молодежь, в первую очередь, интеллектуальная молодежь в этой части Германии.

Во-вторых, сотовая структура этого «общества из ниш», если таковое можно вообще признать существующим, простирается лишь до определенного уровня социально-иерархической пирамиды. Чем больше величина того, что может быть потеряно, тем меньше готовность довериться – это в стране, где кишат разносчики личных тайн и откровенные доносчики, а неудовлетворенность социальных нужд настолько велика, что почти любого можно либо купить, либо подчинить нажиму. Большинство из мелких сошек, сотрудничающих с ГБ, принуждено к этой деятельности путем шантажа или иным способом нажима. Уже хотя бы по причине герметичной замкнутости почти невозможно вырваться из хватки «органов». Даже в руководящих кругах номенклатуры практически нет семей, не имеющих осведомителя: функционерам и видным деятелям подкладывают в постель девочек, сдающих затем свои рапортчики в соответствующие инстанции; на дочерей министров и писателей напускают молодых мужчин – короче, ни одна из так называемых человеческих слабостей не остается неиспользованной. Алкоголик ли, гомосексуалист – никого не минует интерес госбезопасности: придет день, и эти сведения смогут оказаться полезными. Полученный информационный материал нередко используется для рекрутирования новых осведомителей и вербовщиков, в результате чего сеть сплетается все гуще и гуще, пока, начиная с определенного уровня пирамиды, не становится сплошной. Званные вечера и дни рождения, даже семейная встреча или послеполуденное кофепитие протекают в номенклатурных кругах в атмосфере взаимной неоткровенности: никто не может сказать, кем являются другие *в действительности*, даже в отношении ближайших родственников и друзей никто не знает, каковы их связи с «органами»..

Тот, кто в этих кулуарных кругах «нового класса» не желает себе участи жертвы или жизни с постоянной угрозой нажима, обречен на изоляцию. Мы попытались жить по этому правилу, последствием чего было еще большее сокращение

заказов, поскольку поддерживавшая нас основа пошатнулась и личные и деловые связи почти оборвались. Одинокие, без контакта с покровительствовавшим нам социальным кругом, мы превратились в легкую добычу. Низовые партийные инстанции сообразили, что нас, мол, «выставили за дверь», значит, «есть добро на отстрел».

Ко всему этому добавилось еще и то, что от «товарищей», ведущих за мной слежку, не скрылось существование дневниковых записок, которые я тайно вел на протяжении 1981 – 1984 гг. Должно быть, было замечено, что я вел записи в моих долгих туристических поездках по Советскому Союзу, – туристическим группам творческой интеллигенции всегда придаются сопровождающие от ГБ ГДР и КГБ. Незадолго до нашего выезда в Западный Берлин ГБ предприняла попытку завладеть моими записками. Я застиг обоих «товарищей», которым было поручено это задание, на лестничной клетке нашего дома. Очевидно, имея указание провести это дело без свидетелей, они поспешили скрыться. Еще большему риску подверглась рукопись моей первой книги «Прощание», я днем и ночью носил ее при себе, пока наконец зимой 1984 г. не удалось нелегально передать ее вместе с другими бумагами и дневниками через дипломатов в Западный Берлин.

Большинство моих друзей отвернулось от нас тогда окончательно. Наш телефон прослушивался теперь уже не эпизодически, а круглые сутки, каждая автомашина с западноберлинским или западногерманским номером, особенно дипломатическим, регистрировалась, как только проезжала или останавливалась неподалеку от нашей квартиры. В наших семьях больше не было никого, с кем мы могли бы открыто разговаривать. Мой тесть – трижды лауреат Национальной премии ГДР, отец – дважды, тем не менее, история с нами повергла их в состояние страха. Лишь подав заявление на выезд, мы с моим братом открылись друг другу, так как до этого, как это принято в наших кругах, мы испытывали взаимное недоверие. Оказалось, что он политически оказался в той же проблемной ситуации, что и мы. Хотя ему, как врачу, не угрожала потеря источника существования, он все-таки тоже решил на подачу заявления о выезде. Тем самым мы оба потеряли последнюю связь с нашим социальным слоем, с друзьями наших молодых лет и родственниками, с которыми мы когда-то разделяли перипетии жизни «нового класса». Этот процесс

отделения, процесс, когда ты из номенклатуры скрытно для всех переходишь в отверженные, я подробно описал в другом месте, где я также рассказал и о своем внутреннем становлении, и о моей встрече с русской и советской социально-критической литературой – встрече, сыгравшей решающую роль в том, что я отвернулся от социализма.

НОЛЛЬ Ганс – родился в 1954 году в Восточном Берлине в семье писателя Дитера Нолля. В 1972 – 1974 гг. учился на математических факультетах Иенского и Берлинского университетов, ушел работать художником сцены в Берлинскую комическую оперу. В 1980 году окончил Высшее художественное училище в Восточном Берлине, в 1982 – 1984 гг. учился в аспирантуре Академии художеств ГДР. В 1984 году эмигрировал. На Западе выпустил несколько книг, в т. ч. «Россия, лето, Лорелея. Немец в Советском Союзе».

Факты и свидетельства

Наталья Горбаневская

В ПОЛЬШЕ

Разрозненные заметки

Пограничник ничего не понимал и ошеломленно чего-то у меня допытывался на плохом английском, я же отвечала исключительно по-французски. Наконец он повернул ко мне лицом пустой формуляр с подчеркнутым (опять-таки по-английски) «гражданство», на что я опять ответила по-французски: «Беженка во Франции». Он схватился за телефон:

– Слушай! Тут... документ для путешествий*... а родилась в этом, – он сделал зловещую паузу, – в Советском Союзе...

Собеседник ничего не мог ему ответить, тогда он позволил, видно, начальнику повыше, тот явился, бросил взгляд – мне не было видно, на какую страничку: с визой или с моими личными данными, – пожал плечами и велел пропустить.

Таможенник круглыми глазами посмотрел на мой голубенький документ, оглянулся на будку пограничника – пропустили? – и залихватски махнул рукой: проходи, мол. И я прошла последний кордон и попала в объятия друзей.

Действительно, спрашивать, почему на мой «нансеновский паспорт» шлепнули визу, надо было бы с консульства или кого повыше. Накануне отъезда я узнала, что получил визу и Буковский (что ее потом аннулировали – другое дело: это было в разгар забастовок, а я приехала накануне первой из них. «Ты нам привезла забастовки, – сказал один мой старый друг накануне моего переезда из Варшавы во Вроцлав, – может, к твоему отъезду легализуют „Солидарность“?» Нет, такого подарка нам не сделали. Да и таможенники на выезде не обошли мой рюкзак своим вниманием).

* «Документ для путешествий» – беженский паспорт, то, что когда-то называлось – и сейчас часто по старой памяти называют – «нансеновским паспортом».

Зачем (почему) меня пустили в Польшу? Этот вопрос был вторым на очереди после: «Зачем я еду в Польшу?» (Или, как максималистски спрашивал меня мой старший сын: «Зачем ты едешь к коммунистам?» В этой форме ответ был легче: яехала не «к коммунистам». И все-таки...)

Целью моей поездки, не указанной в формуляре, который я заполняла в консульстве ПНР, была краковская Международная конференция прав человека. В консульстве я указала «отпуск», что не было неправдой: если из двух недель отпуска я намерена несколько дней отдохнуть, участвуя в конференции, это мое дело. Зато я почти уверена, что визы нам (мне и Буковскому) дали, понимая, что мы собираемся участвовать в конференции. Власти ПНР, несомненно, хотели использовать конференцию как витрину своего «либерализма» – об этом свидетельствуют факты, которые я узнала уже в Варшаве.

К Збигневу Ромашевскому, одному из соорганизаторов конференции, явились домой гебешники вызвать его на беседу. Не застав, они забрали Зофью, его жену. Беседовал полковник, обычный «опекун» Ромашевских. Он поинтересовался, почему организаторы не зарегистрировали конференцию. Зося объяснила, что нет никаких оснований просить о регистрации. Полковник не стал настаивать, но зато спросил, не может ли получить приглашение на конференцию. Отказывать ему, в общем-то, тоже не было оснований. Через два-три дня после этого президент (мэр) города Кракова предложил организаторам проводить конференцию в зале Краковской филармонии. Надо думать, что вопрос о регистрации подспудно включал в себя и обещание регистрации. Но на обе попытки взять конференцию под крылышко организаторы ответили отказом. Все это происходило на неделе, предшествовавшей моему приезду – и забастовкам. Забастовочная ситуация скомкала старания властей показать себя либеральными, хотя и не до конца, если судить по псевдообъективным сообщениям в прессе (об этом см. в моей статье «Дыхание свободы над старым Краковом и Новой Гутой» – «Русская мысль», 1988, 2 сент.; там же – о тех гебешниках, которые не были приглашены, но не оставили конференцию без присмотра).

Это предположительный ответ на вопрос, зачем и почему меня пустили в Польшу. Предполагая такой ответ, я должна была сосредоточиться на задаче, которая, к счастью, не оказалась слишком сложной: не дать себя использовать.

Другой вопрос: была для меня самой краковская конференция единственной целью поездки? Разумеется, нет.

В отношении Польши я иногда напоминала себе тех советских ученых (этнографов и прочих специалистов по экзотическим странам), которые, будучи невыездными, всё знают про «свою» страну, но никогда ее не видели. Я была не невыездной, а «невъездной». Впрочем, честно говоря, я ни разу и не пробовала просить визу. В первые дни декабря 1981 года, помню, я сказала побывавшему тогда в Париже Каролю Модзелевскому: «А пожалуй, пора мне попросить визу в Польшу...» Кароль задумчиво сказал: «Нет, еще слишком рано». Несколькими днями позже он вернулся в Польшу и еще через несколько дней, вместе с тысячами других людей, был интернирован. Говоря «слишком рано», он еще не знал, насколько окажется прав.

В 87-м году я снова начала размышлять на тему: а не пора ли мне попросить визу. Но тут посадили Корнеля Моравецкого, без малого шесть лет скрывавшегося в подполье председателя «Борющейся Солидарности» и (хотя заочно) одного из самых близких моих в Польше друзей. «Допустим, они мне дадут визу, – рассуждала я, – проявят либерализм. Хороша я буду, гуляя по Польше, когда Корнель сидит в тюрьме». Освобождение и выезд Корнеля на Запад в начале мая этого года совпало с приглашением на краковскую конференцию. Тогда я и решила попытаться поехать.

Поехать означало увидеть друзей, которых – я знала – у меня там больше, чем знакомых, и которых оказалось еще больше, чем я думала. Это означало увидеть страну, которую я вроде бы знала как свои пять пальцев, но абстрактно, рационально, по материалам и документам. Увидеть не на фотографиях, не на экране телевизора, не в двух измерениях, но объемно, ощутимо. И друзей, которых никогда не видела, узнать вживе. В этом были и отдельные разочарования, но немного.

* *
*

Как выглядит Польша? Да примерно так, как я себе и представляла. Разве что Варшава произвела на меня более гнетущее впечатление, чем я ожидала. Кроме реконструиро-

ванного Старого Города да прилегающей к нему улицы Краковское Предмestье, вся столица выглядит огромной окраиной настоящего большого города. Особенно центр. Маршалковская – сталинская архитектура конца 40-х годов, но не песчаник, как в Москве, а темно-темно-серая, обшарпанная, осыпающаяся штукатурка. В одном из домов на Маршалковской (привилегированном – типа наших «генеральских») я была в гостях. Хозяйка рассказала мне, что квартиру каждый год по нескольку раз заливает: с тех пор, как после войны столицу отстроили, водопровод ни разу не ремонтировали – не в одном этом доме, а во всем городе.

Варшава разрыта: строят метро. Каждый день в новых местах появляются новые объезды. Таксисты чертыхаются. Один мне сказал: «Подъедешь – двое работают, трое надзирают...» Начали строить метро... в 48-м году. Начали, потом бросили, теперь снова взялись.

Дворец культуры и науки, бывший имени Сталина, родной брат московских высотных зданий (архитектура лагерных вышек, по замечанию Шаламова, – только на Москву их понадобилось семь, а на столицу «Привислянского края» хватило и одной). Один из главных героев «Малого апокалипсиса» Тадеуша Конвицкого. И документальный фильм Анджея Титкова о Конвицком начинается с показов Дворца в разных ракурсах. Так что я его и по московским высоткам, и по фото- и киноизображениям знала как облупленный. Но, когда увидела, сердце сжалось: вдруг осознала, что это значило – подарок Польше от Советского Союза. «Мой вам подарок, – сказала я польской подруге, в первый день возившей меня по Варшаве. – Там и моего капля вечно голодного детства».

В Варшаве я больше, чем в других городах, ходила по улицам (и еще ходила одна: потом, особенно в Кракове, после аннулирования визы Буковскому, меня одну никуда не отпускали – может, и лишняя предосторожность, но чем чёрт не шутит). Фотоаппарат у меня на шее болтался без применения. Фотографировать достопримечательности глупо: все они есть в соответствующих альбомах и сфотографированные лучше, чем я смогла бы. Фотографировать очереди, или пустые полки в магазинах, или с непомерными ценами витрины частных магазинчиков – духу не хватало. Для этого надо быть одним из двух – человеком из очереди или западным туристом. Я не была ни тем, ни другим.

Предельной нищеты я не видела. Нужду – да, повсеместную. Как экзотику обещали мне показать рынок на Польной, где «есть всё», а покупают «только дипломаты». Потом я сама туда добралась. Дипломатов там (в этот час? – дело было под вечер) не было, и вообще покупателей было два-три, меньше, чем продавцов. Продукты (от экзотических и неэкзотических фруктов до баночек с йогуртами и шоколадок) – западные. Кто-то их закупает оптом и привозит – отсюда и цены, посильные только дипломатам да обладателям больших сумм в валюте. В долларах.

– В Польше, – объясняют мне, – люди делятся не на тех, кто зарабатывает больше или меньше, а на тех, у кого есть доллары и у кого их нет. Ну, разве что кто-то зарабатывает такие суммы, что может покупать доллары.

– Знаешь, – в другом разговоре, – я выяснила, почему у этих людей так хорошо обставлена квартира. У них родственники в Америке, присылают деньги, и мать в прошлом году туда ездила.

– У меня зарплата, – говорит учительница начальной школы, – 11 тысяч злотых. 5 с половиной долларов.

Уезжая, я прочла в краковской газете, что зарплата учителям начальной школы повышена до 14-16 тыс. злотых, в зависимости от стажа.

Конечно, исчисление в долларах не соответствует никакой реальности: на 5 с половиной долларов на Западе и дня не прожить, и кило мяса в США или Европе не стоит полтора доллара (3 тыс. злотых). Но на 11 тыс. злотых проживешь разве что несколько дней. Официальная средняя зарплата – при мне было объявлено – 47 тыс. злотых (перед моим приездом еще было сорок). Я видела одного человека, очень крупного инженера, получавшего 120 тыс. Остальные, кого я спрашивала, – 27, 33. Цифра 27 тысяч почему-то встречалась особенно часто. Притом это основная ставка, обычно маленькая, плюс все доплаты (пособия и компенсации).

Но бывавшие и особенно работавшие в СССР поляки с ужасом и состраданием говорят о царящей там нищете (с их точки зрения, это уже не нужда). Поляков сейчас много рабо-

тает, чаще всего на всяких стройках, в разных местах Советского Союза. Там и они – иностранцы.

– У нас был свой магазинчик, так местные жители чуть не плакали, просили им сливочного масла купить.

* *
*

Самую кафкианскую «долларовую» историю рассказали мне о Гданьске (где я так и не побывала, но не теряю надежды побывать в следующий раз).

Судоремонтная верфь не справлялась со шведским заказом. Шведы предложили, что будут платить рабочим в долларах – 100 долларов в месяц. Власти ПНР с негодованием отвергли это предложение. Тогда шведы привезли тайландцев и китайцев (с Тайваня). Им, конечно, нельзя было платить по 100 долларов – им платили по 400 в месяц. Граждане Третьего мира не растерялись: они наняли себе «неграми» польских рабочих и платили им те же сто долларов, а на остальные 300 жили в свое удовольствие, снимая жилье в виллах курортного Сопота, где они поселялись с дамами соответствующей профессии (как выражаются в Польше, «валютные курвы» – но других, кажется, уже и не бывает).

В эту историю, уже абсурдистскую, трудолюбивые азиаты внесли дополнительный аккорд: в «свободное время» они бесплатно выстроили в Гданьске костел, где была только часовенка. Все это вместе взятое вполне достойно именоваться социалистическим сюрреализмом.

* *
*

Термин «социалистический сюрреализм» в Польше придумал и ввел в обиход Майор (Вальдемар Фыдрих) – инициатор и вдохновитель вроцлавской «Оранжевой Альтернативы». На Свидницкой, где проходят их знаменитые хэппенинги, я побывала в тихий – хочется сказать, пустынный – день. На самом деле пустынными были улицы Вроцлава. Мы выпили кофе в баре «Барбара», где в «сочельник» годовщины

Октябрьской революции «Оранжевая Альтернатива» намеревалась есть КРАСНЫЙ борщ. Но в этот день Майор и его рать были далеко – накануне на польско-чехословацкой границе они проводили маневры «Братская помощь», были задержаны и еще не добрались до дому. Только через день мои вроцлавяне нашли мне Майора. Мы встретились, заболтались, сидя в гостях в доме, где я жила, потом бродили по городу, потом поехали к Майору, который хотел мне дать свои рассказы. Приезжаем, хозяйка квартиры говорит:

– Приходила полиция, забрали тексты, фотографии и «рамку».

(«Рамка» – простейшее печатающее устройство.)

Не заболтайся мы – и я наткнулась бы прямоком на гебешников.

Майор спокойно оценивает размеры катастрофы: экземпляры текстов еще где-то хранятся, фотографии можно сделать...

– А «рамка» у меня была не моя – ППС. Стал бы я дома свою «рамку» держать! Ну, конечно, я на ней попечатал...

ППС – это возрожденная в 87-м году Польская социалистическая партия. «Оранжевая Альтернатива» (для которой, как говорится, нет ничего святого и потому она, слава Богу, вносит славную смеховую разрядку не только в общесерую повседневность, но и в оппозиционную рутину) немедленно «возродила» ППР – Польскую рабочую партию – наследницу довоенной компартии и предшественницу сегодняшней ПОРП, созданной на объединительном съезде ППС и ППР. Возродив ППР, «Оранжевая Альтернатива» пообещала в скором будущем провести и «объединительный съезд». А когда был арестован вроцлавский лидер ППС Юзеф Пинёр, Майор самолично, без съезда, объявил о слиянии двух партий и создании... ПОРП.

– А Майор-то, – говорю я в кулуарах краковской конференции одному из варшавских лидеров ППС, – уже объединил вас с ППР.

Серьезные варшавские политики на такие провокационные заявления, естественно, не реагируют. Тогда я спрашиваю его о расколе в ППС (раскол, действительно происшедший в первые месяцы существования возрожденной партии).

– Они – троцкисты! – взрывается мой собеседник.

С моим западным опытом я почти готова принять эти слова всерьез: тут-то, на Западе, троцкисты вечно проникают в соцпартии. Только потом я вспоминаю, что в начале раскола те же лидеры обвиняли раскольников (более молодых лидеров) в том, что среди них затесались агенты госбезопасности...

Меня больше привлекают игровые демонстрации «Оранжевой Альтернативы», чем эти игры всерьез, без тени смиренной насмешки над собою, способные выродиться в пародию политической оппозиции. Впрочем, может быть, не стоит делать далеко идущих выводов из одного случайного и краткого разговора.



Оппозиция – не бесконфликтная среда. Конфликт поколений. Конфликт старых и новых деятелей. Конфликт разных организаций и группировок.

На ступеньках, которые ведут от микрорайона Тысячелетия к костелу, где проходит краковская конференция, – надпись: «Хотим Шевчуванца! Хотим Маха! Хандзлик, за работу! Гиль, к плугу!» Шевчуванец и Мах – новые лидеры «Солидарности» металлургического комбината в Новой Гуте. О Махе я не знаю ничего, Анджей Шевчуванец мне по всему, что я знаю, и по фотографиям глубоко симпатичен. Шесть лет (в том числе всю эпоху легальной «Солидарности») он отсидел по обвинению в подготовке взрыва памятника Ленину в Новой Гуте. В апреле этого года возглавил забастовочный комитет. Но Станислав Хандзлик и Мечислав Гиль мне хорошо знакомы по своей деятельности в легальной и подпольной «Солидарности». В чем дело? Может, это гебешная надпись?

Мне объясняют. Хандзлик и Гиль, оба за свою профсоюзную деятельность, уволены с комбината. Масса новых людей их не знает и – не хочет знать. Гиль завел делянку и на ней хозяйствует – вот и выходит: «Гиль, к плугу!»

Веря в правдоподобность объяснения, я все же сомневаюсь: уж больно эти призывы напоминают партийные призывы 68-го года: «Писатели, к перу» – чтобы-де писали и не вмешивались в общественную жизнь. А тут еще сбоку тех же ступенек благородно-негодующе: «„Солидарность“ без воров!» Не чересчур ли?

Что было раньше – яйцо или курица? Гебешные ли подшептывания разожгли недоверие к «старым» лидерам или реально существующее недоверие придает правдоподобия таким надписям?

А Шевчуванец на конференции так и не появился, хотя комбинат в Новой Гуте в этот раз не бастовал.

* *
*

Для меня самой болезненной оказалась окраска конфликта, условно (очень условно) говоря, между Варшавой и Вроцлавом. Точнее, отношение некоторых варшавских лидеров, экспертов «Солидарности», публицистов, представителей интеллигенции к «Борющейся Солидарности» (кстати, организации общенациональной, но родившейся во Вроцлаве и здесь наиболее укоренившейся). Само это отношение не было для меня новостью – поразила ярко проявившаяся в некоторых разговорах окраска ненависти и злорадства. Злорадство было связано с выездом Корнеля Моравецкого на Запад (с тех пор он успел вернуться, притом прямо в подполье, но с тех пор я и моих варшавских собеседников не видела). Корнелю в тюрьме было сказано, что арестованный после него лидер «Борющейся Солидарности» Анджей Колодзей болен раком, что ему надо лечиться на Западе, что без Корнеля его не выпустят. Это был чистый шантаж (и у Анджея, как оказалось, не было рака, хотя, кроме тюремных врачей, такой же диагноз ему поставила комиссия врачей, присланных Епископатом), а на шантаж, как все мы хорошо знаем, поддаваться нельзя.

Кстати, за время пребывания в Польше я узнала, что не только я, но и некоторые из близких к Корнелю людей считают его выезд – т. е. то, что он поддался на шантаж, ошибкой. В варшавских разговорах об этом я не скрывала свою точку зрения, но больше отмалчивалась. Очень трудно сказать, например, человеку, которого видишь впервые, но которым – по былым заслугам – привыкла восхищаться: «Какую ты чушь городишь!» Но главное, что это была не просто чушь, а какое-то слепое и не позволяющее вступить в нормальный человеческий спор озлобление, с выражениями, формально «цензурными», но, тем не менее, «непечатными». Когда позже я услы-

шала от кого-то в Кракове: «Они ненавидят „Борющуюся Солидарность“ больше, чем коммунистическую власть», – я ничуть не удивилась. То, что я наблюдала, было именно ненавистью, опасной не только для данного ее объекта, но и для всех будущих, ибо ненависть обладает свойством находить себе все новую и новую пищу.

Совсем другое чувство – горечь – окрашивало разговоры с теми, кто в этом конфликте был на стороне «Борющейся Солидарности». (кто из моих собеседников был членом этой подпольной организации, я не знаю: может, все, а может, никто – я их об этом не спрашивала). Говоря ли об отношении этой, опять-таки условно говоря, «варшавской группы» к «Борющейся Солидарности» или об их неприемлемых как для меня, так и для моих собеседников прогорбачевских чаяниях, мне ни разу не забывали напомнить то, что я и сама хорошо знала, – об огромном вкладе, сделанном этими людьми в подпольную деятельность 80-х годов, а многими – в оппозиционную деятельность, начатую задолго до «Солидарности». Значит, можно, принципиально, даже резко расходясь во мнениях, обойтись без ненависти.

* *
*

Костел св. Станислава Костки на Мокотове. Я попросила отвезти меня туда в первый день моего пребывания в Варшаве, в понедельник, – в расписании богослужений я прочла, что в пятницу (т. е. накануне моего отъезда во Вроцлав) будет служаться литургия о победе любви над ненавистью. Знаменитая ежемесячная литургия за отчизну – в конце месяца, меня уже не будет, но для меня самой эта была дороже и важнее: и мне бывает нелегко одолевать подступающую к горлу ненависть. «Зло добром побеждайте», – не уставал повторять в своих проповедях о. Ежи Попелушко. Самый трудный, но, в конечном счете, наверно, единственный путь к победе над злом.

Я попросила отвезти меня туда, а сама боялась. Я знала, что этот костел – место поклонения «мученику „Солидарности“», и боялась оцепенелости «культа», боялась «пропаганды наизнанку». Но и внутри церковной ограды, и в стенах костела (где на галерее расположена выставка, посвященная ксёндзу

Ежи) всё оказалось естественным, всё жило. Было естественно поставить цветы к могильной плите, и поклониться, и перекреститься, и никто не обратил внимания, что я крещусь «не с того плеча», православным крестным знамением. Во всю свою длину та сторона ограды, перед которой находится могила, была увешена транспарантами «Солидарности» со всех концов страны. Забастовочные лозунги разного времени, кончая апрельско-майскими забастовками этого года (теперь там, наверно, вывешены новые, августовские, – когда я была, их, естественно, еще не было); «Солидарностью» одного из небольших провинциальных городов был подписан призыв к св. Стефану, покровителю Венгрии: «Пробудись, святой Стефан! Они разрушают Трансильванию» (Трансильвания на плакате фигурировала в своей венгерской и польской форме: Корож Варен и Седмёгруд – Семиградье); на одном из транспарантов была надпись: «Корнель Моравецкий тоже имеет право на отчизну» (в связи с тем, что, когда Корнель, оказавшись на Западе и опомнившись, полетел обратно в Польшу – с действительным паспортом и «гарантиями Епископата», – его задержали и выслали в Вену). Эта ограда, увешенная транспарантами, выглядела островком свободы: здесь никто не имел права срывать их, конфисковать как вещественное доказательство, задерживать тех, кто их вывешивает.

Я не раз читала в подпольных изданиях, переводила и проводила в своих газетных обзорах критику по адресу Церкви в Польше – но преимущественно по адресу Примаesa и части высшей иерархии. Оттуда же я знала, что не каждый костел в Польше становится таким островком свободы, не каждый настоятель готов выдержать обвинения в том, что допускает вмешательство «в политику» («политикой» ли были пламенные проповеди о. Ежи Попелушко, проникнутые лейтмотивом победы зла добром? – видно, это было пострашнее «политики», раз ему уготовали страшную мученическую кончину). Но то небольшое, что я видела своими глазами, убеждало меня в том, как жив в Церкви дух свободы, как реально она поддерживает этот дух в обществе. После варшавского костела св. Станислава следующим был краковский костел доминиканцев (во Вроцлаве я пошла в православный храм). Там размещался информационный пункт и происходил прием участников конференции. Там же потом, уже во время конференции, я провела целый вечер, рассказывая о себе, о тридцати двух – с 56-го

– годах советской истории, на фоне которых протекала моя жизнь, о встрече с Ахматовой и о нашей демонстрации 1968 года, о Польше на страницах наших изданий и о том, что сегодня происходит в Советском Союзе. То, что мой рассказ без лишних объяснений был понятен двум крупным историкам – о. Александру Хауке и о. Петру Клочовскому, – это было не удивительно. Но то, что с таким же живым пониманием меня слушал десяток мальчишек (прошу прощения, но иначе я их, несмотря на их монашеские одеяния, не воспринимала), то, что мне не приходилось по ходу дела объяснять им множество вещей, которые обязательно объясняешь, говоря с иностранцами, – тронуло меня очень глубоко. Самому старшему из них было на вид лет 25, но я не должна была растолковывать, чем был для нас 56-й год и почему тогда множество людей моего поколения взялось читать по-польски.

И, конечно, главная моя «церковная» встреча – может быть, вообще одна из важнейших моих человеческих встреч в Польше, – ксёндз Мечислав Янцаж, принявший краковскую конференцию в костеле св. Максимилиана Кольбе в Мистшеёвицах, одном из районов Новой Гуты. «Ну, влетит ему потом от епископа!» – сказал кто-то в кулуарах конференции («кулуары» находились просто за дверьми костела, на воздухе, где я, разумеется, проводила больше времени, чем в зале, встречая всё новых и новых людей или вновь встречая уже «старых» – трех-четырёхдневной давности друзей, особенно «моих вроцлавян»). Я не решилась спросить ксёндза, может ли такое быть: мог ли он устроить у себя в костеле громадную, притом международную, независимую конференцию, не спрося епископа? Либо мог – и тогда, влетело ему потом или не влетело, степень его свободы действий все равно достаточно велика. Либо епископ знал и одобрил, что тоже свидетельствует о степени свободы внутри Церкви.

Ксёндзу Янцажу я обязана одним из самых незабываемых впечатлений – Ясной Поляной. Сюда меня привезли под вечер последнего дня моего пребывания в Польше, после поездки участников конференции в Освенцим. Тут следует упомянуть и о костеле францисканцев в Освенциме, где была отслужена литургия за права человека – более чем экуменическая, с участием верующих евреев и раввина.

Ясная Поляна – это просто полянка в лесу, в горах, где стоят еще не законченные, но уже подведенные под крышу

срубы четырех домов (пятый был выстроен раньше) и часовни. Строить начали полтора месяца назад – сейчас, когда я это пишу, строительство, наверно, уже закончилось.

Ксёндз Янцаж звал меня на «огниско» – я так дословно и поняла: на костер. Костер действительно был, но «огниско» по-польски значит еще «очаг» – как в прямом, так и в переносном смысле. Здесь будет очаг для многих, нуждающихся в помощи, особенно для детей – хворых, слабых, недоедающих, отравляемых (еще во чреве матери) промышленными отбросами в воздухе, воде и почве, часто от рождения недоразвитых. Японская комиссия, недавно обследовавшая Польшу, установила, что здесь жизни не может быть (словно ответ на вопрос: «Есть ли жизнь на Марсе?»). Одно из самых гиблых в экологическом отношении мест – Краков. Конечно, «очаг» Ясной Поляны не принесет спасения от повседневной отравы, в которую потом этим детям возвращаться, но даст им несколько недель любви, заботы и счастья. Какое я испытала в эти несколько часов в Ясной Поляне.

В этот вечер в часовне в первый раз служилась литургия. Я не помню точных слов проповеди, но ксёндз Янцаж тоже напомнил о словах «ксёндза Ежи» (когда так говорят, никто не называет фамилию: о. Ежи Попелушко – действительно польский народный святой, хоть процесс его беатификации еще не начался), о любви, побеждающей ненависть и не знающей границ – государственных, национальных, вероисповедальных. В часовне – несколько скамеек, взрослые, которым не хватило мест, стояли, дети сидели на полу впереди скамеек, у самого алтаря. Никто их не держал за руку, не говорил, когда встать, когда стать на колени, когда перекреститься. Вместе со всеми они произносили слова молитв и пели. Вместо органа была гитара.

Когда ксёндз – о чем не предупредил меня заранее – сказал, что теперь «пани Наталья» расскажет нам... о чем? – я так растерялась, что не помню, как он сформулировал, о чем я буду рассказывать, – я, став перед пюпитром и собираясь с мыслями (а к горлу подступали слезы счастья и... зависти), заговорила, желая, чтобы слова мои были обращены прежде всего к этим детям – какими не были мы, росшие безбожниками и до 20-30 лет считавшие религию предрассудком, а Церковь – прибежищем малограмотных старух. Я рассказывала о преследовании верующих, о Любе Цыганковой, которую я

встретила в Казанской психиатрической тюрьме, о силе ее веры, одолевавшей даже нейролептики. О том, как выросли новые поколения... – и сама вдруг осознала, что у наших неофитов 60-х годов уже выросли взрослые дети, выросли в православных семьях, что у них самих скоро подрастут дети. «Я надеюсь, – сказала я, – что пройдут годы и эти дети (я указала на сидевших на полу, самые маленькие были на руках, но, казалось, тоже внимательно слушали), став взрослыми, встретятся со своими русскими ровесниками как люди, принадлежащие к двум... – тут у меня захолонуло, и я не решилась выдавать слишком оптимистические прогнозы, – может быть, еще не свободным, но двум христианским обществам».

* *
*

– Этот строй рухнет, но еще не скоро, – сказал один из моих польских собеседников.

- Когда же? – с любопытством спросил другой.
- Года через три-четыре.
- Так это же скоро! – воскликнул тот.
- Нет, мне уже шестьдесят лет, для меня это не скоро.

* *
*

За время пребывания в Польше я дала, наверно, полтора десятка интервью разным подпольным изданиям. Ну, не меньше десятка. Одно за другим они появляются. Где-то уже появилось (мне сказали об этом в сентябре по телефону). Почти всегда заходила речь о «гласности» и «перестройке» – что я об этом думаю. Спорить мне почти не приходилось: сторонников прогорбачевской варшавской публицистики я встретила столько, что пальцев одной руки для их пересчета более чем достаточно. Из самих публицистов такого толка я встретила только Яна Литынского, написавшего весной, что, может быть, Горбачев будет «над головой польской партии» искать «серьезных партнеров» среди польской оппозиции. Когда я принялась его ругать, он смущенно оправдывался тем,

что это-де была высказана не надежда, а лишь гипотеза. Вернувшись в Париж, я прочла в «Культуре» комментарий Литынского о пребывании Горбачева в Польше – разумный и резкий – и поняла, что еще до разговора со мной его «гипотеза» приняла остро-холодный душ. От самого же Горбачева.

Несмотря на то, что тема «гласности» и «перестройки» в СССР и их значения для Польши возвращалась в большинстве интервью, вопросы всегда ставились по-разному, что позволяло мне не повторяться. Единственной идеей, которую я повторяла часто и в интервью, и в разговорах, была следующая. С середины 70-х годов в Польше шла борьба за создание гражданского общества. Особенно ясно эта цель была поставлена в программных документах КОРа (Комитет защиты рабочих, созданный в 1976 году и годом позже преобразовавшийся в Комитет общественной самозащиты КОР) и выступлениях публицистов, входивших в состав КОРа или близких к нему. С возникновением «Солидарности» в Польше родился новый, очень важный, трудно переводимый термин – «субъектность» общества, т. е. стремление общества быть субъектом, а не объектом истории. (Переведем это как самоценность, самостоятельность, пусть даже не передавая всю полноту термина.) И вот сейчас, когда – да, благодаря политике «гласности» и «перестройки» (имеющей свои собственные цели, ради которых людям временно дали свободней вздохнуть) – общество в Советском Союзе тоже, в чем-то параллельно, но большей частью вопреки замыслам властей, стремится обрести свою «субъектность», несколько польских публицистов – горстка, но с хорошими, знаменитыми именами, справедливо заслужившие репутацию людей отважных, в том числе и интеллектуально отважных (достаточно назвать имя Адама Михника, которого я, несмотря на это, как мне кажется, временное помрачение, продолжаю считать своим другом), следят только за действиями власти в СССР, об обществе же судят лишь по тому, что появляется на страницах официальной советской печати – умело дозированное, как в подлых «Московских новостях», или действительно широко прорывающееся (как, скажем, в ранее незаметном «Книжном обозрении»), или того и другого пополам, как в «Огоньке». Если они не видят прямо советскую независимую печать, то с ней можно знакомиться хотя бы по «Русской мысли» – которая, слава Богу, доходит достаточно широко. Увы, когда

эти несколько публицистов заговаривают об обществе в СССР, то нередко для того, чтобы пожаловаться на его пассивность, на то, что оно-де недостаточно поддерживает горбачевские «реформы». Все равно, как если бы кто-нибудь из независимых публицистов в СССР, прочитав партийные постановления о «втором этапе реформы» в ПНР (а «второй этап» на бумаге идет куда дальше горбачевских – тоже на бумаге – реформ), стал критиковать польское общество за то, что оно не поддерживает реформиста Ярузельского.

Вот примерно то, что я говорила, критикуя такого рода публицистику. И полное понимание моих собеседников встречала, когда объясняла, что, по моему мнению, цель «гласности» и «перестройки» – стабилизация или прямо реанимация центральной власти, которая вынужденно проходит через частичную и временную дестабилизацию порядков в стране. «Гонки со временем, – говорила я, – кто кого? Успеет ли власть ожить и стабилизироваться настолько, чтобы быть в силах отнять то, что дозволила? Или общество уйдет настолько вперед, что не позволит отнять завоеванное?»

– Знаете, – говорила я, – я почти уверена, что в советском ЦК сидит группа специалистов по Польше. И в «гласности», и в «перестройке» Польша далеко впереди Советского Союза. Они сидят, изучают польский опыт и дают рекомендации: что можно позволить без риска «подрыва основ». Конечно, перенося опыт с польской «опытной делянки» (как выражался Юзеф Мацкевич) на советское поле, можно и ошибиться: почва разная. Дай-то Бог. Но польский опыт, несомненно, учитывается, и в самых разных областях. Хоть бы совсем недавно начавшееся применение штрафов как меры наказания, испытанной в Польше, где ее широкое использование началось с 86-го года, после сентябрьской амнистии, аналогом которой было в СССР в 87-м году освобождение большого числа политзаключенных «по помилованию».

Я упоминала о том, что в отдельных случаях СССР «перегоняет» польский опыт, и еще не знала, как буду права. Вернувшись, я узнала, что суммы штрафов в СССР стремительно выросли, в некоторых случаях превосходя «среднюю» зарплату в 4-5 раз, а реальную – дело Евгении Дебрянской, при зарплате в 70 рублей *оштрафованной на тысячу рублей*, – чуть не в 15. В Польше пока штрафы доходили самое большее до 80 с лишним тысяч (т. е. сорок с чем-то долларов – в данном слу-

чае пересчет оправдан: без помощи с Запада штрафов не оплатить, валюту граждане ПНР могут иметь законно, а валютный черный рынок действует практически свободно).

* *
*

Помощью преследуемым – т. е. сейчас в первую очередь компенсацией штрафов и конфискованных ценностей, главным образом автомобилей, – занимается Комиссия помощи и правозаконности при «Солидарности», более известная под названием «комиссии Ромашевского» или даже «комиссии Ромашевских».

У меня могут быть ложные выводы, потому что в Варшаве, когда я приехала, Збигнева не было – мы встретились только в Кракове. Может, из-за этого у меня сложилось впечатление, что Збышек в работе комиссии занимает место скорее ее стратега, министра внешних сношений и министра финансов в одном лице, мотором же повседневной, черной, почти бюрократической работы является Зося. (Если я ошибаюсь, пусть меня поправят, но, впрочем, ни одну из этих ролей я не считаю менее важной.) По существу, женщины вообще лучше делают нужную, но скучную работу – это я знаю и по нашему (по своему) правозащитному опыту. В квартире Ромашевских, где я бывала три дня подряд (из пяти, проведенных в Варшаве), я видела старательно заполненные анкеты на каждую жертву репрессий, с подколотыми копиями приговоров, постановлений кассационных судов; номера выпускаемого комиссией информационного бюллетеня; людей (опять же в основном женщин) с разных концов Польши, занятых работой комиссии или приезжающих с новой информацией. Я попала туда, когда уже начались забастовки.

Накануне под вечер я впервые была у Яцека Куроня. Яцек сидел на телефоне, к которому только что был приспособлен автоответчик, и звонил корреспондентам разных агентств, прокручивая им или пересказывая записанную на ответчик информацию о митинге на медном руднике в Польковицах, где горняки угрожали забастовкой, если не восстановят на работе уволенных активистов «Солидарности». Там в конце концов забастовка так и не состоялась: дирекция пообещала восстано-

вить уволенных (кстати, пособия уволенным, оплата не оплаченных администрацией дней забастовки – тоже на плечах комиссии Ромашевского).

Когда я на следующий день, опять под вечер, пришла к Яцeku, он встретил меня радостным:

– Забастовка...

– ...на «Июльском манифесте», – продолжила я, не дав ему закончить фразу.

– Откуда ты знаешь? – почти по-детски взволновался Яцек.

– У меня свои источники, – сказала я загадочно.

– Но, откуда? Я хочу знать, от меня идет информация или нет.

Я сжалась:

– От Зоси Ромашевской.

– Ну, значит, от меня, – полууспокоенно ответил Яцек.

Не знаю, не уверена. За эти дни я не раз видела, как приезжали в квартиру Ромашевских «курьеры» из бастующих местностей. Когда я в тот же день вернулась от Яцeka к Зосе, через 5-10 минут нас настигло известие о том, что у него отключен телефон. Сразу на связь с корреспондентами был поставлен здешний телефон – его выключили на следующее утро, но поток информации и тогда не прекращался. И мне тоже нашли другой, нейтральный телефон, с которого я могла продолжать свою работу – дозваниваться в Москву (пока рука не отсохнет, крутить телефонный диск: из Варшавы в Москву дозвониться куда труднее, чем из Парижа) и принимать на магнитофон заочные выступления для краковской конференции. Потом я всё призывала Зосю в свидетели, что не лодырничала и не просто была почетным гостем (только что на руках не носили, а так все время купалась в любви и всё опасалась: не слишком ли, не незаслуженно ли, не достается ли мне на долю чужое – хоть того же Буковского, за которого мне пришлось даже автографы ставить на его книжках, изданных в подполье), а тоже поработала на общее дело. Зося смеялась и охотно подтверждала.

Когда я думаю о своих новых друзьях в Польше, то это, конечно, Збышек и Зося, это, конечно, женщины из комиссии Ромашевского, которых я видела за работой в Варшаве, а потом в Кракове: Эва, и Бася, и Кася, и Аня, и все остальные.

А еще «мои вроцлавяне». В Кракове, в промежутке между двумя очередными интервью, я стояла возле костела, курила и чувствовала, что говорить больше не могу. Ко мне подошли двое из вроцлавян, стали рядом и ни о чем не спрашивали. Помолчали, потом:

– Ну, мы не будем с тобой заговаривать.

Я признательно покивала головой и кому-то даже сказала: какие, мол, мои вроцлавяне деликатные. Потом оказалось, что они думали, будто уже мне надоели (но они взяли у меня интервью еще во Вроцлаве и, надо сказать, долго мучили, а в Кракове уже не мучили) и я хочу, чтобы они меня вообще оставили в покое. Слава Богу, объяснить им, что это не так, было нетрудно.

Во Вроцлаве я за три дня успела встретить множество людей – перечислять их и называть по именам, наверное, не надо. Несколько старых друзей и много-много новых.

Вечером второго дня меня привезли к Анке Моравецкой-Коваль, дочери Корнеля Моравецкого. Мы вошли в квартиру в тот момент, когда Анка разговаривала с отцом, звонившим из Америки. Был разгар забастовок: бастовали два десятка шахт в Верхней Силезии, порт и городской транспорт в Щецине, кажется, уже забастовал металлургический комбинат в Сталёвой Воле, на завтра (на понедельник) была объявлена забастовка на Гданьской верфи.

С тех пор, как Корнель был на Западе, я несколько раз разговаривала с ним по телефону, и как-то у нас пошло на «вы», т. е. на «пан – пани», а тут сразу получилось на «ты». И вопрос Корнеля после первых ахов сразу был:

– Как ты думаешь, что мне сейчас делать?

Почти жестко, без минуты раздумья, я ответила:

– По-моему, ты должен возвращаться немедленно.

Он собирался возвращаться в сентябре и ехать через Париж. Мы так еще ни разу и не виделись.

– Тогда, значит, мы не встретимся?

– Что ж, значит, не встретимся, – отвечала я так же сурово.

Подошла Анка, сказала отцу, что вот тут люди, так они так же считают, как «пани Наташа». Корнель обещал поду-

мать и принять решение – 23 августа он еще должен был лететь в Торонто, участвовать в митинге в годовщину пакта Риббентропа-Молотова.

28-го Корнель вернулся в Польшу через чехословацкую границу. Я улетела 29-го, но мы, конечно, так и не встретились. Ничего, главное, что вернулся – и не в тюрьму, а в подполье. Еще встретимся.

* *
*

В последний вечер, уже после Освенцима, после Ясной Поляны, мы сидели часов до трех ночи в деревенском доме под Краковом. Там были, в основном, ребята из оргкомитета конференции – краковяне и вроцлавяне. Заехали ненадолго Ромашевские, выпили с нами и куда-то дальше поехали. Я, уставши беспрдельно, почти не пила. А вообще-то, конечно, пили. Месяц назад они постановили не пить, пока не кончится конференция. После той работы, которую они провернули (я-то видела: прием и регистрация участников конференции, все ее «материально-техническое обеспечение», включая бесперебойную печать материалов для прессы на двух языках – польском и английском, – все это отнимало столько времени и сил, что ребята спали не больше трех часов в сутки, а бывало, и вовсе не успевали: типография, например, работала ночью), они имели право выпить, хоть еще и не кончился август, традиционно объявляемый «месяцем без алкоголя». Мы разговаривали, вспоминали, (у нас уже были общие воспоминания), Бог весть сколько раз они пили за мое здоровье, и в какой-то момент я то ли сказала, то ли подумала (потом я никак не могла вспомнить, сказала ли я все-таки, и для верности повторила это в одном радиоинтервью на Польшу):

– Больше никогда в жизни я не буду так счастлива...

Истоки

Владимир Л е м п о р т

НЕВИДИМЫЙ ПРОТИВНИК, ИЛИ ВШИВАЯ ЭПОПЕЯ

(Записки фронтовика)

А что, если бы все люди сделались писателями? Не пугайтесь, читателей было бы не меньше, а больше, так как лучший ценитель написанного – тот, кто сам владеет пером. Не владеющий им надменен, спесив и не любит читать, он не знает трудностей этого дела. Когда дают слово увешанному орденами ветерану, тот сыплет стандартными фразами вместо того, чтобы рассказать правдиво и точно о своей неслыханной судьбе. Он опосредован потоком теле-, радио-, киноинформации, а его индивидуальность кажется ему чем-то ненужным, иногда даже позорным. Ему стыдно, что в то время он имел обыкновенные потребности, испытывал и голод, и холод, и страх, тогда как в кино, на телевидении и радио подобные ему люди ощущали небывалый подъем патриотизма, высокие чувства, самоотречение ради других, ради Родины, ради партии. Редакторы журналов, газет и других средств информации иного и не примут.

С ветеранами, участниками, очевидцами войны тоже вопрос не простой: они потому и сохранились, что им повезло, они вытянули жребий находиться чуть в стороне или были удачно ранены и не вернулись на фронт. Передовая позиция далеко не единообразна даже в одном и том же топографическом месте. Ниже постараюсь это показать. Степень опасности уменьшается с каждым метром удаления от передовой или закопанности в землю. Так что нельзя ветеранов мерить по одной мерке, но другой, к сожалению, нет! Сейчас все герои. Человек не любит себя реального. Он предпочитает выдуманного. Фильмы, пьесы о войне делаются, как правило, не фронтовиками, а людьми относительно молодыми, которым ка-

жется, что грохот пушек, взрывы бомб и треск пулеметов могут воссоздать фронтовую обстановку. А старики, пораженные склерозом и конформизмом, ничего не могут создать оригинального. Речи военных напоминают сообщение Скалозуба:

В тринадцатом году
Засели мы в траншею –
Ему дан с бантом,
Мне – на шею...

Вот и весь сказ о боевой обстановке. Не дай Бог сказать о плене и отступлении. Это запретные темы.

* *
 *

Война – это большая неразбериха. Попробуй разберись, когда лежишь, прижавшись к земле как можно плотнее. Если ты на передовой, то поступаешь именно так. А когда поднялся и идешь в атаку, в голове одна мысль: «Пронесет или не пронесет, окаянная?!» Проявить себя в войне, то есть совершить подвиг, возможностей не больше, чем в мирное время на производстве. У директора в голове и план, и образ продукции в целом, а ты крутишь гайки на конвейере. Ты, конечно, можешь стать героем соцтруда, получить на грудь золотую звезду, для этого тебя должны выдвинуть завком, профсоюз и парторганизация.

Так и на фронте. Крути свои гайки и не суй носа не в свое дело. Жди, когда тебя выдвинут. У командира полка и задания, и карта, и указания начальства, а у тебя ничего, кроме автомата и саперной лопаты. Где-то там высоко, когда командующий смотрит на карту, ему кажется целесообразным изменить линию фронта, это естественно, и он командует по инстанциям: «Продвинуться в таком-то пункте вперед на пять километров!» На твоем же участке, именно в этом пункте, как назло, оказывается река Белый Осетр, глубокая и быстрая, в безлесье, в чистом поле. За этой естественной преградой было удобно и относительно безопасно сидеть, окопавшись. Но приказ есть приказ, и ты не скажешь: «Здесь пройти невозможно!» А пройти, с точки зрения нормального человека, и в самом деле невозможно, так как ни лодок, ни других плавучих

средств нет, чистое поле, а солдаты-степняки не только плавать не умеют, но в глаза реки никогда не видели.

Начинается:

– Товарищ командир! Не могу я лезть в воду: плавать не умею!

Но тебя не разжалобить, солдата лучше утопить, чем проявить нерешительность и неповиновение начальству. Тем более, что ты уже докладывал командиру батальона, что лодок нет. Ты достаешь пистолет ТТ, наган или вальтер, взводишь курок и орешь:

– Мать твою перемать! Немедленно в воду, считаю до трех, все равно здесь останешься!

Солдат лезет в воду, течение подхватывает его, он тонет, за ним и остальные, которых командир столкнул в воду. Докладываешь командиру батальона:

– Товарищ майор, у меня большие потери, осталось 5 человек в моей роте!

Майор приходит в ярость:

– Мать твою перемать! Куда ты их дел?! Что-то я не слышал ни одного выстрела!

– Все утонули при переправе, товарищ майор!

– Как утонули?! Да я тебя сейчас застрелю, как пса!

– Воля ваша, товарищ майор, но я вам же докладывал, что в этом районе ни доски, ни бревна, а река глубокая и быстрая, вброд не перейти. Вы сказали, чтобы я не рассуждал и выполнял приказ.

– Раздолбай ты этакий! Погубить так бездарно целую роту!

Майор чувствует и свой просчет, звонит полковнику, командиру своего полка.

– Я тебе давал пять часов на переправу! Выполнил приказ? – спрашивает он, не слушая майора. – Переправились?

– Никак нет, товарищ полковник, несем большие потери!

– Потери? Это хорошо! Без потерь нам с тобой не снести бы головы! Что случилось? Тихо, ни выстрела, вырезали, что ли?

– Нет, утонули. В роте, которая должна была переправляться, одни косоглазые, реки никогда не видели и, естественно, утонули, так как не было никаких плавучих средств.

– Твою мать! Что же не взял понтонов? Мы же за собой целый обоз таскали понтонов этих. Я же тебе могу дать понтонов сколько ты хочешь.

– Уже не хочу, товарищ полковник: в первой роте осталось 5 «огурцов», во второй – 10, а в третьей – может быть, 20! Кому переправляться-то?

– Все равно надо переправляться, – сказал полковник после некоторого раздумья. – Мне важен факт выполнения приказа, пусть хоть один человек переправится!

– Тогда шлите понтоны, будем строить мост!

Через час с погашенными фарами подъезжают четыре «студебеккера», нагруженные понтонами. Их быстро разгружают и бросают на воду. Начинается возня саперов по выстраиванию понтонов в цепочку. Бледные осветительные ракеты взвиваются и повисают над рекой. Немцы открывают артиллерийский огонь из всех видов имеющегося в их распоряжении оружия.

– Как переправа? – звонит полковник. – Долбят?

– Головы поднять нельзя! Все саперы уже утонули, а моста еще нет, – говорит майор.

В это время генерал – командир дивизии – звонит полковнику:

– Что с переправой?

– Плохо! У меня почти не осталось «огурцов», товарищ генерал-майор! Геройски погибли, форсируя реку Белый Осетр!

– Чёрт с ними, еще пришлют. Переправь группу хотя бы человек в пять, и пусть они продержатся там, пока в Армии не убедятся, что переправа произведена.

Все как в мирное время – главное, доложить.

Группа в пять человек переправляется, держится два часа, но гибнет, не сделав ни шагу назад. Армия посылает в центр, что переправа через реку Белый Осетр произведена, и генерал – командир дивизии получает «Знамя», а майор – «Звездочку».

* *
*

Мы часто видим на наших экранах храбрых ребят – бойцов Красной армии, – сытых, одетых в хорошо пошитые гимнастерки, подстриженных, и зрители думают: «В общем, на

войне было не так уж плохо», – сравнивают их с современными солдатами и не видят большой разницы. Конечно, были и такие. Всякие были. В тылах, в штабах, в снабжении. Но не они создавали атмосферу войны. Хотя и эти испытывали какие-то лишения, страдали от неудобств по сравнению с мирным временем. Но основная фронтовая масса была лишена всего: еды, питья, сна, мыла, бани, передышки, иллюзий на спасение. Худобу, которой отличалась фронтовая публика – обитатели передовой линии, не создать никаким гримом, никаким перевоплощением. Выгоревшие до предела гимнастерки, укоротившиеся и рваные (сколько ни ползать по колючкам!), они имели сахарно-белые высолы на спине от непрерывного пота. Их можно было снять и поставить «на попа», они не упали бы – настолько закаленели. Остриженные подручными средствами головы «под ноль» с кустами и огрехами и струпьями от расчесов. Немытые черные лица, выгоревшие брови и ресницы, выцветшие пустые глаза. Фронт колоритен и неповторим. Никто не хочет вспоминать мелочных неудобств, столь мучительных для фронтовиков. Потертые ноги, мозоли, подопревшие пальцы в грибке, не выводимом никакими силами. Эти черные трехметровые обмотки вместо сапог. Унизительная и неудобная обувка! И довольно стыдная, но общая беда – это промежность, растертая неудобной грязной одеждой. Эта растертость усилена непрерывной потливостью и отсутствием туалетной, газетной бумаги и каких-либо средств очищения после отправления естественных, ежедневных надобностей. Пропотевшие белые подмышки и растертая обязательным целлулоидным воротничком шея! А если прибавить к этому вошь, которая особенно нападала на эти места! Ох, эта вошь! Человек, зараженный ею, чувствовал постоянную тоску и беспокойство. К великому сожалению, и я, несмотря на офицерское звание, не был свободен от этой напасти. Говорят, в Первую империалистическую офицеры носили шелковое белье, а на нем вошь не водилась: не за что было ей держаться.

Сначала мне было как-то не по себе. Но пока я не очень беспокоился. Июль 1942 года. Дон. Солнце. Естественно, человек, одетый под гимнастеркой и галифе во фланелевое белье, потеет больше, чем гражданский тип; кроме того, не лежащийся, как все люди, в постель раздетым не знает, что творится у него за пазухой. Но однажды, почесав за воротни-

ком, я поймал что-то, наощупь похожее на ягоду барбариса. Выйдя из блиндажа, где стояла стереотруба, я оглядел этот предмет и пришел к выводу, что это хотя и огромная, но вошь. Ядреная вошь! Теперь мне стало понятно, почему все солдаты так ругаются! Наша траншея была длинная, но все же я не решился произвести у себя осмотр на вшивость прямо здесь. Я ушел в ежевичные заросли, хотя было небезопасно: это место проглядывалось немецкими наблюдателями и было хорошо пристреляно. Сняв гимнастерку вместе с нижней рубашкой, я убедился, что фланелевая изнанка сплошь усеяна вшами. Не стиранное с мая белье было насквозь поражено вошью. Вот откуда странная непрерывная тревога! Я-то думал, что тревожусь за судьбу нашего отечества! Не без труда отделил нижнюю рубашку от гимнастерки, а кальсоны от галифе, с великим омерзением свернул белье в комок и спрятал под кустом. Узнавший об этом Лев Хохлов, мой товарищ, тоже младший лейтенант, безместный офицер нашего дивизиона, сказал:

– Зря ты это сделал: белье при случае еще можно смывать, а вошь, перешедшая на гимнастерку и галифе, не выводится никакими средствами и незаметна на ней! В диагоналевой ткани она, словно мы в окопах, неуязвима для противника!

Возможно, Лев был прав, но сейчас, в жаркий донской июльский день, я чувствовал счастье и великое облегчение.

– Давай-ка, – сказал Лев, – устроим небольшую вошебойку!

Мы натаскали пустых гильз от гаубиц, это были большие десятилитровые латунные стаканы, вбили их в бруствер траншеи параллельно земле и разожгли под ними костер. Сухих веток в лесу хватало. Это было несколько противозаконно с точки зрения маскировки, но солнце было яркое, огня, следовательно, не было заметно, ветер был от противника, до немцев не доходил, и нам удалось безнаказанно нагреть наши латунные стаканы почти докрасна. Мы разделись, разложили свои вещи на них и услышали тихое множественное потрескивание – это лопались вши на раскаленных гильзах. Льву пришлось отвинтить орден Красного Знамени с гимнастерки (он был единственным орденоносцем в нашем полку). Только что кончился период отступления со всевозможными окружениями, и орденов почти никому не давали. Будучи командиром взвода противотанкового полка 45-миллиметровых пушек, он, единственный оставшийся в живых из расчета, расстрелял в упор десять наступающих немецких танков. Наводил, заряжал

и стрелял сам, один! Был представлен к Герою, но наверху сочли это непедагогичным, срезали до «Знамени» – так всегда бывало.

Лев орденом не кичился, считая, что его обнесли, а гордился своим необыкновенным родством.

– Ты видел фильм «Ленин в 18-м году»? – спрашивал он, и не в первый раз.

– Видел, а что? – отвечал я в этом случае.

– Ты помнишь, Ленин лежит, раненный эсеркой Каплан, а около него врач с седой бородкой?

– Помню, ну и...?

– И этот врач, артист Хохлов, мой отец!

– Не может быть!

– Я тебе точно говорю!

– Не верю. Докажи!

– Сейчас тебе в рыло врежу, – говорил Лев добродушно, – и получишь все доказательства!

– Тогда верю! – говорил я с притворным испугом, – но ты знаешь, какую опасную роль играл твой отец?

– Почему? – удивлялся наивный Лев.

– Он играет Плетнева, расстрелянного в 1937 году. Врача-отравителя.

– Откуда ты знаешь?

– Я знаю, кто лечил Ленина. Его пользовал личный врач Плетнев. Потом, в 37-м, он проходил по делу отравления Горького.

– Не может быть! – огорчился Лев.

– Можешь быть уверен! Поэтому в фильме фамилия врача не указывается.

Одежда наша прокалилась так, что едва не загорелась.

– Ну, – сказал Лев, – бекасам конец! Теперь прокалим-ся и мы.

Он достал свою плащ-палатку и накрыл ею нашу траншею, так как костер уже погас. Создалась температура градусов на сто. Мы забрались в плащ-палатку и стали бурно потеть. Это было здорово, так как жили без воды, хотя и около нее. Достать же воду из реки было очень сложно: у немцев были отличные зрительные приборы, меткие снайперы, которые снимали смельчаков даже в ночной темноте. Они боялись переправы, все их внимание было этим занято, кроме того, понимали, что такое не давать нам возможности зачерп-

нуть ведро воды. Сами они за водой не ходили, а посылали за ней женщин, захваченных оккупацией в селе Затонском, что было напротив нашей обороны через речной рубеж.

Воду нам привозили в автоцистернах в штаб полка, а оттуда ее возил повар Буерчук в железном бочонке, водруженном на тачку. Это была порция нашего первого дивизиона. Буерчук кормил нас обедом, поил чаем, но выпросить у него хотя бы каплю воды было невозможно. Он давал котелок командиру дивизиона, капитану Пугину, на умывание и бритье. Мы же брились насухач. Мне это было несложно, но бронеет Хохлов плакал от боли при этой операции.

– Надо Ларису Ивановну позвать, – предложил он.

– Ты думаешь, она согласится? – усомнился я. – Дама самолюбивая!

– Согласится, – сказал Лев. – Бекасы жрут ее не меньше, чем нас!

Мы оделись и пошли по ходу сообщения в наш блиндаж, где жили Лев, я и Лариса Ивановна. У нас на троих была кровать с пружинным матрасом. Эту постель хозяйственный Лев, взяв меня на помощь, перетащил с того берега на лодке до прихода туда немцев. Раньше на ней спала учительница села Затонского, а теперь на ничем не покрытой – мы втроем, по очереди выкраивая по три часа в сутки. Лариса Ивановна, старший фельдшер-лейтенант как раз в этот час использовала на ней право на отдых. В темном блиндаже со стереотрубой в амбразуре стоял сложный запах земли, сухой травы, медикаментов Ларисиной аптеки, нестиранного застарелого белья и женщины. Лариса Ивановна подняла голову со скатки шинели, служившей подушкой:

– Что, вызывают? – спросила она.

– Нет, это мы с предложением! – сказал Лев.

– Смотря с каким...

– С предложением некоторой дезинсекции...

– У меня нет насекомых! – отрезала она.

– Это странно, – сказал я. – У нас со Львом их миллионы, спим все вместе, а вас они избегают! Не обидно? Может быть, они женоненавистники?

– Возможно, из-за моей чистоплотности? – спросила она.

– Интересно! – сказал Лев, – может быть, у вас в медсумке душ или где-нибудь в кустах ванна? Лариса Ивановна! Мы

заботимся не столько о вас, сколько о своей безопасности. Мы только что от них избавились. Очень просим сделать то же самое.

На красивом лице Ларисы... Впрочем, говорить о возрасте или красоте фронтовой женщины – то же самое, что рассуждать о тех же качествах закопченной деревенской иконы. Черное лицо, белые морщины и сухая шелушащаяся кожа. Итак, на темном с белыми морщинами лице Ларисы отразился живой интерес.

– Ребята! Но как?

– Мы приготовили настоящую финскую баню. Кроме того, я спер у Буерчука котелок воды, когда того вызвал Пугин, – здесь Лев засмеялся, – поторопитесь, через полчаса немцы начнут обстрел, а там поражаемое пространство! Одежду – на гильзы, сами – под плащ-палатку, из котелка – он согрелся – самый необходимый туалет, а мы встанем с обоих концов хода сообщения, чтобы какой-нибудь разиня на вас не набрел...

Видимо, бекасы доняли и Ларису Ивановну, так как эта тонкая высокая блондинка бежала с грациозностью жирафа прямо к указанной нами цели. Мы научили старшего фельдшера-лейтенанта пользоваться финской баней и рыцарски стали на часах. Мы слышали, как Лариса даже запела от наслаждения.

То ли немцы начали свой ежеутренний обстрел раньше, то ли часы наши отстали, а у нас на троих была одна Мозеровская луковица, но не успела наша медицинский работник пробить в бане и 15 минут, как раздался многоголосый вой от дисканта до баса – это через нас полетели змеи и драконы – мины разных калибров. Они разрывались со звоном и скрежетом, осколки разлетались с визгом и свистом. Вторая порция рассыпалась уже в расположении нашего наблюдательного пункта.

С одеждой в охапку, голышом выскочила Лариса Ивановна.

– Не смотрите на меня! Нахалы! – кричала она. – Сейчас же отвернитесь!

– Зато мы теперь видим, что вы не мулатка, а белая женщина! Да не глядим мы, – сказал Лев абсолютно хладнокровно.

Обстрел продолжался в течение часа. Земля покрылась срезанными ветками. Это поработали осколки мин. Берег

Дона был покрыт столетними липами, развесистыми дубами и кленами.

После канонады мы пошли взглянуть на баню. Она была засыпана землей и зелеными листьями, рядом довольно большая воронка от разорвавшейся мины.

Лев наклонился, покопался в рыхлой земле и достал свою плащ-палатку, пробитую в нескольких местах.

— Да! — сказал Лев задумчиво. — Мы могли бы лишиться нашей медицины!

— За такое дело, что мы провели, можно и жизнью рискнуть, — ответил я.

— Пожалуй, за тот месяц, что мы здесь провели, это первая боевая операция — сказал Лев, — сколько врагов уничтожили, если посчитать?

— Да около полка будет — подсчитал я. — По пятисот на брата, помножить на три, как раз полк военного времени!

— Ты заметил, куда свое белье выбросил? Подбери и прожарь! Нового тебе никто не выдаст! Через месяц начнутся холода, а зиму я уже воевал, знаю, что такое даже осенний холод!

Я побежал в лес, в кусты ежевики, где оставил свое исподнее, но, увы, там его уже не было.

* *
*

Пришедший к нам Володя Марков, бывший сослуживец Льва Хохлова, командир первого огневого взвода, сообщил нам крайне неприятную новость.

— Будем завтра сниматься отсюда и перебазироваться под Сталинград, — сказал он, — а там такая мясорубка, что вряд ли кто останется жив! Впрочем, вот Лев, я и капитан Ворон вырвались живьем из-под Москвы. Дважды счастье не дается. Безногим или безруким тоже возвращаться не хочется.

Все задумались. Слова касались каждого.

— Что касается меня, — сказал Лев, — то я готов вернуться безруким, безногим, лишь бы живым. А ты? — обратился он ко мне.

— Для меня инвалидность хуже смерти, — ответил я убежденно, — и при тяжелом ранении, если оторвет руку или ногу, постараюсь пустить себе пулю в лоб!

– Э, брат! – сказал лейтенант Марков. – Ты так говоришь, потому что еще салага, не обстрелян хорошо. А мы с Левкой ни разу не видели, чтобы кто-нибудь застрелился. Правда, Лев?

– Я думаю, что ты прав, Володя. Верю, что здоровый человек может застрелиться, он полон сил и энергии, а как только из него потечет юшка – всё! Не человек, а полчеловека, четверть человека, в зависимости от потери крови.

– Ну, хрен с ними, с этими делами, – сказал Марков и, повернувшись ко мне, сказал: – Давай споем, тезка. Где моя гитара? – и я полез под кровать.

Марков везде возил за собой гитару и сейчас хранил ее у нас в блиндаже под кроватью с пружинным матрацем, самом безопасном для нее месте: никто не наступит.

В это время вошла Лариса Ивановна.

– Лариса Ивановна! – закричал коммуникабельный Марков. – Вы ли это? У вас, оказывается, прелестное лицо с нежным румянцем! Как вы этого достигли?

Мы открыли командиру первого огневого взвода секрет красоты Ларисы Ивановны и пошли организовывать для него финскую баню. Благо веток, нарубленных немецкими артиллеристами, было больше, чем нужно.

Пока гильзы накаливались, мы пели на пару:

...Вот приехали мы к вам
Ах здрасти!
Моя банда и я сам
Ах здрасти!
Как живете, караси
Ах здрасти!
Ничего себе, мерси
Ах здрасти!...

Володя хорошо знал довоенную эстраду, аккомпанировал на гитаре и всегда приглашал меня, так как в свое время я был армейским запевалой, и только у нас получалось на два голоса.

Время – это облака. Иногда сплошные, иногда перистые, иногда кучевые. Когда смотришь с вершины настоящего вглубь прошлого, то иногда сквозь эти тучи забвения вырисовываются контуры чего-то, а чаще сплошная мгла. А порой вдруг прошлое является перед тобой, как настоящее, четко: и пейзаж, и люди, и животные.

Я уже говорил, что с передовой все видно очень плохо. Из штаба лучше.

Если бы не Володя Марков, трудно было бы понять, почему кругом загудели тракторы, почему в наших траншеях ходили посторонние солдаты; оказалось, наша смена. И мы, забрав наше снаряжение, отправились в тяжелейший поход.

По дороге мы видели, как выводятся пушки и прицепляются к тягачам, снимаются маскировочные сетки, на прицепы грузятся снаряды.

Всё! Конец хорошей жизни!

Однообразная, придонская, потом выжженная дотла приволжская степь.

За 10 дней нашего, в основном пешего, пути мы безумно устали, истекли потом, изголодались и чуть не умерли от жажды, так как снабжение безнадежно отстало. При подходе к городу Арчада нас разогнала по всему полю огромная банда «мессершмиттов». Когда же они, сбросив весь груз бомб и расстреляв пулеметные ленты, улетели, перед нами открылось величественное, но печальное по смыслу зрелище подожженного областного склада нефтепродуктов. Дым поднимался до самого неба. Если не соврать, то сажевые клубы дыма поднимались километров на пять. Улицы были усеяны свежими трупами жителей этого города, видимо, не ожидавших налета: так далеко немецкие самолеты еще не залетали.

Как ни странно, но снабжение уже давно ожидало нас в Арчаде вместо того, чтобы кормить и поить нас по дороге. Оно передвигалось на машинах и нашло более краткий путь.

В наше с Хохловым распоряжение был выделен «студебеккер» – вместительный грузовик, – и было приказано дожидаться прихода эшелона со снарядами для пушек-гаубиц нужного калибра (для любопытных: калибр 152 мм). Два дня мы наслаждались относительной свободой и сытостью. В нашем распоряжении была гостиница с ванной, где мы выстирали гимнастерки, и столовая, в которой мы ели тресковый соленый суп и отмечали это в своих продуктовых аттестатах. А что нужно было еще для полного счастья? Но, как всякое счастье, оно было недолгим: эшелон пришел, и мы вдвоем целый день загружали неудобными тридцатикилограммовыми снарядами наш «студебеккер».

– Ты дорогу-то хорошо знаешь, герой? – спросил Лев у бойца-водителя, человека лет пятидесяти.

– Да знаю вроде как бы, – ответил маленький курносый боец-водитель. – Сначала до станции Котлубань, потом в сторону Малых Россошек до совхоза Котлубань, там я уж все знаю. Лишь бы добраться до железной дороги. От нее одна только бетонка.

Нас застигли сумерки, а потом ночь. Из-под фар прыгали тушканчики и вспугнутые кузнечики. Мы двигались на довольно большой скорости, когда были остановлены необыкновенным явлением, возникшим прямо перед нами. В километрах десяти или пяти из земли стала вырастать огненная масса, точно такая, как изображается в телескопической съемке взрыв протуберанцев на солнце. Поднявшись языками вверх на высоту... чёрт ее знает... метров 500, а может быть, и километра, она вдруг рассыпалась гигантским фейерверком, который превратился в огненный дождь диаметром опять-таки трудно точно сказать... Все видимое пространство покрылось гигантскими звездами и кометами. Мы догадались: это эшелоны со снарядами для «катюш», подожженные немецкой авиацией. Может быть, слово «подожженный» неточно, а взорвались они от детонации? Не знаю, не могу вам точно сказать. Неуправляемые ракеты летели в самом хаотическом направлении и разрывались в воздухе. Ни с чем не сравнимый ужас охватил нас: груз, такой нежный, может взлететь в небо с нами вместе не только при попадании в него, но и от детонации близразорвавшегося. Шофер не стал дожидаться указаний, быстро развернулся и на полной скорости направился в открытую степь в сторону от дороги. При свете зажженного термитными снарядами ковыляя я, сидящий в середине, в тесной кабине, видел слева курносое бледное морщинистое лицо склонившегося напряженно над рулем бойца-водителя и справа – горбоносое четкое Льва Хохлова. Минут через 10 мы были в недосыгаемости от «эресов» (так назывались реактивные снаряды), но наш водитель сбился с верного направления. Спрыгнули на землю. Как назло, великий салют прекратился также неожиданно, как возник. Мы озабоченно скребли в заскорузлых затылках. Где железная дорога? Сталинград на юго-востоке, там желтое зарево. Горит так, что видно его за сорок километров. Котлубань, где только что рвались снаряды «катюш», должна быть северо-западнее. Вот Млечный Путь, вот Большая Медведица, значит, это север, левее –

запад, но где точно? Мы уехали от дороги, которая привела бы нас на место расположения нашей части.

В душной приволжской сентябрьской степи пахло свежестью, ароматом раздавленных множеством ног арбузов. Приволжье – бесконечные бахчи. Этот запах был запахом мирной жизни и вызвал острую душевную боль. Каждый из нас троих отлично понимал, что, возможно, эта прекрасная теплая ночь – последняя в его жизни. Мы отдавали себе отчет, куда едем: в огромную страшную топку, в которую подбрасывают горячий материал, не жалея. А горячий материал – не кто иной, как мы.

– Надо все-таки определиться, – сказал Хохлов, – где мы находимся, но как? Надо сперва выбраться на шоссе Арчада – Сталинград.

Метрах в тридцати при бледном свете зарождающегося месяца показались расплывчатые контуры трех человеческих фигур.

– Пойду спрошу у них. Может быть, они знают, где дорога! – сказал Лев.

– Автомат возьмите, товарищ лейтенант! – сказал боец-водитель.

– А! Ладно! – махнул рукой Лев Хохлов и пошел навстречу этим троицам...

И, как всегда на войне, неизвестно откуда и зачем, с воем и дьявольским пением прилетели мины и стали расцветать кустарником вокруг нас. Мы бросились прочь от нашей взрывоопасной машины и прилипли к земле. Шквал огня возник и прекратился одинаково внезапно. Продолжался он не более полминуты. Мы поднялись, отряхиваясь. Живы, слава Богу. А где Лев? Ни трех встречных, ни Хохлова не было видно. Я побежал в направлении, куда только что пошел Лев для встречи с незнакомцами.

Вернулся.

Мы забрались на студебеккер и стали кружить по степи, все расширяя и расширяя круги.

Никого, ни живого, ни мертвого.

– Лева! – кричал я – Хохлов!

Но уже понимал, что эти вопли бесполезны. Водитель даже дал очередь из автомата, включил полные фары. Ни души!

– Или это были немцы, – сказал шофер, – и они захватили лейтенанта как языка, или их всех разорвало в клочки

вместе со Львом, или его ранило, а эти трое, может быть, наши, унесли его с собой...

Мы окружили еще полчаса и убедились в бесполезности поисков.

Времени на возвращение оставалось немного. Мы должны успеть к нашей утренней артподготовке, иначе оставят наш дивизион без снарядов.

Водитель был опытный, он вспомнил, как развернулся и сколько отъехал от дороги, сколько сделал поворотов.

Для меня это было непостижимо, а он окружил, окружил и выехал на дорогу.

Потеря Льва Хохлова была для меня невозполнимой. Ладный, ловкий парень, лет на пять меня постарше, а по опыту на 30, спокойный и подтянутый, всегда мне подсказывал, как мне поступать в том или ином случае, никогда не смеялся над моей неловкостью, хорошо зная, что она проходит с приобретением опыта...

— Пойдешь со мной в разведку? — спрашивал он тогда, на Дону. — Ну, что мы здесь сидим без дела?

И в самом деле. Он имел редкий талант мастера прямой наводки. Он кончил артиллерийское училище в тридцать девятом году, в 40-м воевал в Финляндии и с первых дней был на фронтах Великой Отечественной. После ранения обеих ног, после той операции с танками, он болтался без должности в нашем полку. Мы же не выходили на прямую наводку. Меня тоже тяготило бездействие.

Взвод я имел, а приборов для вычисления никаких. Ни теодолита, ни буселей, ни планшетов, ни бумаги, ни даже карандашей. Попробуй поработай по специальности!

Хохлов разработал план и цель разведки и утвердил у капитана Пугина. Помешала наша перебазировка под Сталинград...

А тем временем мы искали, искали и наконец нашли нашу часть в три часа утра, за час до артиллерийской канонады всей первой Гвардейской армии. По сверенным часам ровно в четыре утра все пушки 1-й Гвардейской армии всех калибров должны сделать первый залп.

По сравнению с Доном наша часть расположилась самым жалким образом. Рассвет показал все неудобство и мрачность нашего устройства. Даже Сахара показалась бы более пригодной для жилья, чем эта голая степь с наклоном в сторону

немцев; мы были полностью обозреваемы ими, что позволяло им вести прицельный огонь, а сами они были скрыты глубокой балкой, умелой маскировкой и нашей собственной бестолковостью. Мы не имели современных зрительных приборов, кроме допотопных стереотруб и цейссовских биноклей с десятикратным увеличением. У немцев же были едва ли не телескопы, благодаря которым они знали нас всех в лицо. Мы слишком вклинились в их оборону и находились почти в полном окружении. Мы принимали шквал огня спереди, через некоторое время слева, а потом справа.

В Ставке это воспринималось по-другому: мощный прорыв с северо-запада на соединение со Сталинградом. Такой же прорыв с юга.

Стратегически все было задумано отлично, с неслыханным количеством артиллерии, через каждые пять метров пушка или миномет, «катюша» или шестиствольный реактивный миномет «Андрюша», но требовалось слишком большое количество людского материала. И его не жалели, а бросали на врага с чисто русской щедростью. В этом, наверное, секрет нашей победы!

Невозможно пройти из-за сплошного заградительного огня? А наши идут! Идут целыми дивизиями. Подойти бы ночью, но есть приказ подойти днем, и поэтому эти дивизии гибнут, но следом идут новые.

В это время пришел приказ, ужаснувший ничему не удивляющийся Сталинградский фронт.

Приказ о немедленной ликвидации вшивости.

В чистоте – очевидно, это было прекрасное пожелание главного врача Советской армии (или Красной еще) – облегчится жизнь солдатской массы. Но, поскольку это пожелание понравилось Сталину, он издал приказ: «Немедленно ликвидировать подобную гадость!»

Что я знаю сам, лично, об этом приказе? 20 сентября 1942 г. во время наиболее напряженных боев наш комполка Богданов вызвал весь офицерский состав к себе на командный пункт. Такой сбор в настоящих условиях был большой роскошью: минометно-пулеметно-артиллерийский огонь был сплошным, затруднявшим всякое передвижение. Поле было абсолютно голое. В результате несколько офицеров было ранено, а один даже убит. Родные получили известие, что он пал смертью храбрых!

Полковник имел озадаченный вид, и он сказал:

– Товарищи офицеры, у меня есть приказ с грифом «Совершенно секретно», почему я собрал вас у себя. Зачитываю:

«В связи со вшивостью, которая имеет место в ряде частей, и имеющимися случаями тифозного заболевания, что может повлечь эпидемию, приказываю: всем армейским соединениям Советской армии произвести немедленную дезинсекцию и баню. За уклонение виновные будут наказаны по законам военного времени».

Офицеры молчали.

Наконец командир 1-го дивизиона капитан Пугин задал вопрос полковнику:

– Как же это сделать, если у нас уже три месяца не выдается ни куска мыла, а воды нет ни для умывания, бритья и питья, а чай иногда получаем из Арчады?

– Спроси о чем-нибудь полегче, – отвечал полковник, – у меня тоже нет ни мыла, ни пива, положенного командиру полка, но под трибунал я из-за этого не пойду! Есть приказ использовать деревню Котлубань как баню. Затопите печи, создайте температуру, пусть прожарят одежду, пропотеют. Все должны пройти через эту деревню, об этом подадите рапорты.

– Александр Игнатьевич, – сказал Одынь, толстоносый латыш с припухлыми глазами, – как старший по возрасту, я позволю себе обратить ваше внимание на одно неприятное обстоятельство: деревня Котлубань является ориентиром, то есть мы на мушке у немцев. Достаточно войти туда значительному количеству народа, как нас прихлопнут там, как мышей. Разве я не прав?

Полковник Богданов, человек с жестким казачьим лицом, внимательно выслушал и сказал:

– Капитан Одынь, ты прав, так оно и будет, но не думай, что я глупей тебя! Чтобы ты так не думал, зачитаю еще один приказ Наркома обороны. Слушайте: «На особо опасных и важных участках фронта во избежание обсуждений приказов Главного командования, дезорганизации, провокации, трусости, шкурничества, панических настроений предписываю: командирам фронтов, соединений, отдельных полков, отдельных батальонов, дивизионов, отдельных рот расстреливать лиц, уличенных в вышеуказанных преступлениях, лично. Это имеет огромное агитационное значение. Приказываю во всех соединениях и частях провести серию показательных расстре-

лов. Совершенно секретно. 20 сентября 1942 года». Как видите, приказ совсем свежий. Не думаешь ли ты, что эту серию целесообразно начать с меня? Если нагрянут Жуков или Конев, они спросят: «Как Котлубанская операция?» Что я им отвечу? Считаю ненужной или опасной? Боюсь, что серию расстрелов они начнут с меня. Или, может быть, начать с тебя, Одынь, несмотря на величайшее уважение?

Одынь, хотя и недовольно опустил голову, но поднял руки над головой в знак саморазоружения.

Капитан Ворон, командир 4-й батареи, немолодой и лысый, попросил слова:

— Товарищ гвардии полковник, наши батареи едва укомплектованы после окружения. Потеря хотя бы одного бойца в огневых расчетах нарушит нашу боеспособность. Может быть, мы проведем борьбу со вшивостью у себя по методу товарища Хохлова? (Мы сегодня получили известие, что он пропал без вести. Жаль его. Хороший был парень.) Гильз у нас хватит. Накалим и прожарим вшей в своих траншеях! Напишем официальный рапорт!

— А что напишут ваши батарейные сексоты? — холодно возразил полковник. — А что скажет особый отдел? А как завоюют поверяющие Армии, присланные в Котлубань, когда их лишат такого шоу?

Собравшиеся офицеры как один опустили головы.

— Никого не интересует, — сказал Богданов, — есть ли у вас вошь или нет, важно, чтобы все неукоснительно выполняли приказ Наркома обороны.

Собственно, всем было ясно, что уклониться от выполнения нелепого в данных условиях предписания невозможно, и мысленно уже подсчитывали потери.

— Вот вы! — сказал полковник, указывая на меня пальцем. — Как вас?

— Младший лейтенант Лемпорт!

— А почему же у вас по два кубаря на петлицах?

— Трофейные, товарищ полковник. Других не было. Достал по вашему личному приказанию!

— Ну ладно, сейчас это не имеет значения, оставишь второй кубарь, если выполнишь боевое задание!

— Слушаюсь, товарищ полковник!

— Со своим вычислительным взводом, — я его что-то никогда не видел, — истопишь избы по улицам Урицкого номера

10 и 12, по Карла Маркса – 25 и 30 и Крупской – 1, 3, 5, остальные избы займут подразделения 1-й Гвардейской Армии. Ясно?

– Так точно, товарищ гвардии полковник!

– Выполняйте. Товарищи командиры, подождите еще полчаса до конца обстрела тяжелой артиллерии, а потом расходитесь по местам.

* *
*

Деревня Котлубань была застроена черными строениями почти без окон, из строганого теса. Ни деревца, ни кустика. Один колодец-журавль на все село. Запаса дров в избах не было, очевидно, здесь топили кизяком или соломой, И мы, вычислители, со старшиной Пановым, щеголеватым молодым человеком с бачками; пулеметчики 1-й номер старик Полуянов и второй – Петров; связисты Александров, Хайбулин и Хабибуллин стали ломать мебель, сени, сараи и набивать досками большие русские печи. Мы соблюдали меры предосторожности, чтобы не обнаружить себя, но и немец молчал, видимо, разгадав наш план. Время от времени выдавал обычную порцию мин. Мы с истопниками других подразделений вычерпали досуха колодец, небольшой пруд в низинке и наполнили водой ведра, горшки и котелки и поставили их в печи.

К шести мы закончили топку, прожарились и даже помылись. Я подал рапорт об этом полковнику.

– Пусть первый и второй дивизионы по очереди занимают дома по улице Урицкого, Карла Маркса и Крупской. Третий дивизион я пока попрिдержу. Как только стемнеет, пусть заходят, – скомандовал он.

В семь вечера подразделения зашли в избы, наблюдатели армии и представители особого отдела заняли свои наблюдательные пункты за этой операцией. Через полчаса произошло непоправимое. Развязка была такой, какой ее нарисовал капитан Одынь, даже более трагичной. Едва подразделения вошли в дома, изображавшие бани, как немцы ударили по пристрелянной деревне из всех видов артиллерийского и стрелкового

оружия. Мне, как человеку с фантазией, артиллерийский налет всегда казался нападением драконов и змеев из-за их долгого индивидуального звука полета с яростной головой разрыва. Эти змеи и драконы стали терзать деревню до тех пор, пока последняя изба не превратилась в щепки.

Тогда считать мы стали раны...

Два дивизиона полка из трех оказались настолько разгромленными, что сделались небоеспособными, зато вши вместе с людьми были полностью уничтожены. Об этом было доложено в штаб Армии. Там, видимо, были довольны нашей исполнительностью, так как никаких нареканий за человеческие потери не было.

Смерть этой массы людей была бы для меня абстрактна, если бы не погиб Володя Марков, хороший парень и кадровый офицер, мастер стрельбы с закрытых позиций. С ним я был в приятельских отношениях. В ту же банную операцию была ранена в обе ноги Лариса Ивановна, старший фельдшер, лейтенант (не везло ей с баней), и главный врач полка, капитан Софья Львовна, спасавшие из горящих изб раненых. Получил тяжелую контузию бревном командир 1-й батареи капитан Ворон, лучший стрелок дивизиона, накрывавший цель с третьего выстрела. В общем, я рад за них: живы остались. Я видел их при погрузке в машины, раненых было человек 50. Все дружно матерились, независимо от пола и возраста. Им было досадно, что ранены в бане. Ворон кричал из-под повязки:

– Предупреждал же остолопов! Головотяпов! Дураков! Пусть теперь воюют сами! Без меня.

К сожалению, на фронте часто получали ранения и даже бывали убиты при комических обстоятельствах. Вспомнить только разбомбленные эшелоны за сотни километров от передовой! Этих раненых не признавали за фронтовиков. Без руки, а на фронте, пишется, не был. Производственная травма! Без содроганья не могу вспомнить, что чуть не погиб при нежелательных обстоятельствах. Туалет на передовой – большая проблема. Люди находятся на своих местах, через бруствер по нужде не полезешь – убьют. Поэтому солдат садится тут же, где его застигла нужда, и саперной лопатой выбрасывает результаты через бруствер траншеи настолько далеко, чтобы самого не беспокоил запах. У офицеров же было отведено определенное место, чтобы не терять авторитета перед подчиненными за таким занятием. Однажды утром я пришел сюда и

только присел, как точно над моей головой вонзилась маленькая мина, из земли торчало лишь ее хвостовое оперение. Двойная счастливая случайность: она не разорвалась, иначе я был бы неминуемо убит, а если бы в это мгновение не присел, был бы сражен прямым попаданием в лоб, для которого хватило бы и неразорвавшейся мины. Много дней мое воображение рисовало крайне непривлекательную картину: молодой офицер, сидящий на собственных испражнениях со снесенным черепом. Я содрогался и отрицательно тряс головой. А эти убитые и раненые, которые только что переваливали через пристрелянный и перепристрелянный холм, с которого мы наблюдали за немцем и вели артиллерийский огонь! С упорством муравьев они шли и шли до места, на котором неизменно разрывался снаряд большого калибра или пулеметная очередь с жаворонковым пением пронзала подходивших на уровне груди или живота, в зависимости от роста мишени. У немцев для этой точки на пулеметах стоял мертвый прицел. Кому-то наверху казалось целесообразным гнать и гнать людей на это место, на верную и бессмысленную гибель.

Иногда мы кричали из своего укрытия подходящим к нам во весь рост солдатам:

– Стой! Ложись! Ползи в обход, здесь все пристреляно!

А подходящие с чисто русским равнодушием говорили:

– Э! Ничего, пройдем!

И тут же у нас на глазах получали ранения, чаще смертельные. Почему бы не подождать до темноты? Может быть, десяток дивизий и не остался бы лежать здесь, вокруг нашего НП, где и до немцев-то еще далеко, а дошли бы до рубежа атаки. А если бы и погибли, то, может быть, с пользой?

Но война есть насилие и только насилие надо всем: разумом, логикой, человеческим достоинством и прежде всего над таким естественным человеческим чувством, как чувство самосохранения, то есть страхом за свою единственную и неповторимую жизнь; она провозглашает его главным позором, а убийство – главной добродетелью. Война – существо, вырвавшееся из своры человеческих чувств и представлений.

Если бы подчиненные считались со здравым смыслом и целесообразностью, то главнокомандующий вечно получал бы в ответ на свой приказ продвинуться на 5 километров:

– Это невозможно, потому что здесь река!

– Это невозможно, потому что здесь болото!

– Это невозможно, потому что здесь скала!
– Это невозможно, потому что здесь белый день, все простреливается противником!

– Это невозможно, потому что непроглядная ночь!

И получалось бы, что продвижение невозможно.

А главнокомандующий заранее говорил: «Заплатите в 10 раз дороже своими жизнями и будет возможно!»

Поэтому так ценились потери, а сохранение людей считалось подозрительным; не сачкует ли эта часть?

Мрут люди – значит, стараются. Живут – халтурят. И когда теперь проходят мимо вечных огней, а репродукторы печально сообщают, что в Великой Отечественной мы потеряли 20 миллионов жизней, я всегда думаю: а не заплатили ли за победу в 10 раз дороже?

* *
* *

Вглядываясь в облака прошлого, в сорокалетнюю глубь, ты не можешь нащупать поучительного, интересного, грандиозного в этой Великой Битве под Сталинградом, очевидцем которой ты был.

Память, что ли, отшибло?

Но ты прекрасно помнишь, что было годом раньше и годом позже.

Может, психика была не в порядке?

Не думаю. Ее трудно испортить, а до этого была нормальная. Если бы она тронулась, ее бы трудно было исправить.

Помню какие-то пустяки, разговоры в штабной землянке, перебежки, кувыркания, запах сухой земли. Помню солдатские анекдоты, которые наш начальник связи Пономарчук вечно рассказывал по-украински:

– Кум Грицько и кум Петро приехали святить кулыч, пасху тай яйца. Кум Грицько кричит:

– Петро!

– Га!

– Шо га! Кинь твою пасху зъив та яйцами тарахтит, пока ты там ригочешь!

Среди сплошного грохота было странно слышать комический украинский говор от дисканта до баса и наш залиvistый

смех, независимо от смысла анекдота. Мы не были сумасшедшими от страха. Но что мы делали здесь почти целый месяц на этом участке, я не могу последовательно вспомнить. Не помню, что мы ели-пили и как это делали. Помню какую-то чепуху, какие-то разговоры по телефону, какие-то команды, вражеские танки вдали, не более спичечных коробок. Неужели так была бессодержательна жизнь на этом, самом значительном участке фронта?

И наконец я догадался. Мы все были невероятно заняты спасением своей жизни. Это наисерьезнейшее и труднейшее занятие. Рассмотрим нашу жизнь по часам. С 4 до 5 утра наша артиллерийская подготовка, то есть канонада, – по всему участку фронта из всех видов артиллерии. Потом – ответный огонь немецкой артиллерии с 5 до 8 утра. Тут уж головы не поднимешь, всем лежать на своих местах и молить Бога, чтобы пронесло мимо. Взрытая рыжая земля поднимается в воздух, осколки воют, мы задыхаемся от пыли, чихаем и кашляем. Визит немецких бомбардировщиков в количестве 1000 штук – с 8 до 10 утра. Держись! Они сбросят весь свой взрывчатый груз, спустятся вниз и будут расстреливать из пулеметов по площадям и по всему, что шевелится или напоминает окоп или траншею. Тут тебя охватывает такой ужас, что ты в мгновение ока оказываешься подкопавшимся в боковую стенку своего хода сообщения, как крот. А что делать? Однажды ко мне в окоп залетел снаряд от авиапушки (как она называлась, Шкасс или пушка Шкасса) – маленький снарядик сантиметров 10 длиной. Хорошо, что он бронебойный и взрывается только при вхождении в металл, слава Богу, что мы не из железа! С 10 до 12 все пушки должны прицельно выпустить по 4 разрешенных снаряда на каждое наше орудие. Это строгий лимит. К этому времени я должен был представить командиру дивизиона панораму с целями: здесь, мол, пушка, там пулемет, там танк, там самоходная пушка. С 2 до 4 немцы начнут массированный минометный обстрел и прежде всего по наблюдательным пунктам. Это мучительные два часа. Зарывайся непрерывно и крепче прижимайся к земле. Из минометов немцы стрелять умеют. Плотно и точно. Потом приедут наши «катюши», снимут чехлы с устремленных в небо рельсов, покроются густыми облаками дыма и зажгут немецкий передний край. В ответ начнет обстрел тяжелая немецкая артиллерия 152-200 миллиметров. Эти снаряды начнут отваливать целые кубометры от

наших укрытий. После этого наша армия опять выпустит по четыре снаряда, и за это время мы должны отрыть новый ход сообщения на 20 метров вперед. Это и есть продвижение. Пусть позиция будет и менее выгодна для обзора, для защиты, но мы обязаны продвинуться. День содержательный, но очень трудный для обстоятельного рассказа. Может быть, виною полное отсутствие сна? И все время в земле. Но, пока ты в ней, она обеспечивает относительную безопасность. Гибнут в основном на поверхности, на которой нет спасенья.

* *
*

Я был ранен и был уверен в этот день, что буду ранен или убит, когда меня, как дождевого червяка, извлекли из родной матушки-земли и послали занять наблюдательный пункт впереди пехоты. Я остро ощутил, какое мое существо голое, студенистое, уязвимое! Не прошло и суток, как с тремя ранами пулевыми и осколочными, с правильно оформленными документами я ехал в тыл для жизни, для любви, для созидательной работы, еды, питья и прочих простых и радостных жизненных отправлениях. Какое счастье удаляться с каждой минутой от смертей, от пушек, пулеметов, минометов, самолетов, автоматов, винтовок и прочей выдуманной человеком гадости. Ты стремительно проходил миллионновековую эволюцию от Червя до Человека – Царя Вселенной!

Вот ты Человек, и начальники твои – уже не командиры дивизиона или полка, во власти которых было отправить тебя на тот свет ради общей победы, а врачи, задачей которых было вернуть тебя сначала к жизни, а потом всё к большему здоровью.

* *
*

В госпитале ты попадаешь прежде всего в баню. Белье – в вошебойку, сам – в мойку, блаженную, жаркую, осуществляемую юной девицей, раны – на перевязку чистыми бинтами без червей и вшей, а волосы – долой! Сначала тебе это кажется

естественным. Чёрт с ними, с волосами, в драке их не жалеют, да и вшей там полно! Но достаточно тебе было оказаться на койке, чистой, белой, с простынями и пододеяльниками, как ты уже чувствуешь досаду. Все офицеры на других кроватях с холеными длинными волосами, писанные красавцы! А ты! Как простой рядовой солдат. Неужели эта Клавка Симонова, что внесла меня на вытянутых руках в баню, не могла немного потрудиться, вымыть мою офицерскую юную голову и сохранить мои золотистые кудри? Как же я в таком жалком виде буду ухаживать за девушками? О неблагодарная человеческая натура! Не две ли недели назад ты клялся, что для вечного счастья тебе достаточно будет окопчика метр на три, корочку хлеба, банку тушёнки, котелок чая – и всё. Больше ничего не надо, кроме безопасности! А оказывается, уже девушки нужны! Тебе требуются офицерские почести, на одной ноге с рядовыми ты быть не хочешь!

Главная ошибка всех кино- и театральных режиссеров: солдат до и во время войны всегда стригли под «ноль», офицерам же оставляли прически. Это была их нерушимая привилегия, а Клавка грубо нарушила ее! Человек с прической пользовался особым уважением, имел зарплату и, если нужно, денежный аттестат для родных. Солдат же ничего, даже волос. Поэтому девушки охотнее заводили дружбу с офицерами, чем с рядовыми. И я усердно начал отращивать волосы. Как только появился ежик, я пошел к Лиде-парикмахеру, и она, кроме подбородка, подбрила мне косо виски и шею под скобку, юную поросль на верхней губе я тоже оставил а ля Грушницкий.

Рядом с моей кроватью стояла койка лейтенанта Эктова, человека лет девятнадцати, лежавшего в этом эвакогоспитале номер 1684 города Вольска второй раз. Этот юноша уже дважды пережил ужас передовой и не в качестве артиллериста, как я, а в должности командира стрелкового взвода, то есть в пехоте. Выйти на рубеж атаки – это все равно, что вступить в вольеру, полную змей, крокодилов и других мерзких гадов, готовых откусить тебе руку, ногу, голову и от которых нет спасения. И дважды Эктов получал легкие ранения. Сквозные ранения сначала левой руки осколком мины, а другой раз – пулевые мягких тканей кисти правой руки. Он был очень молод, румяное лицо его было покрыто легким пушком, светлые брови и ресницы, выгоревшие на передовой, совсем не

различались. Но зато у него были необыкновенно красивые волосы цвета червонного золота. Ни один каракулевый мех не мог сравниться с затейливым рисунком его короткой прически. Естественно, он считал себя красавцем! Но то ли от пережитого ужаса, то ли от природы он не был коммуникабелен и вследствие этого не пользовался особым успехом у медсестер. Но, если бы он захотел, как он говорил, ни одна дама не устояла бы перед его обаянием. Возможно. Но он не успевал захотеть, как раны его мгновенно закрывались, и его отправляли обратно на Сталинградский фронт. Мы содрогались, представляя себя на его месте: третий раз испытывать свое везенье. И опять счастье улыбнулось ему. Он получил легкое ранение в ногу и вернулся в наш госпиталь. Мы обрадовались ему, как родному. Как, однако, не везло человеку. Его рана мгновенно зажила, и Эктов уже в своей диагоналевой гимнастерке с тремя красными нашивками ранений на груди прощался со старожилами госпиталя 1684. Он в четвертый раз ехал на ужасный Сталинградский фронт. К змеям, драконам, крокодилам, готовым его сожрать, откусить руку, ногу, изуродовать лицо, оторвать жизненно необходимые для продолжения рода органы! Мы остро это чувствовали, а на нем не было лица, несмотря на его румянец. Он снова уехал воевать, а мы остались весело жить на своих белоснежных кроватях. У меня отросли волосы, и я постарался зачесать их назад в знак принадлежности к офицерской касте, усы а ля Грушницкий завивались мелкими колечками, не слишком густыми, но золотистыми. Треп, анекдоты, съедание доброкачественной пищи по тем временам, испитие чаев и компотов, рейды к сестрам милосердия в перевязочную. Да мало ли какие удовольствия можно было извлечь из мирной, веселой и сытой жизни!

Нас как громом поразило введение погон в 1943 году – до этого мы их считали отличительным признаком неприятеля. Ко мне офицеры обращались с просьбой изобразить их в погонах, хотя формы их еще никто не знал. Я рисовал то в эполетах с бахромой, как у Нахимова, то без бахромы, как у Лермонтова, то в погонах, похожих на немецкие, то моего собственного изображения.

К великому нашему удивлению, в очередное поступление раненых в нашей палате вновь появился Эктов, одетый в рваный рыжий халат, кальсоны с завязочками и в тапках. Он

опять был легко ранен и добрался до нашего госпиталя своим ходом. Все места госпиталя были заняты даже в коридорах, и я уступил ему половину своей койки. В эту же ночь у Эктова поднялась температура до сорока. Врач Грачева быстро осмотрела Эктова и нашла у него белую тифозную вошь. Она (громила этакая) повалила и меня на койку и быстро нашла такую же вошь. Эктов, видимо, успел наградить меня насекомыми. Плохо вымылся! Диагноз не замедлил быть установленным.

— Тиф! В изолятор того и другого!

Нас остригли. Эктов лишился своего золотого каракуля, что сделало его похожим (как я теперь понимаю) на юного Фантомаса, а меня лишили с таким трудом выращенной прически и даже усов а ля Грушницкий. Стриженный я сделался похож на портреты юного бритого Маяковского, но без его роста и стихов.

Тиф у нас не подтвердился. Кроме потери волос, мы упустили нашу двуспальную койку: раненых за это время поступило слишком много. Остриженные, мы стали жить на раскладушках в коридоре, а не в офицерской палате и утратили последнее различие с рядовыми бойцами. Эктов был безутешен. Без ресниц, бровей и дивного каракуля он потерял последние крохи самоуважения. К тому же его рана успела зажить. Ему бы полежать, как лейтенанту Кондратенко. Тот ухитрился с легким ранением в ногу без повреждения кости пролежать шесть месяцев. Да что там шесть! Я уже выписался с тяжелейшим раздроблением кисти руки, а тот остался лежать, здоровый, мордастый! Что он делал со своей раной, чем растравлял? Табаком, перцем, чесноком? Или кровь, что ли, у него была гнилая?

А лейтенант Ярош! Этот мальчик был ранен в стопу не очень тяжело, хотя кость была поражена и он боялся наступать на нее. Как часто бывает в таких случаях, образовалось «лошадиное копыто». Он стал ходить, выставляя вперед ногу, и шлепать, не сгибая стопы, как стреноженный конь. Его списали как безнадежного инвалида. Никто меньше двух месяцев в госпитале не лежал, а на Эктове раны зарастали на второй же день. Врачи разрешали ему отдохнуть недельки две и отправляли на фронт. Он надел последний раз свою диагональную гимнастерку уже с четырьмя нашивками ранений (единственной наградой) и отправился к своим крокодилам, змеям и драконам, которые скорее всего его и сожрали. Опять-таки

его невезенье: когда выписался я, на передовую офицеру было попасть невозможно, слишком много их одновременно выздоровело, и образовалась безработица. Безработные сидели в запасных полках на хлебе и воде. Подождать бы Эктову с выпиской месячишко! Но, может быть, он все-таки остался жив? Мы не обменивались адресами. Я даже не узнал, как его зовут. Эктов и Эктов!

Фронтовые друзья это одно, а в гражданской жизни они могут быть совершенно несовместимы. А время меняет всех так, что они превращаются в совершенно других людей. Мне приходилось встречаться с теми, с которыми был связан в 40-50 годах. Разочарование их во мне было ужасным. Даже больше, чем мое. Я умел найти в их изменившихся образах знакомые черты. А меня они не узнавали решительно и бесповоротно. И в самом деле, угадать тонкого, стройного мальчика с одухотворенным лицом в этой коренастой фигуре и бородатой физиономии довольно трудно. Хотя сам я не чувствую себя слишком уж изменившимся. По мироощущению, по реакциям на общественные явления, на литературу и искусство я узнаю себя. Да, это я...

Я с благодарностью вспоминаю нашего командира полка гвардии полковника Богданова, в наказание пославшего меня и моих вычислителей топить бани, чтобы облегчить страдания зашивевших людей, и тем самым избавившего меня от капитальной немецкой головомойки, когда все разделись и распарились. От наших трех дивизионов остался один третий, который командир полка решил придержать со вшами вместе. Да, только мы, топившие баню, и ушли оттуда вовремя.

На войне никогда не знаешь, где потеряешь, где выиграешь, но лучше все же быть вдалеке от чрезмерного скопления людей в одном месте, особенно там, где семнадцать лет провел Варлам Шаламов.

Главное в жизни — это пережить, самому увидеть. Хотел бы я исключить из своей биографии этот ужасный фронт? Нет. Я бы, пожалуй, обеднел, хотя Боже избавь пережить это вторично.

Был бы Достоевский Достоевским без тюрьмы и смертного приговора, Лермонтов Лермонтовым без ссылки, Гомер Гомером, будь он зрячим? Написал бы Скотт Фицджеральд «Ночь нежна», не будь он алкоголиком?

Да я могу исписать полтетради именами, которые не были бы теми, какими мы их знаем, без сопутствующего им несчастья или какой-нибудь крупной неприятности.

И даже Пушкин, учись он хорошо в лицее, веди себя лучше, был бы камергером с ключом на золотой цепи, а не камер-юнкером, что было оскорбительно для него, и, кто знает, может быть, прожил бы до 90 лет и был бы самым благополучным писателем.

Да, не знаешь, где приобретешь, где потеряешь!

26 сентября 1982 года

ЛЕМПОРТ Владимир Сергеевич, скульптор, родился в 1922 г. в Тамбове. В 1950 г. окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (Строгановское). В годы Великой Отечественной войны воевал на Сталинградском фронте, был командиром артиллерийского взвода. Младший лейтенант. Награжден многими орденами и медалями, в том числе – «За оборону Сталинграда», орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной звезды, медалью «За победу над Германией».

С 1953 г. участвует в выставках, совместно со скульпторами Вадимом Сидуром и Николаем Силисом.

Основные произведения (совместно с Н. Силисом): композиции на здании гос. библиотеки в Ашхабаде, на здании Театра русской драмы в Уфе и мн. др.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

(сорок седьмой год издания)

книга 170

В номере опубликованы:

В. Яновский. По ту сторону времени. (Окончание); ИЛЬЯЗД. Посмертные труды. Роман; Е. Замятин. Из литературного наследия. Публикация А. Тюрина; Е. Федорова, «Обойден и замкнут круг»; К. Ушаков, Серп и молот; Ю. Тролль, Пасьянс «будуар»; Вл. Купченко, «Лучший друг слова»; А. Штрмас, В мире образов и идей Александра Галича; Р. Киршенштейн, Милитаризация промышленности в СССР.

СТИХИ: *Ю. Балтрушайтис, В. Перелешин, М. Крепс, М. Фельдман, И. Поялков.*

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Н. В. Поленова, Е. Д. Поленова и М. В. Якунчикова. In memoriam; В. Н. Челищев, Из воспоминаний; Письма М. Шагинян к З. Гиппиус. Публикация А. Тюрина.*

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: *В. Крейд, Неизвестные строки О. Мандельштама; А. Иванов, К истории могилы Л. Ф. Достоевской.*

БИБЛИОГРАФИЯ: *Э. Мелтон, Русский крестьянин глазами Запада – новые работы американских ученых; Е. Филиппс-Юзвигг, Отклики. Сборник статей памяти Н. И. Ульянова; Т. Фесенко, Ю. Терапиано. Литературная жизнь русского Парижа за полвека; М. Раев, Modern Greek Studies Yearbook. 1985-1987; М. Раев, R. H. Johnston. «New Mecca, New Babylon» – Paris and the Russian Exiles. 1920-1945.*

Заказы адресовать по адресу:

The New Review,

611 Broadway 842, New York, N. Y. 10012

Tel.: (212) 353-1478

Искусство

Михаил Заборов

ПРОЕКЦИЯ НА ПЛОСКОСТЬ (РОМАН С ПРОТОТИПОМ)

«Я невежда», – сказал основоположник дарвинизма на склоне дней, и вот наконец подобное сознание-чувство, только куда более истинное, стало обнимать меня все крепче пред знакомым и неведомым ликом искусства.

Недавно закончил мучительно длинную и неизвестно кому адресованную статью, где разоблачил двуличие красоты, а значит, искусства, в которой (и в котором) ложный гипнотический фактор постоянно подменяет собой истинный – выразительный. Придя к таким вот невеселым предположениям, я должен был заключить, что традиция искусствоведения-критики, основанная на вживании, сопереживании, «сожительстве»... подчиняет критика тому социогипнозу, который он, критик, должен бы преодолеть, и потому она, традиция, должна быть потеснена, если не вытеснена, объективными методами исследования. Иначе говоря, меньше полагаться на чувства и больше на знание – вот откуда сожаления, с которых начал, и вот примерно круг мыслей, занимавших меня, когда я взялся писать о художнице-скульпторе Мирьям Гамбурд. Ее последняя выставка в галерее Това Осман в Тель-Авиве (февраль 1988), небольшая выставка в небольшой галерее, не осталась незамеченной, получила хорошие отклики в израильской прессе, что само по себе по отношению к экс-советскому художнику – редкость; в общем, произвела известное волнение в кругах художественной общественности.

Изысканность небольшой выставки Мирьям Гамбурд, по-видимому, в том, что создана она средствами и вовсе минималистскими:

Три небольших (чуть больше ладони) фигурки, благодаря оригинальному «ходу конем», создали на небольших досках-плоскостях множество композиций – целую экспозицию –

скульптурно-драматическое (конечно, ироническое) представление во многих актах «Китч в квадрате, или Лот и дочери».

А ход-прием тоже предельно прост: с упомянутых трех фигур скульптор сняла три резиновых (силиконовых) формы (формы эти в своих гипсовых ложах представлены тут же, на выставке). С их помощью она отлила множество отливок и скомпоновала из них множество же многофигурных комплексов. Композиции выглядят тем более многофигурными, что «фигуры фигурируют» не обязательно целиком, но и фрагментарно, и тогда одна фигура двоятся, троится, так что трудно поверить, что форм всего три. В результате, на небольших досках (часть из них покрыта кубами стеклянных колпаков) разыгрываются бурные вакханалии – «бури в стакане»...

Что это, действительно вакханалия? Выплеск эротических жаждааний или повод полепить свободно, без оглядок на модернистские табу, полюбоваться умело сработанной фигурой, так давно изгнанной из выставочных залов и скульптурных мастерских, что Мирьям пришлось совершить псевдоархеологическое открытие и как бы извлечь свои скульптуры из-под груды культурных наслоений. (Выставка предварена шуточным «документом», представляющим экспонаты как археологическую находку.)

А может, это ни то ни другое или и то и другое плюс дань падкому на эротику общественному вкусу? Этими и другими любопытствующий вопросами, входил я в мастерскую Мирьям Гамбурд, где однажды уже был на открытии выставки рисунков отца художницы Моисея Гамбурда. Рисунки отца впечатлили меня простотой и выразительной точностью, что отличает руку зрелого мастера, впечатлила и самоотверженная преданность Мирьям, что сохранила, вывезла рисунки и не только организовала выставку, но и издала каталог с репродукциями.

Теперь обстановка в мастерской будничная: работы, законченные и незаконченные, скульптуры, рисунки, ученица «кропотливо корпит» над гипсовой ногой...

– Пусть она рисует, мы можем отлично поговорить...

– Расскажите о себе и начните с самого начала, – говорю в полной уверенности, что у художницы, как у большинства из нас, есть готовая концепция самой себя. И с удивлением узнаю, что подобного не имеется.

– Я сама себя не понимаю, а вы хотите разобраться, – говорит она несколько растерянно, и я чувствую, что это серьезно и еще что это отсутствие где-то станет для меня присутствием – уликой, подтверждающей еще не созревшие выводы.

Просматриваю альбом работ и вспоминаю, что видел его несколько лет назад, вспоминаю и оставшееся тогда впечатление, что передо мной талант недюжинный... Но почему же это выветрилось из памяти, оттеснилось впечатлениями более поздних работ? Не потому ли, что и мое представление (концепция) о художнике оказалось не целостным?

– И все-таки когда вы начали рисовать? Я знаю, что ваш отец был известный художник.

– Никогда не начинала, это всегда было со мной.

Как подобает современному интеллигенту, Мирьям свободно и открыто говорит на любые темы, не смущаясь щекотливыми вопросами, и все же самые важные вещи я узнаю случайно. И поскольку это не есть намеренное сокрытие, то, по существу, речь снова об отсутствии или сбивчивости самоконцепции. Внутренний мир художницы не нашел понятийного языка (о художественном пока не говорю), он, пожалуй, слишком отдален от внешнего – лицевого.

Мирьям полностью поддерживает то из моих предположений относительно «Лота», согласно которому никакая это не вакханалия – шутка и повод полепить обнаженную фигуру... и порисовать (я не упомянул, что на выставке была представлена и серия рисунков: те же образы, но рисунок как бы оставлен на первой же стадии работы – набросочнее, первичнее).

Только к концу, когда я собрался уходить, художница замечает вскользь, что прототипом ее «Лота» послужил конкретный человек. (Что дочери «Лота» – это она, Мирьям, художница, так же вскользь заметила раньше.)

– Вся эта серия – «послесловие к роману», который был с прототипом, роману, от которого надо было освободиться.

– И вы этого мне не сказали? Значит, серия – далеко не просто упражнение в лепке и рисунке! А почему «Лот»?

– Он был намного старше меня.

– А почему, собственно, избавиться, расстаться?

– Это стало меня слишком захватывать, поняла, что надо расстаться с ним или с собой.

Или другой эпизод нечаянного откровения:

– Искусство во мне не начиналось, оно было всегда, я впитала его с атмосферой отчего дома, ибо то была атмосфера искусства.

Потом где-то вдруг оговорка:

– Только что сказанное верно лишь в отношении рисунка: рисунок мне ближе, он во мне, с ним я свободна...

Скульптура же имела начало четкое и даже сравнительно позднее.

– Отец умер, когда было мне 7 лет. Мать была намного моложе отца, но умерла спустя год.

Этой страшной «подробности», будучи знаком с Мирьям не первый год, я не знал, ясно, что натыкаюсь тут на краеугольный камень биографии человеческой, творческой. Но как это отразилось в творчестве? В нем начисто отсутствует трагизм.

И еще пример: когда мы говорили о языческом гедонизме и оптимизме работ Мирьям, она замечает, что все это имеет мало общего с ее действительным мироощущением, в котором царит чуть ли не ужас.

– Как, отчего, почему... чего не хватает, успех на профессиональном поприще и личном...

– Остаться в семь лет без отца... Скульптура? Да, я начала заниматься ею в 14 лет, то была попытка противостояния...

– Кому?

– Окружающие были слишком уверены, что я пойду по стопам отца-живописца, а я взяла и поступила в Мухинку на скульптуру.

Вот и здесь мое сознание нащупывает некую опорную точку.

– Скульптура по сей день мне менее близка, – говорит скульптор, и невольно выговаривается вопрос: почему же это ваша профессия? Рисуйте...

– Рисунок как-то принято считать чем-то сопровождающим.

Листая альбом, обращаю особое внимание на работы давние, которых не видел. Вот монументальные рельефы из бетона, сделанные сразу после института. Фигуры тружениц грубоваты, но уже здесь нечто свое, некая броская округлость форм, вносящая ноту живой чувственности в стандартные схемы. Потом идет «медный век» – много декоративных работ из медного листа. Вот группа великолепных масок для какого-то

кафе в Союзе. Мне нравится непредсказуемость их деформаций, «ужимок и прыжков» формы, когда смешное, уродливое и красивое – вместе. Потом серия декоративных рельефов из меди же для различных интерьеров и экстерьеров – опять же очень известная стилевая схема, широко распространенная в советском искусстве конца 60-х – начала 70-х. Мирьям всегда удается эти схемы «овкусить», прочувствовать, вымерить силуэт пятна на стене в его отношении к архитектуре, найти соотношения сдержанных цветов. Ее молоток обрабатывает медь до тех пор, пока металл не обратится в нечто живое, движущееся, органическое – контрастное архитектуре. Примерно то же можно сказать о «круглой чеканке»: лист меди согнут, смят, сварен в подобие рулона-фигуры, молоток лишь слегка касается материала, чтоб доказать свое оживляющее присутствие, чтоб материал победить, дав ему органическое инобытие.

Потом неожиданная серия работ, выполненных уже в Израиле. Огромные полотна трикотажной ткани натянуты меж деревьями-ветвями, создают причудливые бегущие формы. Это «крестианство» (Кристо). Попытка приспособиться к местным нормам мне лично если о чем и говорит, то только об упомянутой нечеткости самоконцепции художницы. Помню и другие абстрактные композиции Марьям Гамбурд. Все грамотно, чувство формы ей не изменяет, но мне это кажется слишком явной данью окружению, где-то изменой себе, и потому не интересно.

Последние работы – резкий возврат к реализму, и это утверждает меня в скептицизме относительно упомянутых абстракций. Вот ученица кладет карандаш, урок окончен, и мы прощаемся. Уезжаю, забавной озадаченный проблемой: объединить противоречивые впечатления и свести логической связью. Это как шахматная задача, только интересней, фигуры на доске-досках не мертвые.

И через неделю, набрав номер:

– Не хотите ли услышать диагноз?

– Ах, это вы о статье? Забавно, валяйте.

Начав с крылатой фразы Дарвина, имел я в виду конкретную сферу. Дело в том, что, придя к своим «историческим выводам» о необходимости опоры на объективные методы исследования искусства, принужден был я принять идею Ж.-П. Сартра о целесообразности объединения марксизма с

фрейдизмом для эффективного анализа сферы духа. Объективизм обоих методов в том, что оба они предлагают внешнюю и вместе существенную меру искусства, предполагают проекцию художественного явления в плоскость социально-экономических отношений (и наоборот) или опять же взаимопроекцию искусства и глубинных сфер психологии.

Ну, как тут было не пожалеть, что в школе-то учили мы Маркса «обесфрейденного». Не только теоретические изыскания заставили меня вспомнить о фрейдизме в этой статье, но и сам исследуемый материал. Тогда, в первое посещение выставки Мирьям Гамбурд, рассматривая разнообразные комплексы фигур под стеклом и без, задал я себе вопрос: уж не эдиповы ли они, все эти комплексы, или как там это называется у женщин? «Комплекс Электры»?

Э-э, — сказал я на сей раз не под Дарвина, а под Добчинского, — это интересно исследовать.

Я позволяю себе затронуть щекотливую тему только потому, что еще «до того» позволил себе несколько иное (по сравнению с Фрейдом) понимание эдипальных устремлений. Устремления эти, на мой взгляд, являются протоэротическими (квази, псевдо...), но они не являются эротическими в собственном смысле слова. Мэтр все объяснил сексом, но он почти не объяснил секс (основные понятия теории не объяснимы из нее самой). Поэтому в данной части многое остается неясным. Все же создатель психоанализа выдвинул, а его последователи развили основополагающую идею: эрос как стремление вернуться к некоему изначальному и утраченному единству. В этой связи Фрейд указывает на миф о двуполом существе — состоянии жизни, которое якобы предшествовало разделению полов. Вот я и думаю, что это стремление (к утраченному единству) на каком-то этапе обретает сексуальную форму, но из этого не следует, что оно на всех этапах сексуально, что ребенок действительно испытывает сексуальные чувства к родителю. Зерно прорастает в колос, и есть меж ними соответствие, но не тождество. Так и сексуальное чувство произрастает из своего зерна, которое, однако, само по себе не является эротическим (может, эту первооснову следовало бы назвать «транслибидо»?). То, что психоанализ не провел качественного различия меж чувствами ребенка и взрослого, — досадная ошибка, мешающая пациенту и психологу. И вот, освободившись таким образом от ненужных морально-эти-

ческих химер, мы сможем-таки что-то понять или хотя бы задать себе полезные вопросы.

«Изначальное единство» всегда преисторично, ибо человек, чью «историю» мы хотели бы понять в том единстве, еще не определился – не родился. Рождение – это и есть катастрофа разрушения изначальной гармонии, изгнание из лона матери, из рая – лона Божья, парадокс жизнеутверждения и трагедии. Отныне будем мы пожизненно нестись вперед с заветной мечтой вернуться назад – к началу. Вот тут и определяется эрос в его метасущности и с его выраженным, простите, движением вперед-назад... Это псевдорегрессивный блуд, неосуществимое стремление вновь и вновь войти в ту же реку, он создает много новых единств: совокупление, семья, дети... но то одно изначальное – невозвратно. Секс – замена, но не тождество истинно регрессивного стремления в родимое лоно, в растворенность, где бытие и небытие гармонично слиты. Такова общая схема, и нам остается спроецировать на нее (или наоборот) конкретные факты вашей биографии.

Первые семь лет вашей жизни – это и есть, в общем, «изначальное единство» – эдем отчего дома. Изгнание совершилось без всякого грехопадения, страшно резко, катастрофа отделения-рождения была слишком преждевременной. Это и придало особую остроту и перманентность конфликту меж самоопределением и саморастворением в презкзистенции эдема. Естественное медленное созревание самостоятельности, буквально пресеченное, в глубине своей остановилось как бы на первом и оцепеневшем крике. Развитие, конечно, продолжалось «в верхних слоях» сознания.

Рисунок оказался живой частицей и символом разрушенного отечества, и он остался первичным в своей непосредственности, набросочности как язык детства. Что же касается стилиевой характеристики, то нет и намека на инфантилизм, рисунок классичен, как рисунок отца. Все модернистские тайфуны в данном случае сломать академию не смогли, во всех других случаях это им удалось 100 лет тому...

Скульптура стала символом самоотделения-самостоятельности, но больше в глазах окружающих; она так и не стала органичной частью вашего существа. По вашему же признанию, лепка не идет у вас с той небрежной легкостью, что рисунок. Небрежность формовки, когда полосы стыков, незалитые места оставляются как есть, – все это призвано

снять напряжение процесса лепки, компенсировать недостающую ему легкость. В пришедшей извне и для «вне» предназначенной скульптуре четко прослеживается влияние внешних же клише, советских и западных. Внутренним, органичным оказывается выраженная чувственность, я сказал бы даже, женственность формы. Это, конечно, та чувственность, что более открыто (и более литературно) проявилась в «Лоте». У «Лота», как я понимаю, есть два прототипа.

Присутствие эдипально-электрического напряжения в вашем искусстве представляется мне вполне очевидным, но, пожалуй, более интересным с точки зрения психологической и художественной представляется не сам «комплекс», а одно из его следствий-аспектов.

Чувственность и женственность!

В «Лотосерии» они совместились более откровенно, чем в прежних работах, и оказалось, что более чувственны именно женские образы, как говорилось, автопортретные. Вот и сейчас вижу я у вас на станке большую восковую фигуру, в которой нетрудно угадать развитие того же «автообраза», и на сей раз он «пролеплен» куда более основательно. Сидящая женщина в момент съятия последней одежды. Одежка намеком, так, что фигура полностью обнажена. Формы текуче округлые и вместе сильные, экспрессивные. Поверхность гладкая, что вносит в работу оттенок натурализма и особенно эротизма. И опять же не только фигура обнажена – перед нами голый, не прикрытый схемами реализм, близкий натурализму. Не знаю, чаянно или нет, но пропорции слегка нарушены в духе первобытных венер: таз широк, верхняя часть сужена. И не только реализм здесь раздет – раскрылась, пожалуй, та ускользающая «самоконцепция», только на неконцептуальном – художественном субстрате.

«Самораздевание» в истории искусств обычно связано с темой купальщиц, но как-то ясно без слов, что не о купании речь, «Лот» – ОН присутствует и здесь, хотя и вынесен «за раму». Я сказал бы даже, что отсутствующее присутствие его ощущается сильнее, чем явное (как в прежней серии). «Лот за рамой» – это, если хотите, формула, и в ней вся суть. Говорите, серия понадобилась, чтобы изжить, расстаться с тем, что начало захватывать и поглощать. От меня не ускользнула, однако, «деталь»: вы были замужем трижды («до того»), и расставание всякий раз происходило по сходным мотивам.

Не сдается ли вам, что это самоизгнание из вновь созданных эдемов – память о том первом трагическом изгнании. Маркс говаривал, что история повторяется дважды: раз как трагедия, второй раз – как фарс, а Платон говаривал, что искусство – «тень тени»; иначе говоря, серия «Лот» – «история» не вторичная – десятичная, не потому ли и обрела форму фарса?

Вообще «аксиома» о том, что искусство-де выражает внутренний мир художника, о вас, Мирьям Гамбурд, разбивается вдребезги. Ваше мироощущение трагично, искусство – как хасидская песня, радостно, оттого что в первичное – в трагедию – ему ход воспрещен. Лот за рамой – истинная и неизбывная реальность. Вот и в тех композициях, где он присутствует, – он всегда поодаль от дочерей, вылеплен грамотно, но чувственность – живая составляющая вашего искусства – здесь как-то и не чувствуется. Мне он кажется менее убедительным, т. е. менее реальным, – он и здесь за рамой. Он созерцает – это они, дочери, изощряются в некоем эксгибиционистском экстазе, активность отдана началу женскому. Лот отсутствует присутствуя, но и присутствует отсутствуя, как в последней скульптуре, где его не видно, но сама фигура увидена его взглядом, так что последний вроде первичней первого. Еще один последний парадокс следует обнажить в сей обнаженной фигуре: поскольку Лот, как мы убедились, и в жизни и в искусстве фатально удален, реально остается «одинокая фигура». А парадокс в том, что преувеличенная боязнь потерять самостоятельность – следствие того, что самостоятельность эта в свое время не успела созреть и осталась внутренне неуверенной, преданность «пресущему» растворенному состоянию чрезмерно сильна. Иначе говоря, недостаточность самостоятельности породила ее же гипертрофию. Может, из этого лучше поймем природу того «витального» качества, которое мне кажется наиболее и характерным, и ценным в ваших работах и которое я именовал общими словами «чувственность», «женственность». Последняя фигура, как говорилось – это «Я», увиденное ЕГО взглядом, и таким образом фигура совмещает в себе «два» начала – два пола (вспомним двуполое божество). Раздвоение весьма характерно для всякого уединения: целое выступает как таковое вовне, изнутри оно множественно. Таким образом *особенная ваша чувственная женственность, женственная ли чувственность – результат внутреннего раз-*

двоения, спиритуалистического самосозерцания его, неотвратимо отсутствующего Лота, глазами.

Да, я, гляжу, сильно насмешил вас своим психоаналитическим детективом, вы не принимаете его всерьез? Я тоже! Можно ли доказать? Наивный вопрос, в этом мире ничего доказать нельзя, можно принять: поверить или нет. И кто вообще сказал, что следует верить художественную критику или философию искусства самим искусством?! Не больше, чем ваш рисунок – натурой, которой вовсе-то и не было. Разве нет у этого рода литературы своих внутренних ценностей? Связать как можно большее количество фактов как можно более единой концепцией – вот ценность и вот закон жанра. Реальность же бесконечно шире любого количества фактов, которое мы способны осмыслить, всегда оставляет место для бесконечных интерпретаций. Потому и я предан своему психо- или просто аналитическому методу, что вместо того, чтоб скормливать читателю ли, художнику готовые оценки, я провоцирую его, оттолкнувшись от моих рассуждений, строить свою концепцию, всегда отличную от моей, концепцию, в которой важен-то будет тоже не результат, а процесс.

1988

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue,
New York, N. Y. 10018

Старейшая русская газета за границей

Выходит ежедневно

Об условиях подписки спрашивать в редакции

Литература и время

Борис Парамонов

ГОРЬКИЙ, БЕЛОЕ ПЯТНО

1

Парадоксальна судьба Горького: классик советской литературы, больше того – ее основатель, не читается никем, кроме принуждаемых к тому школьников. Читают его школьники, а пишут о нем – диссертанты*. «Он был очень мертвый», – сказано где-то у Хемингуэя; кажется, что Горького постигла та «вторая», и окончательная, смерть, от которой уже нет воскресения; похоже, что действительно наступил «конец Горького», впервые провозглашенный (Д. Философовым) в 1907 году. Вспоминают о нем только в юбилейные дни, причем от юбилея к юбилею – тоном всё ниже. Сейчас (март 1988), в 120-летие со дня рождения, «Литературная газета» поместила статью прямо-таки извиняющуюся: мол, не всё уж у Горького и плохо. Вспоминают всё реже и реже – и как-то, можно сказать, унижающе, в чисто ассоциативной связи с другими: так, недавно вспомнили потому, что встал вопрос об издании академического М. Булгакова; помилуйте, какой Булгаков, когда у нас и Горького академического нет!

В подобных жалобах содержится немалый элемент лукавства. Трудности с изданием полного Горького – отнюдь не научного порядка. Его полное собрание было задумано в 1968 г. в трех сериях, и первая – художественные произведения – давно уже закончена; застряли вторая и третья серии – публицистика и письма.

Это жаль, потому что именно здесь находится настоящий Горький, знакомство с которым было бы крайне интересным. Ибо публицистика Горького и «неформальная» его переписка намного интереснее всего – или почти всего, – что он написал в «первой серии», в художественном плане.

* В эмиграции серьезно заниматься Горьким начал М. Агурский.

Интересно то, что горьковская публицистика – «нецензурна» целиком, вся, всех периодов и настроений. Советский читатель знает понаслышке, что есть какие-то «Несвоевременные мысли», страшно антисоветские, и вот, мол, из-за них-то и задерживается издание полного Горького. Конечно, отчасти это так; но «Несвоевременные мысли» – все-таки пустяк по сравнению с тем, что написано им в статьях 30-х годов: попробуйте-ка сейчас перепечатать, к примеру, панегирики тов. Ягоде! Но Горький и до революции такое писал, что объяснить и подать написанное в нынешних терминах очень и очень затруднительно. Возьмите хотя бы статью 1915 г. «Две души» – и дайте ее почитать нынешним «деревенщикам»: они тогда не только переименуют Горький в Нижний Новгород, но и сожгут особняк Рябушинского на Никитской, со всеми его параферналиями. А эпизод с «богостроительством»? Даже и «Заметки о мещанстве», нападающие на Толстого и Достоевского, как-то сейчас неудобны...

Между тем, повторяю, если Горький чем-то и интересен ныне, то не столько художественным своим творчеством, сколько мыслью своей, *типом мысли*. Оговорюсь: я отнюдь не считаю его плохим писателем, – но важен он главным образом как *духовный тип*. Читая его, начинаешь понимать, если не отчего революция произошла, то о чем она. Горький – представитель, не меньше чем Платонов; и в сущности, писали они – об одном. Но именно в рассказах и романах Горького главная его тема не отразилась. Горький – «народен», на нем можно изучать, как преломились в сознании народных низов некие высокоумные теории.

2

Хотя «Несвоевременные мысли», как это ни странно, не открывают ничего принципиально нового человеку, читавшему, допустим, 30-томник Горького начала 50-х годов, всё же на примере этой вещи, на малом ее пространстве и в узких, не более года, хронологических рамках, легче и удобнее всего зафиксировать социалистический комплекс Горького. Прежде всего любопытно в книге следующее: то, что полемику свою с революцией Горький начал совсем не в октябре 17-го года, а чуть ли уже не в феврале. Сама Февральская рево-

люция вызвала у него весьма мрачные предчувствия – отнюдь не иллюзии. До сих пор такое необычное отношение к Февралю мне встречалось только у одного человека – у Бердяева. Но ведь они были во всех отношениях антагонистами; и действительно, у Горького не найдешь ламентаций по поводу того, что в русской революции не было пафоса личности, пафоса Декларации прав, как жаловался Бердяев, именно в этой негативной характеристике усматривая основания для беспокойства. У Горького все опасения – за «демократию», понимаемую в смысле совокупности общественных низов, народного тела страны, термин «демократия» не имеет у него отношения к типу общественного устройства; иногда, впрочем, термин сужается до «социалистического пролетариата». Угрозу, созданную Февральской революцией, Горький усматривает в развязанной ей *анархической стихии*, готовой снести хрупкое здание русской культуры. В подчеркнутых словах сосредоточен в основном упомянутый горьковский социалистический комплекс; социализм для него – цивилизирующее, европеизирующее, активизирующее страну начало. И на страницах «Несвоевременных мыслей» большевики прямо и непосредственно отождествляются с этой анархической, противокультурной стихией – еще задолго до Октября. В октябре Горький отнюдь не поменял позицию и не развернул орудия – он просто убедился в правоте своих предчувствий, в точности революционного прогноза.

Для Горького, однако, совершенно неприемлема мысль о том, что источник революционной анархии – в самой революции, или, скажем, в идеях политической свободы, пущенных в окопы войны, или, чего уж он совсем не может представить, – в социалистической идеологии. Для него указанная анархия – наследие старого мира, «проклятого прошлого», культивировавшего в русском человеке раба; бескультурная и противокультурная анархия – другая сторона рабства. Объективная ценность этих мнений невелика: достаточно, например, указать, что среди этих «анархистов» Горький называет – Столыпина. Но для наших целей важно не то или иное приближение горьковской мысли к истине, а сама эта мысль, в ее антиреволюционной (буквально так!) «несвоевременности». А самое важное – зафиксировать горьковское понимание социализма как начала организующего и связывающего, а не расслабляющего и освобождающего. Более того, тут же, в «Несвое-

временных мыслях», опять звучит старое горьковское пристрастие, которое в свое время дало основание Н. К. Михайловскому отнести Горького не к социалистам, а к... идеологам буржуазии.

Судите сами:

«Я считаю рабочий класс мощной культурной силой в нашей темной мужицкой стране, и я всей душой желаю русскому рабочему количественного и качественного развития. Я неоднократно говорил, что промышленность – одна из основ культуры, что развитие промышленности необходимо для спасения страны, для ее европеизации, что фабрично-заводской рабочий не только физическая, но и духовная сила, не только исполнитель чужой воли, но человек, воплощающий в жизнь свою волю, свой разум. Он не так зависит от стихийных сил природы, как зависит от них крестьянин, тяжкий труд которого невидим, не остается в веках. Всё, что крестьянин зарабатывает, он продает и съедает, его энергия целиком поглощается землей, тогда как труд рабочего остается на земле, украшая ее и способствуя дальнейшему подчинению сил природы интересам человека.

...полемика обязывает к односторонности, поэтому, говоря о грабеже, забывали о культурной, о творческой роли промышленности, о ее государственном значении.

Источник наживы для одних, промышленность для других только источник физического и духовного угнетения, – вот взгляд, принятый у нас большинством даже и грамотных людей. Этот взгляд сложился давно и крепко, – вспомните, как была принята в России книга Г. В. Плеханова „Наши разногласия“ и какую бурю поднял „Иоанн Креститель всех наших возрождений“ П. Б. Струве „Критическими замечками“»*.

Интересно здесь, между прочим, сочувствие Горького П. Струве, главе «легальных марксистов» 90-х годов, человеку, говорившему о самоценности капиталистического развития, о культуротворческой силе капитализма. Подобные горьковские симпатии и дали основания Михайловскому счесть его мировоззрение – сказавшееся хотя бы в «Фоме Гордееве», где самый яркий образ – толковый купец Яков Маякин, – буржуазным.

* Максим Горький. Несвоевременные мысли. Париж, 1971, стр. 129, 57.

Для оценки «Несвоевременных мыслей», для понимания того, что эта книга не экстраординарная, а типичная у Горького, стоило бы вспомнить его еще дореволюционную статью «Две души». В ней он свои излюбленные ценности – активное отношение к жизни и пафос труда – связывает с европейским строем души, противопоставляя ему характерные для русских и для Востока вообще анархизм, безволие, пассивность, созерцательность.

«Восток, как известно, является областью преобладания начал эмоциональных, чувственных, над началами интеллекта, разума; он предпочитает исследованию – умозрению, научной истине – метафизический догмат. Европейец – вождь и хозяин своей мысли; человек Востока – раб и слуга своей фантазии. (...)»

Демократия должна (...) научиться понимать; что дано ей в плоть и кровь от Азии с ее слабой волей, пассивным анархизмом, пессимизмом, стремлением опьяняться, мечтать, и что в ней от Европы, насквозь активной, неутомимой в работе, верующей только в силу разума, исследования, науки»*.

А теперь еще раз обратимся к «Несвоевременным мыслям»:

«Если я вижу, что моему народу свойственно тяготение к равенству в ничтожестве, тяготение, исходящее из дрянненькой азиатской догадки: быть ничтожным – проще, легче, безответственной, – если я это вижу, я должен сказать это.

Если я вижу, что политика советской власти „глубоко национальна“ – как это иронически признают и враги большевиков, – а национализм большевистской политики выражается именно „в равнении на бедность и ничтожество“ – я обязан с горечью признать: враги – правы, большевизм – национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов»**.

Мировоззренческий комплекс Горького, таким образом, дополняется еще одной крайне важной чертой: Горький – западник, должно быть, самый пылкий из всех бывших в нашей литературе и общественной жизни. С большевиками в 1917-18 гг. он воевал потому, что учуял в них «националь-

* Журнал «Летопись», 1915, № 12, стр. 123, 134.

** «Несвоевременные мысли», стр. 172-173.

ное», русское начало: апелляцию к антикультурной стихии, «игру на понижение» как национальное качество – некий дух небытия, сказавшийся в этом принижающем эгалитаризме, в установке на социальную энтропию. И никаких других оснований для полемики с Лениным и большевиками у него не было.

Стоит ли говорить, что в этом случае Горький действительно крупно ошибся? Указать на эту ошибку – совсем не значит признать правоту всего того, что писали по этому поводу в бесчисленных советских «исследованиях» о Горьком, – не значит, короче, стать на точку зрения Ленина. Но Горький, старый социалист, не понял того, что сумели понять, к примеру, молодой Эренбург или Замятин в «Мы»: пафос большевизма – не разрушительный, а организационный, строительный, проективный; не менее, чем Горьким, большевиками владеет мифология «борьбы с природой» как конечное задание культуры. Анархия, которую Горький видел в то время на улицах Петрограда или в русской деревне (а главный его страх – перед «азиатским» крестьянством), была не стратегией, а тактикой; как писал тот же Эренбург в «Хулио Хуренито», крестьянские страсти были всего лишь топливом для паровоза, идущего строго по рельсам. Горьковский социалистический горизонт был затемнен тем простым фактом, что революция побила или загадила слишком много фарфоровых ваз, до которых он был большой охотник – ибо, как всякий самоучка, склонен был в культуре больше всего ценить ее материальный состав.

В. Шкловский писал в 1926 г.:

«У него развит больше всего пафос сохранения, количественного сохранения культуры, – всей.

Лозунг у него – по траве не ходить.

Он сам писал об этом, говоря о садовнике, который во время революции сгонял солдат с клумб...

...Академик для него фарфор с редкой маркой. И он согласен разбиться за этот фарфор»*.

Будущий «социалистический реализм» вырос из любви к этим фарфоровым вазам – из отождествления культуры с ее материальным субстратом. Горький однажды рассказал, как читал в детстве «Простую душу» Флобера: потрясенный про-

* В. Шкловский. Удачи и поражения Максима Горького. «Зак-
ника», 1926, стр. 8, 13.

читанным, трогал и щупал страницы книги, пытаясь чувственно ощутить магию ее воздействия.

3

Уже из вышесказанного можно было заметить, что в «социалистическом комплексе» Горького отсутствует индивидуализм – как представление о самоценности человеческой личности. Собственно, социализм – по определению, этимологически – исключает такое представление; другое дело, что в России борьба с самодержавием и социалистическая агитация незаметно срослись, что создавало впечатление о социализме как о «царстве свободы», а свобода – и психологически, и логически – связана с правами личности, то есть опять-таки с этого рода социологическим индивидуализмом.

Были, однако, критики, которые, понимая всю несовместимость метафизики социализма с идеей свободы личности, пытались противопоставить Горького социализму как раз по этой линии – находя в его творчестве ярко выраженный индивидуализм. К числу таких критиков принадлежал Д. В. Философов, человек из круга Мережковского, вообще отличавшегося очень благожелательным отношением к Горькому. Философов усмотрел начало индивидуализма, апофеоз свободной личности в знаменитых горьковских босяках.

Вот несколько высказываний Философова:

«Не быт сущность дарования Горького, а личность... Пробуждение личности, ощущения себя как чего-то первичного, особенного, неразложимого, ничему в корне своем не подвластного, – вот идейная основа „босячества“... Как художник, он бессознательный анархист, но как гражданин земли русской – он убежденный социал-демократ... Он даже не увидел трагической, непримиримой антиномии, составляющей сущность его творческой личности. Его босяк незаметно превратился в социалиста, как будто это превращение естественно и органично, как будто мирозерцание босяка соединимо с мирозерцанием социалиста, как будто здесь нет непреходимой пропасти, вековой загадки, которую человечество не разрешило и до сих пор»*.

* Д. В. Философов. Слова и жизнь. СПб., 1909, стр. 53, 58, 52.

«Конец Горького» — а эта формула как раз Философову принадлежала — он усматривает в мировоззренческом тупике, в который завел яркого индивидуалиста Горького его теоретически исповедуемый социализм.

Трудно не согласиться с Философовым в том, что догматы социалистической метафизики непримиримы со свободой — не только персональной, но и общественной; но столь же трудно понять, почему в Горьком видели певца личности, а в «боссяках» его — апофеоз таковой. Как могли посчитать певцом личности автора «Заметок о мещанстве» (впрочем, надо сказать, что был один человек, сразу же заговоривший о «некультурной и грубой душе» Горького, — Бердяев). Ведь «мещанами» — надолго с тех пор дискредитировав и затемнив этот совершенно нейтральный (а то и позитивный) социологический термин — Горький называл как раз индивидуалистов, Толстой и Достоевский у него «мещане» потому, что они уходят от социальной плоскости на духовную глубину, в социально неотчуждаемые слои индивидуального духовного опыта; «мещанством» Горький называет установку, которую сегодня бы назвали экзистенциальной. Более того, самому этому индивидуализму Горький находит социологическое, и только социологическое, объяснение. В январе 1912 г. он писал Иванову-Разумнику (одному из немногих сомневавшихся в горьковском «индивидуализме»):

«Ваш „имманентный субъективизм» мне кажется типичным русским индивидуализмом, а он, на мой взгляд, тем у нас на Руси отвратителен, что лишен внутренней свободы: он никогда не есть результат высокой самооценки своих сил, ясного сознания социальных задач и уважения к себе как личности, — он всегда вынужденное, воспитанное в нас тяжелой историей нашей пассивное желание убежать из общества, в недрах которого русский человек чувствует себя бессильным... индивидуализм, восходящий всегда до нигилизма и отрицания общества» (29, 218)*.

И, возражая против участия Иванова-Разумника в одном литературном проекте, Горький говорил, что ему кажется подозрительным подчеркивание первым той мысли, что со-

* Ссылки на 30-томник Горького начала 50-х годов, в котором довольно полно собрана его публицистика, а также представлены письма, будут даваться в тексте, с указанием тома и страницы.

циализм в потенции своей – «мещанское царство» (29, 219). Термины, таким образом, берутся Горьким в противоположном их первоначальному смыслу значении: мещанство – это индивидуализм, а конформизм, сытость «окончательно устроенного» обывателя социалистического хлеба – это не мещанство. (Сейчас, после всех наших опытов, с трудом уже верится, что расхожее представление о социализме в начале века было именно таким: социализм – это общество абсолютного материального изобилия, решившее «экономический вопрос», но позабывшее о духовности; за это его и критиковали «идеалисты».) «Социалистическое отчуждение личности» у Горького – несомненно, ему и в голову не приходит, что человека нельзя редуцировать к его «общественной сущности».

Казалось бы, Философов о том и говорит, что искусство Горького противостоит его теоретическим убеждениям, что художник в Горьком выше мыслителя и пр. Но, приглядевшись к тем же босякам, нельзя не увидеть одного: в босяках Горький воспевал отнюдь не свободу – он воспевал в них силу, тот самый активизм, который направлен у него против личности. Босяк – активный тип, человек, выбившийся из быта, из сложившихся социальных связей, из жизненной данности, это сила, ищущая себе применения, а отнюдь не борец за права человека. В повороте от анархического босячества к идее социалистической организации эта сила находила точку своего приложения – и свою рационалистическую мотивировку, и в этом повороте не кончался, а начинался подлинный Горький.

То, что позднее советские критики, писавшие о босяцком цикле, называли «революционным романтизмом», в свое время называлось «босяцким нищезанятием» Горького. Вообще Ницше занял удивительно много места в духовном обиходе Горького, причем худшая из его идей – культ силы, понятый Горьким слишком уж в лоб, без грана той иронии, которую Томас Манн считал столь необходимой при чтении Ницше. И не только к босякам приспособил его Горький, но и к деятельным буржуям своим (именно таков Яков Маякин), и даже, позднее, использовал Ницше для активизации марксизма (это уже под влиянием Луначарского). Подчас Горький сбивается к апологии пресловутого «белокурого бестии», и тогда простецкое его творчество начинает отдавать тем «сти-

лем модерн», над которым смеялись у него умные критики: первый признак героини-модерн – зеленые глаза, и таковыми наделил Горький свою Мальву. И как раз среди женских персонажей (раннего) Горького находим мы некий аналог «белокурого бестии»: это, конечно, Варенька Олесова из одноименной повести. Эта вещь, кстати, любопытна своей антиинтеллигентской заостренностью: важная деталь в духовном складе завтрашнего культуртрегера, «пономаря культуры» (Троцкий). Горький, по-видимому, стыдясь владеющего его сознанием (подсознанием – ?) обаяния силы, пытался замаскировать ситуацию, переуступая эту силу своим женским героиням; в этом отношении крайне интересна «Васса Железнова» (первой редакции). Тогдашние критики не могли понять, возмущается он или восхищается своей героиней-преступницей, которая в то же время «растит сад» (не говоря уже о том, что ведет «дело»). «Строитель» и «преступник» располагаются рядом друг с другом у Горького, подчас даже это один тип...

4

У Горького есть малоизвестная, десятых годов, пьеса «Чудаки», провалившаяся на первом представлении и с тех пор не возобновлявшаяся на сцене. Между тем эта вещь достаточно интересна, если брать ее не в изолированном эстетическом ряду, а в контексте горьковской биографии. В этом смысле у писателя не бывает вещей случайных, как не бывает ничего не значащих снов. Главный герой пьесы – молодой, но уже знаменитый писатель Мастаков – сам Горький, конечно, тем более, что и говорит он всё время цитатами из Горького. И что же он цитирует? да всё из того же ницшеанского цикла; так сказать, белокурый бестия на подмосковной даче, среди комаров и самоваров. Человек, упоенный успехом, удачливостью, попросту – брожением жизненных сил, возводит элементарную физиологию в ранг философии. Мастаков настолько влюблен в себя, что ни на секунду не сомневается в своем праве завести что-то вроде гарема – и даже начинает заманивать в таковой некую невесту, только что закрывшую глаза умершему от чахотки жениху. Само собой разумеется, что этот жених за человека не считается – как раз по причине чахотки (та же ситуация – в рассказе «На плотях», который понравился

Чехову). Здесь вовсе звучит горьковская печально знаменитая тема ненависти к страданию, осуждение жалости – много лет спустя нашедшая очередное выражение в письме к К. Федину, в словах о рысаках и клячах: то есть, что его, горьковские, симпатии на стороне рысаков и что такую позицию диктует ему биологический инстинкт силы (см. 29, 458). Конечно, это и было «босаяким нищенством»; если Альберт Швейцер, к примеру, извлек из Ницше «этику благоговения перед жизнью», то Горький усвоил из него только одну формулу: падающего толкни.

Павианья жизнерадостность Мастакова из «Чудаков» не должна смущать нас, когда речь заходит о другом горьковском Мастакове – герое пьесы «Старик». Хотя последний, казалось бы, – весьма солидный мужчина, но по существу это близнецы, а еще лучше сказать, что второй Мастаков такой же сколок с горьковской философии, как и первый. Это уже упоминавшееся тождество «преступника» и «строителя». Нужно объяснить: под «преступником» здесь имеется в виду человек, не ограничивающий себя моральными лимитами, вроде жалости к несчастным и милости к падшим; человек, преодолевший, так сказать, абстрактный морализм простым фактом биологической силы. Но и «строитель» у Горького как раз такой же человек – ибо это человек прежде всего *сильный*. То, что я здесь называю «строительством», точнее было бы назвать чистой культурой активизма, «волей к власти», если угодно: принцип, не менее нормативный, чем абстрактная мораль. Симптоматично это наделение двух ипостасей горьковского мировоззрения одной фамилией; а если это описка и забывчивость, то тем более интересно: бессознательное никогда не ошибается.

Но если первый из Мастаковых, в «Чудаках», резвится на дачном просторе, наслаждаясь популярностью у интеллигентных дамочек средней руки, то Мастаков из «Старика» встречается с врагом, и этот враг одерживает над ним победу. «Старик» вообще пьеса серьезная – не легкомысленный автобиографический скетч. Второй Мастаков гибнет, сталкиваясь с враждебной ему стихией морализаторства, прикрывающего низкие чувства зависти и мести, – то, что тот же Ницше называл *ressentiment*.

Неправильно осужденный, Мастаков попал на каторгу; сбежал оттуда, стал удачливым промышленником, «строи-

телем», – и вот через много лет его настигает Старик – бывший сокаторжанин, досидевший свой срок до конца. Начинается шантаж, причем не имеющий никакой, так сказать, корыстной цели: это именно противостояние успеха – и морали, силы – и слабости. И слабость побеждает силу – как христианство у Ницше победило прекрасный мир античности; в русской проекции, это Евгений, одолевший наконец-то Медного Всадника. А если хотите – и революция, на своем пути от Февраля к Октябрю разбившая тысячи фарфоровых ваз... Вот исчерпывающее воплощение горьковского комплекса: ощущение слабости и «морали» как разрушительной противокультурной силы, дискредитация «униженных и оскорбленных» и, наоборот, реабилитация вполне «западных», буржуазных, так сказать, идеалов предприимчивости, удачливости, силы. Россия – это страна, в которой традиция жалости к «малым сим», психология «кающегося дворянства» грозят убить слабые зачатки европейской культуры – такова суть горьковского западничества.

5

Нет сомнения, что для многих – если не для всех – наших западников указанная формула звучит как нельзя естественней: давно уже стало понятно – задолго до революции, в «Вехах» хотя бы, – что «народническое мракобесие» (формула Бердяева) – тяжкая болезнь русского духа. И уж совсем банально звучит, что бороться за нужды народа – не значит разделять предрассудки народа. То, что Горький сумел не поддаться обаянию народнического мифа, – немалая его заслуга или, скажем так, громадное преимущество его живого (не книжного) опыта. «Мужички за себя постояли», – усмехался Достоевский – и тут же складывал сказку о мужике Марее. Но миф Достоевского не только крестьянский, он вообще об «униженных и оскорбленных» – при полном, надо сказать, понимании, что «маленький человек» в сущности свинья; это Лев Шестов в «Апофеозе беспочвенности» так резюмировал народолюбие Достоевского, и правильно делал. Кто такой Фома Опискин, как не «маленький человек» и не «страдающий брат»? однако сумел же Художественный театр осенью 17-го года увидеть в нем – большевика! Шестов идет

еще дальше – высматривает психологические корни этого народолюбия: Достоевский в народе любил *преступников*, каторжан – и не за то, что они страдают при отсидке, а за то, что осмелились и *преступили*. Настороженное (это эвфемизм, конечно) отношение Горького к Достоевскому оправдано постольку, поскольку он, человек непосредственного и громадного опыта, сомневается в гуманитарных мифах Достоевского. Один из них – Сонечка Мармеладова; а Горький знал и писал, что проститутка – это грязное, пьяное и злое существо. Кому прикажете верить? У Горького как раз потому, что он вышел из «народа» (во всяком случае не из культурного меньшинства), отсутствовало априорно сентиментальное отношение к этой теме – как, между прочим, и у другого подлинного «демократа», Чехова: одним из первых («Новая дача») Чехов начал разрушать народнический миф о мужике. И если мы припомним при этом, что народнические мифы в свою очередь берут начало из мифа славянофильского, – то вот это элементарное западничество Горького предстанет как будто действительно оправданным.

Да и настолько ли «элементарно» это настроение? Разве не та же нота звучит, допустим, у рафинированного европейца С. Моэма, когда он говорит, что жизнь научила его не доверять страдающим и несчастным и что успех, а не страдание делает человека лучше – терпимее, шире, добрее? Получается, что соответствующие мысли Горького нельзя не приветствовать.

Не было, однако, в Горьком той культурной легкости, того просвещенного скептицизма, которые, позволяя постукивать молоточком по медным башкам кумиров, в то же время не превращают человека в неистового молотобойца. Горький, прочитав Ницше, подумал, что «философствовать молотом» – значит и в самом деле проламывать головы. Разоблачая одни мифы, он тут же строил другие, ибо был он человеком «верующим» – нуждавшимся в вере, в заполнении той пустоты, которая и есть знаменитое «ничто»: сознание и свобода. В мифоборчестве Горького основная эмоция не скепсис, а ненависть. Он вроде Белинского: по природе своей жид и с филистимлянами за один стол не сядет.

Первым объектом горьковской ненависти, как со страхом увидели народнические критики, бывшие еще в силе ко времени горьковских дебютов, стал всё тот же мужик: то ли бого-

носец, то ли прирожденный социалист. За босяка как «протестующую личность» либеральная критика ухватила именно потому, что ухватиться у Горького было, кроме этого, не за что; а босяк – тот хоть в лохмотьях ходил и, значит, каким-то привычным стереотипам униженного и оскорбленного соответствовал. В битье же стенок и скул, даже и в воровстве, усматривали революционную потенцию.

Тут вот чего еще не следует забывать. С Горьким носились не только народники и марксисты, но и тогдашняя элита, интеллектуальные и художественные сливки, – круг Мережковского, к примеру. Более того, его успех совпал по времени с появлением пресловутого «декаданса» – и вот сюда-то стали зачислять и Горького. Он воспринимался отчасти в линии антипозитивистской и иррационалистической литературы начала века: лейтенант Глан на русский манер. Из Горького стали делать выразителя стихийного «природного» начала и, соответственно, разоблачителя оторвавшейся от жизненных источников, искусственной, «городской» культуры.

Невозможно сделать большей ошибки, говоря о Горьком. Меньше всего в нем самом того босячества, которое пленило его читателей и критиков. И здесь мы говорим не только о биографических моментах у Горького, но и характер его творчества, его *вдохновений* имеем в виду. Известно, например, что в биографию Горького-босяка не верил Бунин, считал ее придуманной – и был прав отчасти. В словаре Брокгауза и Эфрона говорится о происхождении Горького из среды «вполне буржуазной»; отец его был управляющим большой паровой конторы, мать происходила из семьи богатого купца-красильщика. Эти данные сообщил словарю сам Горький. Еще одна интересная деталь: его дед по отцу был николаевским офицером, разжалованным за жестокое обращение с солдатами.

Что касается творчества, то наиболее толковые критики со временем догадались, что Горький просто-напросто имитирует «босяка», носит маску.

Одним из таких критиков был Корней Чуковский:
«Как хотите, а я не верю в его биографию.

Сын мастерового? исходил всю Россию пешком? Не верю.

По-моему, Горький – сын консисторского чиновника: он окончил харьковский университет и теперь состоит – ну, хотя бы кандидатом на судебные должности.

И до сих пор живет при родителях и в восемь часов пьет чай с молоком и с бутербродами, в час завтракает, а в семь обедает. От спиртных напитков воздерживается: вредно»*.

Далее Чуковский перечисляет некоторые черты его творчества:

«Комнатная философия. – Аккуратность. – Однообразие. – Симметричность.

Вот главные черты горьковских творений, если отвлечь их от их героев.

Вот главная черта самого Горького, как поэта. И читатель понимает, что за аккуратностью его скрывается узость, фанатизм, а за симметричностью – отсутствие свободы, личной инициативы, творческого начала.

Горький узок, как никто в русской литературе...

Итак, вот свойства Горького: симметричность, неуважение к личности, консерватизм, книжность, аккуратность, фанатизм, однообразие.

Словом – как это ни странно, как ни неожиданно! – все свойства Ужа, а не Сокола!

„Идеолог пролетариата“ – и вдруг Уж! Певец босяка – пресмыкающееся! Откуда это? Где общие причины этого странного явления?»**

Это остроумно, но как бы и не всерьез: «критический фельетон». Но у Чуковского есть и другая, вполне уже серьезная работа «Две души Максима Горького» (1916); здесь уже точнее определен смысл, выраженный в явлении Горького:

«Хозяйственная, деловитая Русь, – у нее еще не было поэта, и знаменателен и исторически-огромен тот факт, что вот поэт наконец появился, и там, где доселе была пустота, стали-таки сбегаться, скопляться какие-то крупницы поэзии. Это показательно, ибо в каждую эпоху жизнеспособна лишь та идеология, которая вовлекает в свой круг художество эпохи. Дело Востока проиграно: у Востока нет уже Достоевского, а только эпигоны Достоевского. Нет Толстого, а только эпигоны Толстого. Не наследники, а последыши. Горький же – ничей не эпигон. Он не потомок, а предок. Начинается элементарная эпоха элементарных идей и людей, которым никаких Достоевских не нужно, эпоха практики, индустрии, тех-

* К. Чуковский. От Чехова до наших дней. СПб., б. г., стр. 98.

** Там же, стр. 103, 104-105.

ники, внешней цивилизации, всякой неметафизической житейщины, всякого накопления чисто физических благ, – Горький есть ее пророк и предтеча... Горький пишет не для Вячеслава Иванова, а для тех примитивных, широковейных, по-молодому наивных людей, которые – дайте срок – так и попрут отовсюду, с Волги, из Сибири, с Кавказа ремонтировать, перестраивать Русь»*.

Примерно тогда же сходная тема прозвучала у Мережковского, в его «невоенном дневнике» («Было и будет»), где есть очень сочувственная статья о горьковском «Детстве». «Две души» Горького предстают у Мережковского как «бабушкино» и «дедушкино» начала. Первое – источник всяческой художественности и поэтичности, широкая русская натура; второе – «буржуазное» начало, жесткий характер трудяги и управляющего. Совершенно ясно, что «дедушкина» было в Горьком много больше, чем «бабушкина».

Вообще не лишне еще и еще раз повторить, что горьковская философия лучше всего выражена его Яковом Маякиным, по поводу которого сразу же усомнился в горьковском социализме Михайловский, не понимавший, что социализм не столько освобождающий, сколько организующий принцип. И Горький не имел бы основания ссориться с большевиками, если б чаще вспоминал собственного Маякина:

«Всё!.. Всё делай! Валяй, кто во что горазд! А для того – надо дать волю людям, свободу! Уж коли настало такое время, что всякий шибздик полагает про себя, будто он – всё может и сотворен для полного распоряжения жизнью, – дать ему, стервецу, свободу! На, сукин сын, живи! Ну-ка, живи! А-а! Тогда воспоследует такая комедия: почуяв, что узда с него снята, – зарвется человек выше своих ушей и пером полетит – и туда и сюда... Чудотворцем себя возомнит, и начнет он тогда дух свой испускать... А духа этого самого строительного со-овсем в нем малая толика! Попыжится он день-другой, потопорщится во все стороны и – вскорости ослабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нем... Ту-ут его, голубчика, и поймают настоящие, достойные люди, те настоящие люди, которые могут... действительными штатскими хозяевами жизни быть...»

Об этих словах Маякина Мельхиор де Вогюэ написал следующее:

* К. Чуковский. Две души М. Горького. СПб., 1916, стр. 40-41.

«Да, но если я не ошибаюсь, это чисто яковинская теория: хитрые лисицы только не излагают ее, а применяют с успехом. Действительно, жаль Маякину умирать: он превосходно знает, как стряпаются перевороты и как надо в удобный момент снимать пенку с кипящего народного котла»*.

Слова Маякина – это и есть приговор босячеству – «природе» и «свободе», – вынесенный тем же писателем, что сочинил «Челкаша» и «Мальву».

Горький любил не свободу, а строй, не природу, а «культуру». Культура же для него – укрощение стихий, «борьба с природой» – стандартный лозунг Просвещения. Здесь стоит вспомнить Блока, для которого понятия «культура» и «стихия» – однопорядковы; для Горького же это антитеза, потому что он «культуру» подменяет «цивилизацией» – утилитаристским и плоско рационалистическим перерождением культуры. Блок в «Фоме Гордееве» любил не Маякина, а самого Фому – человека, чующего опасную глубину, таящуюся под каждой лодкой; Горький же, человек, много раз в самом деле тонувший, предпочитал лодку.

6

Но откуда же тогда босяки, откуда Челкаш и Мальва? Уж не от «бабушки» ли? Казалось бы, да, коли здесь концентрируется художественное, поэтическое начало у Горького. И всё же я и босяков связал бы с «дедушкой».

Это не удивительно, если снова вспомнить, что основное у горьковских босяков – не свободолюбие, а сила, подчас вполне недвусмысленно перерастающая в насилие. «Босяцкое нищество» раннего Горького есть попытка увидеть в босяке – «сверхчеловека». Горький, несомненно, читал «Генеалогию морали» и запомнил оттуда, что «сила» и есть «добродетель» (игра Ницше со словом *virtus*). Всяческий аморализм кажется ему (Горькому) естественным дополнением силы, мужественности, «вирильности». Странность, однако, в том, что в этом ряду оказывается у него и строитель Маякин:

* Э. М. де Вогюз. Максим Горький. Произведения и личность писателя. СПб., 1902, стр. 42.

«Прием был прост: я приписал Якову Маякину кое-что от социальной философии Фридриха Ницше» (25, 319).

Не будем придирааться к словам – говорить о том, что никакой «социальной философии» у Ницше в сущности нет; приведем лучше высказывание самого Маякина о культуре:

«Оказалось, по розыску моему, что слово это значит обожание, любовь, высокую любовь к делу и порядку жизни... Но коли так, – а именно так надо толковать это слово, – коли так, то люди, называющие нас некультурными и дикими, изрыгают на нас хулу! Ибо они только слово это любят, но не смысл его, а мы любим самый корень слова, любим сущую его начинку, мы – дело любим! Мы-то и имеем в себе настоящий культ к жизни, то есть обожание жизни, а не они! Они суждение возлюбили, – мы же действие...»

О прагматистских импликациях этого и многих других горьковских высказываний мы еще будем говорить в дальнейшем; сейчас же отметим важнейшее: культура для Горького отнюдь не только пафос сохранения, как полагал Шкловский, но и творчество, естественно; но творчество культуры Горький понимает как *насилие*. Он – выразитель того понимания культуры, которое отождествляет ее с доминацией, господством (и не только над природой, как еще увидим). Горький – нечаянный пророк построений Франкфуртской школы, именно так трактовавшей культуру, – с той, конечно, разницей, что «доминацию» франкфуртцы считали пороком культуры, у Горького же она вызывала энтузиазм. Другими словами: насилие – то, что связывает «босняка» и «строителя». В культуре, понятой как доминация, происходит триумф босняка, его агрессивного активизма, его злой воли. Синтез Челкаша и Маякина – это и есть тип цивилизатора-большевика, органически явленный в самой личности Максима Горького.

Теперь можно сказать, что Горький потому в 17-м году спорил с большевиками, что собственная его природа не была ему ясна, она как бы «переродилась», замаскировалась благоприобретенной «культурой». Культуртрегерство, требуемое просветительской установкой – а культура для Горького и ограничивается Просвещением, «цивилизацией», однажды он сказал, что «нашему разуму» не более 150 – 200 лет, – заставляло его завязывать связи с интеллигенцией, причем преимущественно научно-технической специализации. Пошло всё это в сущности от «комплекса неполноценности», вполне

понятного у самоучки. Как всякий выходец из низов (в его случае скорее культурных, чем социальных), Горький больше всего желал овладеть хорошими манерами; отсюда, между прочим, его неестественная в нормальном человеке начитанность. При этом жизнь еще очень долго щелкала его по носу, и отсюда в «босяцком цикле» четкие следы антиинтеллигентского *ressentiment*'а. Возьмите Промтова («Проходимец»): здесь, как нигде, видно, что босяк – это не столько социальный (или антисоциальный) тип, сколько своеобразный идеолог упомянутого *ressentiment*'а. Главный его душевный импульс – отталкивание от интеллигенции, неверие ей, восприятие системы интеллигентских ценностей как некоего маскарада, надеваемого на себя украшения. Этот мотив *никогда* не исчезал у Горького (см. «Дачники», например) – а в полную силу зазвучал в последней, и важнейшей, его вещи, «Климе Самгине». Не надо быть Зигмундом Фрейдом, чтобы увидеть в этом отражение опыта молодого Алексея Пешкова, привечаемого интеллигентскими народолюбцами: больше всего ненавидят, как известно, благодетелей*.

Положение обязывало, однако: в 18-м году Горький принялся спасать академические вазы. Эта его деятельность повсеместно приветствуется; даже ядовитый Ходасевич произнес по этому поводу какие-то приличествующие случаю слова. Одного только вопроса никак не избежать: не было ли в этой симпатичной позиции – наслаждения собственными преимуществами, если не врожденными, то приобретенными?

* Поразительна любовь Горького к Розанову: по всем вроде бы признакам ее быть не должно – социал-демократ против «мистической бабы»! Можно догадаться, однако, в чем тут дело: Розанов – что-то вроде «сверх-я» Горького; человек, сумевший завоевать культурный мир заведомым снижением тем культуры – и воздержавшийся при этом от вызывающих позитур, от горьковского битья посуды. Он осмелился заявить тайную любовь Горького, реабилитировать «бабушкино» в нем: пол, кухня, мелочи быта, испарения детской. Розанов – как бы удавшийся Горький, его несостоявшаяся проекция – при результате, прямо противоположном реальному Горькому: вместо «доминации» – прозрение «нерепрессивной культуры»; апология «мещанства», опять же монопольно восторжествовавшая «бабушка». Всё это произошло потому, что Розанов сумел *остаться собой* – выполнить главный завет гениальности, – хотя он и окончил Московский университет и даже писал гносеологические трактаты.

не было ли сладкого сознания зависимости Академии от вчерашнего босняка?

Как бы там ни было, в августе 1925 г., вспоминая это время, он писал академику С. Ф. Ольденбургу:

«...вот что хотел бы я сказать людям науки: я имел высокую честь вращаться около них в труднейшие годы 19-20-й. Я наблюдал, с каким скромным героизмом, с каким стоическим мужеством творцы русской науки переживали мучительные дни холода и голода, видел, как они работали, и видел, как они умирали. Мои впечатления за это время сложились в чувство глубокого и почтительного восторга пред вами, герои свободной, бесстрашно исследующей мысли. Я думаю, что русскими учеными, их жизнью и работой в годы интервенции и блокады дан миру великолепный урок стоицизма и что история расскажет миру об этом страдном времени с тою же гордостью русским человеком, с какой я пишу Вам эти простые слова» (29, 441).

Но вот что вышло из-под его пера в декабре 1930 г., при известии о процессе Промпартии (письмо Л. Леонову):

«Отчеты о процессе подлецов читаю и задыхаюсь от бешенства. В какие смешные и нелепые положения ставил я себя в 18-21 гг., заботясь о том, чтоб эти мерзавцы не издохли с голода» (30, 195).

Создается впечатление, что только такой «информации» он и ждал, чтоб расплеваться со вчерашними учителями. На этом психологическом фоне уже почти безразличен вопрос, мог или не мог элементарно грамотный человек поверить легенде о вредительстве интеллигенции. Случай Горького – это как раз тот, когда хочется верить: наконец-то найденная мотивировка для давно, чуть ли не всю жизнь сдерживаемой ненависти.

И обратим внимание еще на один психологический извив: теперь (в том же тридцатом году) для вящей дискредитации интеллигентов Горький их самих объявляет – босьяками!

«...„бывшие люди“, которых жизнь вышвырнула из „нормальных“ границ в ночлежки, в „шалманы“, и некоторые группки „побежденных“ интеллигентов обладали совершенно ясными признаками психического сходства... „Проходимец“ Промтов и философствующий шулер Сатин всё еще живы,

но иначе одеты и сотрудничают в эмигрантской прессе...» (25, 322).

Это крайне содержательные в психологическом плане слова, приоткрывающие завесу над двоящейся и троящейся личностью Горького, указывающие на систему его идентификаций; он попеременно ненавидит в себе то босяка, то интеллигента, а то и «строителя» – и чуть ли не одновременно с ними со всеми отождествляется. Тут и лежит «комплекс» Горького.

7

Итак, культура – это насилие, борьба, «борьба с природой». Эксцессы «технологического разума» явлены у Горького с простоватой откровенностью неопита. Эмоциональным кореллятом этого, так сказать, интеллектуального состояния будет ненависть, а психологическим – садизм. Тут нужно, однако, подчеркнуть, что излишняя психологизация проблемы может увести в сторону от действительно важных культурфилософских вопросов. Фрейд написал однажды, что техническая экспансия человечества является сублимированным, то есть принявшим культурно приемлемые формы, садизмом; но здесь речь идет уже не об индивидуальной (горьковской, положим) психологии, а о «метапсихологии». Потому-то Горький и был значительной личностью, что в его индивидуальном «я» сфокусировались некоторые основные линии эпохи.

Тем не менее, не перестаешь изумляться напряженности его личных эмоций, когда обнаруживаешь, например, в одной из статей (так и озаглавленной – «О борьбе с природой», т. 26) совет профессору А. Ф. Лосеву: *повеситься*. Такие советы он стал подавать, когда обнаружил наконец-то замену интеллигенции.

Заменой этой стала, как нетрудно догадаться, всё та же большевистская партия – но на этот раз воспринятая и прославленная Горьким в качестве силы, способной *европеизировать* страну.

Этапной была статья Горького «О белоэмигрантской литературе» (1928). Здесь он объяснил, что в революции русская интеллигенция утратила основное свое достоинство:

потеряла революционно-критическое отношение к действительности, перестала быть силой:

«И сразу вся сила критического отношения к жизни, вся сила беспощадной, истинной и активной революционности оказалась в обладании большевиков» (24, 343).

Тут же он объясняет причины, вызвавшие появление «Несвоевременных мыслей»:

«Я был уверен, что „народ“ сметет большевиков со всей иной социалистической интеллигенцией, а главное – вместе с организованными рабочими. Тогда единственная сила, способная спасти страну от анархии и европеизировать Россию, погибла бы. Благодаря нечеловеческой энергии Владимира Ленина и его товарищей этого не случилось» (там же).

Итак, еще раз: для Горького задача русской революции сводится к европеизации страны, к подавлению и изживанию ее азиатского анархизма. Единственно успешным методом этой европеизации он считает насилие, активизм: «активное», «беспощадное» для него – синоним «истинного». Содержанием же революции, то есть европеизации, должна стать техническая цивилизация, «господство над природой». И естественно, что с провозглашением программы индустриализации страны и наступления на крестьянство (этот бастион азиатчины для Горького) он сразу забыл бывшие разногласия с большевиками: ведь они принимали его программу*.

И они заменили Горькому не только интеллигенцию, потерявшую свой былой максимализм при столкновении с подлинной революцией, – но и буржуазию – ту самую, которая в принципе и должна была всячески европеизировать страну. Русская буржуазия, пришел к выводу Горький, не способна выполнить собственную программу. Еще в январе 1906 г. он писал И. П. Ладыжникову:

«Моя точка зрения, грубо выраженная, такова: буржуазия в Россия некультурна, не способна к политическому строительству, идейно бессильна...» (28, 405).

* М. Агурский считает, что идея ускоренной коллективизации была подсказана Сталину именно Горьким: он вернулся в СССР в 1928 г., а коллективизация началась весной 1929-го. Коллективизация, по Агурскому, была реализацией горьковской идеи селективного уничтожения социальных групп (интервью нью-йоркской редакции радио «Свобода», июнь 1988).

Яков Маякин оказался всего-навсего идеальным типом. Реальный русский деловой человек – Н. А. Бугров:

«...я убедился, что Бугров не „фанатик дела“, он говорит о труде догматически, как человек, которому необходимо с достоинством заполнить глубокую пустоту своей жизни, насытить ненасытную жадность душевной скуки».

И в позднейшем художественном творчестве Горький создает Петра Артамонова – человека, не владеющего делом, а владеемого, «отчуждаемого» им.

В очерках «По Союзу Советов» (1928), бывших результатом первой поездки Горького по стране после революции, он так характеризовал два полярные типа отношения к бытию:

«Есть поэзия „слияния с природой“, погружения в ее краски и линии, это – поэзия пассивного подчинения данному зрением и умозрением. Она приятна, умиротворяет, и только в этом ее сомнительная ценность. Она – для покорных зрителей жизни, которые живут в стороне от нее, где-то на берегах потока истории.

Но есть поэзия преодоления сил природы силою воли человека, поэзия обогащения жизни разумом и воображением, она величественна и трагична, она возбуждает волю к деянию, это – поэзия борьбы против мертвой, окаменевшей действительности, для создателей новых форм социальной жизни, новых идей»*.

Следует здесь привести такое характерное для Горького определение культуры:

«Всё, что именуется культурой, возникло из инстинкта самозащиты и создано трудом человека в процессе его борьбы против мачехи-природы; культура – это результат стремления человека создать силами своей воли, своего разума – «вторую природу» (24, 405).

Еще одно определение:

«Культура есть организованное разумом насилие над зоологическими инстинктами людей» (25, 239).

И еще одно:

«Если мне скажут: „культура – это насилие“... я не буду возражать, но внесу поправку: культура тогда насилие, когда она направлена личностью против самой себя, против ее анархизма...» (27, 485).

* М. Горький. Полное собрание сочинений, т. 20. М., 1974, стр. 191.

То есть объектом воздействия активной воли становится уже не «мертвая», «окаменевшая» действительность, но и живая, человеческая материя. Это отношение к человеку как объекту, средству, а не цели, не как к самоценному бытию вводит нас в самый центр горьковского мировоззрения. Это – итог его «антропологии», окончательное выражение его размышлений о «Человеке».

«...речь идет о борьбе социалистически организованной воли не только против упрямства железа, стали, но главным образом о сопротивлении живой материи, не всегда удачно организованной в форму человека...

...В Союзе Советов происходит борьба разумно организованной воли трудовых масс против стихийных сил природы и против той „стихийности“ в человеке, которая по существу своему есть не что иное, как инстинктивный анархизм личности...» (26, 19, 20).

Умаление личности, сведение ее исключительно к функции служения социальному целому воодушевляет Горького:

«Необходимо написать историю культуры как историю разложения личности, как изображение пути ее к смерти и как историю возникновения новой личности в огне „концентрированной энергии“ строителей нового мира» (25, 283).

«...индивидуализм как основа развития культуры выдохся, отжил свой век. Употребляется ли ради развития сознания человека насилие над ним? Я говорю – да!...» (25, 239).

В терминах «борьбы с природой» как пути к культуре он воспринял «геологический переворот» в жизни деревни – коллективизацию:

«В Союзе Советов происходит действительное освобождение крестьянства из плена каторжной, нищенской, темной жизни, которая тысячелетия держала его в положении человека низшей расы...

...Процесс коллективизации идет с невероятной быстротой. Что это значит? Это действительно освобождение человека от его подчинения природе, – подчинения, в котором он жил веками...

Пролетариат „начал освобождать 25 миллионов крестьян от «власти земли»“...

..Если крестьянство, в массе, еще не способно понять действительность и унижительность своего положения – рабочий

класс обязан внушить ему это сознание даже и путем принуждения» (26, 43, 86, 99, 265).

Еще Ф. Бэкон говорил: для того чтобы покорить природу, надо научиться подчиняться ей. Горькому не приходит на ум достаточно простое соображение: так ли уж необходимо освобождение крестьян от «власти земли» для целей развития сельского хозяйства? – потому что ему важен не результат, а метод.

Метод превращается в мировоззрение. Это и есть, если угодно, формула всякого активизма. У Горького претерпела совершенно чудовищную гипертрофию естественнонаучная методология.

Метод превращен в мировоззрение, причем метод заведомо не универсальный (таких и нет), частичный, абстрактный, то есть отвлекающийся от полноты бытийных связей. Ибо для Горького естествознание – не только основа мирозерцания, но и исчерпывающее определение всей совокупности его.

«История открытий, изобретений, история техники, которая облегчает жизнь и труд людей, – вот, собственно, история культуры» (25, 172).

«Пишущий эти строки склонен думать, что всякая идеология есть – в корне своем и в широком смысле понятия – технология» (27, 462).

Эти слова – уже прямая перекличка с формулой Хабермаса, в которой много лет спустя будет дана квинтэссенция так называемой репрессивной культуры.

Что фиксирует Горький в «широком смысле понятия» технологии? Ее способность, используя открываемые естествознанием абстрактные соотношения бытия, воздействовать в нужном направлении на протекающие в природе процессы. Фиксируется опять-таки утилитарный активизм, элемент господства над мировой данностью. А это и есть для Горького задание всякой идеологии. Так происходит отождествление идеологии и технологии, и отсюда – перенесение технологических методов на область социальной жизни. Перспектива этого процесса – Освенцим.

В статье «Из воспоминаний о И. П. Павлове» Горький писал:

«Высшая для человека форма самопознания является именно как познание природы посредством эксперимента

в лаборатории, в клинике и борьба за власть над силами природы посредством социального эксперимента»*.

В этом контексте человек выступает как одна из сил природы. Но не нужно думать, что для Горького воздействие на него возможно и осуществимо лишь в порядке исключительно социального эксперимента. Нет, речь идет не только об этом, – ведь идеология и технология тождественны.

3 января 1933 г. Горький писал слепоглухонемой Ольге Скороходовой:

«Я думаю, что скоро настанет время, когда наука властно спросит так называемых нормальных людей: вы хотите, чтобы все болезни, уродства, несовершенства, преждевременная дряхлость и смерть человеческого организма были подробно и точно изучены? Такое изучение не может быть достигнуто экспериментами над собаками, кроликами, морскими свинками. Необходим эксперимент над самим человеком, необходимо на нем самом изучать технику его организма, процессы внутриклеточного питания, кровообразования, химию нервномозговой клетки и вообще все процессы его организма. Для этого потребуются сотни человеческих единиц, это будет действительной службой человечеству, и это, конечно, будет значительнее, полезнее, чем истребление десятков миллионов здоровых людей ради удобства жизни ничтожного, психически и морально выродившегося класса хищников и паразитов» (30, 274).

Всякий слепоглухонемой поймет, каких жертв требует Горький от «сотен человеческих единиц».

Недавно (май 1988) журнал «Юность» опубликовал интересные мемуарные фрагменты Льва Разгона. Автор пишет там о некоем Сперанском – любимце Горького, директоре ВИЭМа (Всесоюзный Институт экспериментальной медицины), – и намекает на то, что это было (есть – ?) злое учреждение; Сперанскому он противопоставляет «настоящих врачей». Похоже на то, что это и был советский Менгеле.

Но Горький не только советовал производить медицинские эксперименты на людях, – его технологический подход к жизни диктовал ему также и другие рекомендации:

«...мне кажется, что уже и теперь пора бы начать выра-

* Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 483.

ботку био-социальной гигиены, которая, может быть, и станет основанием новой морали» (25, 27).

Объект для такой гигиены всегда найдется – это **классовый враг**:

«Классовая ненависть должна воспитываться именно на органическом отвращении к врагу, как существу низшего типа... Я совершенно убежден, что враг действительно существо низшего типа, что это – дегенерат, вырожденец физически и „морально“» (25, 174).

Работу писателя Горький начинает понимать в тех же гигиенических терминах:

«...я должен заниматься работой санитаря, попытками вымести из жизни всякую заразную грязь и дрянь» (26, 205).

Как-то раз Горький написал статью «О солитере», где, используя нехитрый каламбур («солитер» значит «единственный» – тема индивидуалиста Штирнера), построил свою критику индивидуализма на сравнении его с кишечным паразитом. В другой раз, когда был объявлен «всесоюзный поход» комсомола против (сельскохозяйственных) сорняков и паразитов, он провел такую параллель:

«В стране, где объявлена и успешно развивается беспощадная борьба, – „борьба на истребление“ против двуногих хищников и паразитов пролетариата – строителя нового мира, вполне планомерно и естественно начать трудное дело истребления вредителей растительного мира» (26, 427).

Обратный пример:

«Борьба с мелкими вредителями – сорняками и грызунами – научила ребят бороться и против крупных, двуногих. Здесь уместно напомнить подвиг пионера Павла Морозова...» (27, 115)

Публицистика Горького, как мы могли видеть из приведенных примеров, обладает своеобразным эстетическим обаянием: в ней есть чистота и единство стиля. Это и мешает ее переизданию: стопроцентную эссенцию тоталитаристской идеологии не может нынче выдержать прохудившийся партийный желудок.

Приведенные в предыдущей главке цитаты из Горького, будучи абсолютно необходимым *материалом* для всякого по-

нимающего и ответственного суждения о нем, все же не отвечают еще на вопрос о системе его мировоззрения, о его, если угодно, философии. А система и философия были у Горького, и здесь-то, повторяю еще и еще, он наиболее интересен, наиболее (не уникален, а) *типичен*. Интерес Горького не в искусстве его, часто «сомнительном» (В. Шкловский в «Гамбургском счете»), а в чем-то ином, – то есть – в отличие от Розанова, скажем, – он интересен не столько как художественная индивидуальность, а как духовный тип. Это обстоятельство свидетельствует о какой-то сверх-литературной значимости Горького, о некоей его репрезентативности...

Но коли это так, то Горькому нужно искать компанию. И таковая сразу же находится: «махисты-богостроители», конечно. Связь с ними Горького не была ни случайной, ни временной. «Богостроительство» было ересью с точки зрения большевистского канона, но оно и выразило сокровенный смысл большевизма, стало его самообнаружением; впрочем, не такова ли вообще природа ересей? Более того, «богостроительство» было, так сказать, «народно», отвечало неким глубинным содержаниям русской души. Здесь искался все тот же град Китеж – причем идейные мотивировки для этого были выбраны куда более точные, чем «ортодоксальный» марксизм, с его детерминистскими подходами, – Ницше и Мах. Правда, у них более общего с Марксом, чем казалось Ленину, но об этом будем говорить позднее. Конечно, можно и в самом Ленине видеть трансформацию все того же типа «китежанина», искателя невидимого царства; но сам-то он себя так не осознавал. А у «богостроителей» мифотворческая природа социального идеализма обозначилась предельно четко. Потом из этого вырос горьковский «социалистический реализм». Вот это и есть главное слово, связывающее скучные социал-демократические материи с русским преданием, – миф.

У самого Горького, как известно, богостроительские идеи нашли наиболее известное (но не единственное, конечно) выражение в повести «Исповедь». Сделаем философский экстракт этой вещи. Бога еще нет, Он «еще не создан». Его надо «строить», и этот строитель – «народушко! Неисчислимый мировой народ!» Но строит народ «бога» – из себя: он делается «богом» в высшем продлении своих потенций; это, так сказать, регулятивная идея народной трудовой активности. «Божье царство» – социализм, а «богом» станет организован-

ный трудовой коллектив. В конечном итоге нетрудно допустить, что «богом» объявляется сам труд – активная жизненная установка, если угодно – воля. Волонтаризм идет, в частности, от Шопенгауэра, много им читавшегося, причем как раз в молодости; позднее этот волонтаризм сольется с чем-то вроде прагматической теории истины.

Тут, однако, имеется некая трудность для человека, разделяющего «естественнонаучное мировоззрение», – каковым человеком хотел считать себя Горький. В «Исповеди» об этом говорится так:

«Все очень просто, понятно и необходимо, но нет мне места в этой простоте, встает вокруг меня ряд разных сил, а я среди них – как мышь в западне... Бога не понимал я у него; но это меня не беспокоило: главной силой мира он называл некое вещество, а я мысленно ставил на место вещества бога – и все шло хорошо. „Бог еще не создан!“ – говорил он, улыбаясь.»

«Он» – это учитель Михайла, под руководством которого герой «Исповеди» читает философские книжки. Но и сам Михайла не до конца удовлетворен такой («естественнонаучной», конечно) картиной мира. Он говорит:

«Мне тоже кажется, что это неверно, а в чем ошибка – объяснить не могу! Однако, как догадка о плане мира, это очень красиво!»

«Ошибка» ясна: односторонний детерминизм научного объяснения мира (а равно и «экономический детерминизм» в применении к социальному бытию) не могут удовлетворить психологической потребности в активном воздействии на мир. А такое воздействие, такая активность – ценности, принимавшие у Горького высший и, как мы уже видели, квазирелигиозный смысл; в этом и состояло «богостроительство», игравшее в мировоззрении Горького роль системообразующего фактора. Но если нельзя примирить механистический детерминизм с волонтаристической установкой в теоретическом плане, то вполне возможно практическое их примирение: при условии ограничения волевых устремлений человека вот этой целью «господства над природой». Технологический активизм («технология как идеология») нимало не утесняется исповеданием природной необходимости как единственного закона бытия. Но если это так, то искомое «Божье царство» – социализм будет не чем иным, как этой покоренной природой. Пресловутый экологический кризис прямо-таки диктуется логикой

социалистического мышления; но (тоталитарный) социализм и есть последнее слово индустриальной цивилизации. Читая Горького, вы видите карты этого мировоззрения раскрытыми; вот почему я и говорю, что Горький едва ли не интереснее Ленина.

Горький однажды написал Богданову, что Ленин никогда не понимал большевизма*. Большевизм – это активный марксизм, в отличие от меньшевистского «хвостизма», напирającego на объективный фактор, не способного отойти от детерминистской концепции бытия. Сейчас, правда, именно такое – активное – понимание марксизма считается интегральной частью так называемого ленинизма, даже в Советском Союзе. У Ленина обнаружили в «Философских тетрадах» понимание активной природы сознания, так сказать, «фихтеанские мотивы» (это говорил Роже Гароди до своего перехода в магометанство). Но изначально в теоретическом понимании марксизма Ленин стоял на меньшевистских позициях, и эта позиция наиболее воинственно выражена в «Материализме и эмпириокритицизме». Пересмотр же позиции произошел как раз под влиянием махистских оппонентов. Ленину в высшей степени было присуще свойство всех практических политиков: стать на точку зрения противника, если такая обещала большую перспективу, – не только не признавшись в этом, но еще и лишний раз противника за это обругав. Так позднее Сталин, «борясь с троцкизмом», воспринял все главные пункты программы Троцкого. «Большевизм» Ленина до 1917 г. – это особая позиция по организационным вопросам партийного строительства, отнюдь не философия. Книга Р. Вильямса внесла в эти сюжеты необходимую ясность. Подлинными «большевиками» были социал-демократические ницшеанцы и махисты – Богданов, Луначарский, Базаров, Валентинов, Красин, Фриче. К ним примыкал и Горький.

Но у этих «других большевиков» расхождения с Лениным были и по организационному вопросу: они тяготели к синдикализму; книгу Сореля «Размышление о насилии» перевел на русский Фриче и снабдил предисловием Луначарский. Установка синдикализма – на «прямое действие» масс, вдохновляемых *мифом*. У Ленина же – вождистская, авторитарная

* Robert Williams. Other Bolsheviks: Lenin and His Critics. Indiana University Press, 1986, p. 125.

установка, исходящая из постулата о внесении социалистического сознания – понимаемого как наука, как «единственно правильное учение» – в рабочее движение социалистической интеллигенцией, то есть опять же вождями. Позднее отсюда вырастет триада «массы – партия – вождь».

Горьковское «богостроительство», по-другому называемое демотеизмом, вышло из этих, условно говоря, синдикалистских установок: из обожествления народа как единого целого, в котором неразличимы составляющие части. «Прямое действие» всегда – массовое действие, и в этом залог его успеха. Кстати, первая революция достигла максимального успеха в октябре 1905 г. как раз указанным «прямым действием» – всеобщей забастовкой; это был успех не ленинской, а синдикалистской тактики. Но синдикалистский демократизм обманчив, «других большевиков» отнюдь не следует противопоставлять авторитаристу Ленину в качестве альтернативного, демократического течения только потому, что они говорили о массе: в этой массе абсолютно подавлена индивидуальность, у синдикалистов и «богостроителей» отсутствует какое-либо представление о самоценности личности. Вспомним, что индивидуализм был у Горького признаком «мещанства» – почему он и объявлял мещанами Толстого и Достоевского. Ему вторил (а может быть, и вдохновлял его) Луначарский, статья которого в сборнике «Очерки философии коллективизма» (одна из важнейших теоретических манифестаций «других большевиков») так и называлась – «Индивидуализм и мещанство» – и была направлена против «социологического и этического индивидуализма» эсеровского автора «Истории русской общественной мысли» Иванова-Разумника.

Синдикалистское «прямое действие», богостроительский демотеизм, ницшеанский волюнтаризм, прагматическая теория истины, Мах и мифотворческое истолкование как социалистического идеала, так и наиболее известного теоретического его обоснования, марксизма, – это единый идейный комплекс, в составляющих которого нам необходимо разобраться для того, чтобы увидеть подлинную генеалогию большевизма – не «другого» и не «первого», а настоящего. Для такого анализа Горький представляется наиболее удобной фигурой, потому что у него указанные идейные течения выразились в «классической» форме – в том смысле этого термина, который совпадает с понятием «наивный».

В первом варианте этой работы, написанном еще в СССР в 1976 г., я сделал попытку ориентировать мировоззрение Горького на философию прагматизма. Это представлялось тем более соблазнительным, что прагматистское истолкование можно дать самому марксизму, что и делалось в начале века (например, С. Булгаковым в его «Философии хозяйства»). Конечно, здесь имелось в виду «большевистское», то есть активистское истолкование марксизма, позднее понятого как «волюнтаристический прагматизм» (Г. Лукач), как «методология исторического активизма» (Р. Гароди). Сейчас прагматистская стилизация Горького (да и самого марксизма) кажется мне если и не лишней, то не исчерпывающей проблемой. Во всяком случае, генетическим источником «активного» марксизма был не прагматизм, хотя нельзя не заметить между ними некоторого структурного сходства. Нельзя забывать, что существуют «Тезисы о Фейербахе», в которых предположен «большевизм» в качестве активного течения в социал-демократии. Но дело в том, что в начале века этот текст не входил в марксистский канон: Богданов будет обвинять Плеханова в непонимании «Тезисов» – им же самим, Плехановым (впрочем, плохо), переведенных.

Все же обратим внимание для начала на некоторые небезинтересные параллели между высказываниями Горького и основоположениями прагматизма.

Онтология прагматизма: «*Наличность действительности принадлежит ей; но содержание ее зависит от выбора, а выбор зависит от нас... Мы говорим за нее*». К этому автор (В. Джемс) добавляет, что факты, «объективное», не истинны, «они просто суть». Шиллер (цитируемый у Джемса) говорит так: «Мир по существу своему ... не имеющая еще формы материя, он то, чем мы его делаем. Бесполезно было бы определять его через то, чем он был первоначально, или через то, что он такое отдельно от нас; он *есть* то, что из него делают. Таким образом ... мир *пластичен*»*.

Прагматическая теория истины может быть резюмирована следующими словами Джемса: «...мысли (составляющие сами лишь часть нашего опыта) становятся истинными ровно

* В. Джемс. Прагматизм. СПб., 1910, стр. 150, 138, 148.

постольку, поскольку они помогают нам приходить в удовлетворительное отношение к другим частям опыта... мысль... истинна, как орудие логической работы, инструментально... Таким образом, теории представляют собой не ответы на загадки, – ответы, на которых мы можем успокоиться, – теории становятся орудиями»*. Другими словами, истина не существует, как это утверждает древняя традиция платоновского «реализма», – истина порождается.

«Мир стоит перед нами гибким и пластичным, – пишет Джемс, – ожидая последнего прикосновения наших рук. Подобно царству небесному, он охотно отдается человеческому усилию»**.

А вот что писал Горький:

«Действительность вполне реальна, но еще не истинна, она – только сырой и грубый материал для создания будущей всечеловеческой истины» (25, 159).

«Революционная идеология вполне определенно указывает нам, в творчестве каких фактов мы нуждаемся» (26, 336).

«Работа возбуждает мышление, мышление превращает рабочий опыт в слова, сжимает его в идеи, гипотезы, теории – во временные рабочие истины» (26, 410). Это очень похоже на инструментальную теорию истины).

Горькому также близка прагматистская (и в то же время от Ницше идущая) теория культуры как орудия биологического приспособления, выживания человека.

Однажды в журнале «Наши достижения» была напечатана статья, автор которой утверждал, что цель науки – поиски истины. Горький статью раскритиковал и объяснил редакторам, что цель науки – практическая полезность, обеспечение власти над природой.

Допустить знакомство Горького с прагматистской философией очень и очень можно. Начать с того, что он был лично знаком с Джемсом, и уже одно это не могло не подтолкнуть его к прочтению книг Джемса, всех до одной переведенных на русский; странно было бы ожидать другого от великого книгочея Горького. Были, однако, у него и другие инспирации; об одной из них он рассказывает в мемуарном очерке «Савва Морозов».

Вот что, если верить Горькому, говорил ему этот человек:

* Там же, стр. 41, 38.

** Там же, стр. 157. (Перевод исправлен.)

«„Мыслю, значит – существую“, это неверно!.. Я говорю: работаю, значит – существую. Для меня вполне очевидно, что только работа обогащает, расширяет, организует мир и мое сознание...

...– Вы считаете революцию неизбежной?

– Конечно! Только этим путем и достижима европеизация России и пробуждение ее сил.

...я понимаю, что только социалистически организованный рабочий может противостоять анархизму крестьянства...

Если мы пойдем вслед Европе даже церемониальным маршем во главе с парламентом, – всё равно нам ее не догнать. Но мы ее наверное догоним, сделав революционный прыжок.

...Ленинское течение – волевое и вполне отвечает объективному положению дел... Для меня несомненно, что это течение сыграет огромную роль».

О марксизме: «У нас для многих выгодно подчеркивать кажущийся детерминизм этой теории, но очень немногие понимают Маркса как великолепного воспитателя и организатора воли».

Тут еще нельзя не отметить любезного Горькому совпадения марксистской, активистской установки с социальной функцией крупного промышленника – организатора производства. Можно также еще раз вспомнить П. Б. Струве, с его проповедью культурной миссии капитализма, вскрытой в (научном) марксизме. Заметим, что Горький, грубо обрушиваясь на таких людей, как Бердяев или Мережковский, *ни разу* не отозвался плохо о Струве, – наоборот, все упоминания о нем даже у позднего Горького окрашены позитивно, чтоб не сказать – тепло.

«Богостроительство», напомним, было ориентировано у Горького проективно: «Бог еще не создан», – отсюда сама идея «строительства», то есть всё той же активной деятельности. Здесь находили преодоление того тупика, который в горьковской «Исповеди» был обозначен как противоречие между природной необходимостью и целеполагающей волей. Но именно такое понимание религии было дано А. В. Луначарским в его нашумевшей книге «Религия и социализм».

Определение Луначарским религии звучит так: «Религия есть такое мышление о мире и такое мироощущение, которое психологически разрешает контраст между законами

жизни и законами природы»*. «Законы жизни» здесь означают человеческую жизнь, «практический разум» человека, то есть его нравственное сознание, не могущее примириться с пленом природной необходимости («законами природы»). В этом определении нет ничего нового, религию из потребностей нравственного сознания выводил еще Кант. Но далее Луначарский пишет: «Научный социализм разрешает эти противоречия, выставляя идею победы жизни, покорения стихии разуму путем познания и труда, науки и техники»**. Иного выхода ни Луначарский, ни Горький не видят: если природа и ее законы – единственный источник порабощения человека, то господство над ними («доминация») – единственный путь к свободе, и средство этого освобождения – работа организованного трудового коллектива, становящегося тем самым объектом нового религиозного поклонения, то есть «богом». Луначарскому и Горькому мнится, что в этой идее сохраняется основной характер всякого религиозного объекта как силы *надындивидуальной*; «богом» становится масса, «организованная демократия» (термин И. Дицгена), личность тем самым приносится в жертву коллективу. Любое отклонение от этого пути служения обожествленному коллективу воспринимается теперь как ересь, и в случае Горького, как мы могли видеть, вызывает фанатическую, чисто инквизиторскую нетерпимость.

Луначарский в обоснование нового понимания религии обращается к философии Ницше – интеллектуальный ход, который не мог не пленить Горького. Он пишет:

«Вместе с Ницше мы говорим: „человек! твое дело не искать смысла мира, а дать миру смысл“.. Новая религия не может вести к пассивности, к которой в сущности ведет всякая религия, дающая безусловную гарантию в торжестве добра, – новая религия вся уходит в действие... начало умиленного созерцания изгоняется теперь из религии и заменяется началом неустанной активности»***.

Здесь интересно то, что воедино сливаются посылки (прагматического) активизма, активистски интерпретиро-

* А. Луначарский. Религия и социализм. СПб., 1908, т. I, стр. 40.

** Там же, стр. 42.

*** Там же, стр. 46, 49.

ванного Маркса и «философа жизни», ненавистника теоретической философии Ницше. Всё это и создает комплекс «богостроительства», каковое при желании можно легко отождествить (в общемировоззренческом, а не политическом плане) с «большевизмом» *par excellence*. Здесь – «мистика» большевизма, в отличие от его ортодоксально-теоретической доктрины; в иных терминах можно было бы сказать, его «бессознательное», если б у «других большевиков» это не было как раз осознано.

Укажем здесь еще на одно последствие ницшеанских увлечений Горького. Линия мифа, идущая от Ницше, привела в конце концов к провозглашению «социалистического реализма». Ницше говорил, что философию нужно ориентировать не на естественные науки, как это делал Кант, а на искусство, ибо цель философии – не поиск истины, а построение мифа, – раскрытие экзистенциальной глубины самого философствующего, а не общеобязательная истина. Само искусство, таким образом, в последней своей сути оказывается мифотворчеством.

Что касается мифотворческого истолкования социализма, то здесь все-таки наиболее важным фактором был упомянутый уже Жорж Сорель, французский теоретик синдикализма. Провиденциальное значение книги Сореля «Размышление о насилии» было отмечено как историками идей (ср. соответствующее описание в романе Т. Манна «Доктор Фаустус»), так и наиболее прозорливыми современниками французского теоретика (у нас – П. Б. Струве, увидевшем в Сореле саморазоблачение социализма, осознавшего свою научную несостоятельность и обратившегося к мифу как источнику социально-политической энергии; вообще Ж. Сорель был Гербертом Маркузе своего времени: последний, как известно, новую силу социализму надеется придать возвращением его от науки к утопии). Но «другие большевики» сумели не только понять теоретическую важность синдикализма Сореля, но и применить его идеи на практике: как уже говорилось, успехи первой русской революции были достигнуты за счет тактики «прямого действия» (всеобщей забастовки). Связь тактики «прямого действия» с мифом очевидна: действие творит реальность, а «творимая реальность» и есть миф.

Рядом с «другими большевиками» даже Ленин, при всем его психологическом активизме, кажется дюжинным социал-

демократом. Это особенно заметно при чтении «Материализма и эмпириокритицизма». В философском споре с Богдановым и прочими русскими «махистами» он, похоже, не уловил сути дела, не почувствовал нерва проблемы, каковая была отнюдь не отвлеченно философской: Богдановым в его «эмпириомонизме» если и была развернута какая-либо философия, то философия революции.

А. А. Богданов – человек, о котором, сдается, будут говорить всё больше и больше и заговорят – скоро. Идея мифа как движущей силы революции (если не самого бытия, ибо бытие становится у Богданова деянием, неким «чистым актом») находит у него обоснование уже не в сомнительных экстазах полухудожника Ницше и не в сбивчивых «размышлениях» Сореля – а в наиболее развитой науке и в философии современного естествознания.

Богданова можно назвать «махистом» только в единственном смысле: в том, что он воспринял у Маха понятие «чистого опыта» как средства избавить философию от последних метафизических остатков – таких, как «материя», «реальность», «объективный мир». Чистый опыт есть принципиальная соотнесенность субъекта и объекта, идеального и реального, психического и физического, в каковом соотнесении бессмысленным делается «основной вопрос философии» о первичности того или иного члена в указанных рядах; по-другому можно сказать, что мир в теории познания Маха принципиально соотнесен с человеком, в этом соотнесении и конструируется сам опыт, – поэтому ставить вопрос о дочеловеческом или внечеловеческом бытии – самая настоящая метафизика, образцы которой демонстрируют Плеханов и «Ильин» в их определении материи как объективной реальности, данной нам в ощущении. Это пример созерцательного материализма, раскритикованного Марксом в «Тезисах о Фейербахе», говорит Богданов; и если можно как-то связать понятия материи и объективного мира, то лишь в том смысле, что материя есть объект человеческой деятельности. Здесь Богданов как раз и выходит за пределы (в свою очередь созерцательного) Маха, а заодно и опрокидывает одним движением пресловутую «ленинскую теорию отражения»:

«Познание организует опыт, а чистое описание (то есть «махизм». – Б. П.) хочет рабски подчиняться ему, только отражать его. Организовать какой бы то ни было материал

в стройное целое нельзя так, чтобы не изменить его в той или иной мере, это относится и к опыту. Познание должно целесообразно преобразовывать и дополнять его; иначе оно им никогда не овладело бы. Истина – отнюдь не простая копия фактов, а орудие господства над ними»*.

Самый сильный аргумент противников русского «махизма» – сведение их философии к субъективному идеализму Беркли и Юма. Этот аргумент Богданов отводит следующим образом. Мы преодолеваем представление о мире как «сумме ощущений» только в социально-согласованном, или социально-организованном, опыте. «Объективность физического опыта есть его социальная организованность»**. Вся прежняя путаница в вопросе о критериях познания причинялась тем, что субъектом познания был индивид, буквально – «кабинетный ученый». Ныне же в качестве такого субъекта выступает трудовой коллектив крупного машинного производства. В его мироотношении происходит совпадение познания с действием: «связь элементов опыта в познании своей основой имеет соотношения элементов общественной активности в трудовом процессе»***, то есть сама «объективная закономерность» есть не что иное как «социальная организация опыта», – а сказать еще проще, нет иного критерия истины, кроме потребностей и деятельности организованного трудового коллектива, предельный вариант которого – трудящееся человечество: прагматически обоснованный тоталитаризм, делающий человека исчезающе малым элементом некоего вселенского «промфинплана».

Но это уже как бы и оценка, а у нас пока идет речь об описании богдановской философии. И тут надо сказать, что философия Богданова строится отнюдь не как философия тотальной закабаленности человека, а наоборот, как философия, если угодно, свободы. Богдановский эмпириомонизм приобретает отчетливо выраженные черты телеологического (целеполагающего), а не каузального (причинного) мировоззрения. Богданов говорит об «основной метафоре» всякого философствования: к природе, бытию относят понятия, по своему первоначальному значению относившиеся к человеческой дея-

* А. Богданов. Философия живого опыта. М., 1920, стр. 150.

** Там же, стр. 220.

*** Там же, стр. 229.

тельности. Этот – почти дикарский – антропоморфизм становится в системе коллективно организованного опыта «социоморфизмом мышления». Сама установка на познание уже предполагает активность, если угодно – даже насилие. Роковое для философского мышления понятие причинности (или, в другой связи идей, необходимости) коренным образом меняет свой характер, превращаясь опять же в элемент человеческой коллективной деятельности: причинность теперь понимается как связь *социально-техническая*, она совпадает со следствием, полностью в него трансформируется. Это и есть коллективно-трудовая телеология: новое, свежее значение приобретает древнее понимание цели как «конечной причины». *План работ становится причиной деятельности.* По-другому: «бытие» становится равно «действию». Но ведь это и есть миф как «творимая реальность», миф как апология тотальной человеческой активности – приобретший форму технологической утопии.

Итак, «материи» как «объективной реальности» нет – есть «энергия», чистая активность. «Принцип энергии – это идеал власти общества над природою»*. Исчезновение материи – концепт, заимствованный Богдановым из так называемого «энергетизма» Освальда. Нам, в отличие от Ленина, беспокоиться по этому поводу не приходится; но у Богданова исчезает не только «материя», а и некие онтологически реальные качества бытия; расправляясь, на новый лад, с метафизикой, он выпадает в нигилизм. В очередной раз «метод» становится «мировоззрением» – роковая ошибка в истории философствования. Тем не менее, Богданов интересен и значителен, это отнюдь не третьестепенный дилетант, каким его пытался представить в «Вехах» Бердяев. Логика технологической экспансии как основное содержание нынешней эпохи выражена у Богданова не просто великолепно – она выражена правильно. Если он, в отличие от тех же франкфуртцев, не сумел рассмотреть зловещих последствий эпохи, то это потому, что он стоял у ее истоков, а не в эпицентре поднятых ею бурь.

Собственно, то же или почти то же можно сказать и о Горьком – если мы хотим непременно извинить его. Но всё же Горький – человек иного духовного склада: не тихий интелли-

* Там же, стр. 212.

гент и кабинетный фантаст (Богданов, между прочим, писал и фантастические романы), а достаточно агрессивный плебей с застарелым комплексом неполноценности, «университетским комплексом» и пр. И он не задумается ставить эксперименты не только на себе (как это сделал Богданов, погибший в результате неудачного опыта переливания крови), но и на других; как – мы могли уже видеть.

Удивительно, что Горький не написал о Богданове: это был явно горьковский герой, горьковский человек (хотя в письмах всегда отзывался о нем с необыкновенным пиететом): о Морозове написал, о Вилонове (ученик Богданова) написал, а о Богданове отмолчался. Но, с другой стороны, не есть ли вся его публицистика и сама его позиция – внушительный памятник Богданову?

10. ЛУКА, или РАССУЖДЕНИЕ О МЕТОДЕ

Из философии Горького выросла и его эстетическая теория – всем известный социалистический реализм. Этот метод – отнюдь не мертворожденный плод литературных канцелярий сталинской поры, и не в 1934 г. он появился: это законное детище Горького, интегральная часть его непростого мировоззрения и даже источник многих его творческих удач. Уточним последнее: ничего, в сущности, этим методом Горький не создал, но тема, методом поставленная, неоднократно успешно им разыгрывалась, сама пропаганда метода не раз становилась захватывающим сюжетом. Лучший пример – Лука из пьесы «На дне», подлинный пионер социалистического реализма. В этом образе Горький вышел к настоящей теме не только своего творчества, но и всей своей жизни. Элементарнейшая формула соцреализма дана в пьесе словами Беранже (или Курочкина): «честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Это и есть тема Луки – о ненужности правды, об утешении ложью, возведенной в высокий ранг поэзии. Впрочем, «поэзия» – как бы уже и маловато для квалификации подобного мироотношения; нужно говорить опять же о мифе, о «творимой реальности». Здесь следы всё того же Ницше, говорившего, что сущностью искусства является «воля ко лжи». Тут и начался горьковский «прагматизм» – инструментальность истины.

Несколько подтверждающих цитат для забывших пьесу:

«Вот... ты говоришь – правда... – толкует Лука. – Она, правда-то, – не всегда по недугу человека... не всегда правдой душу вылечишь...» Ваське Пеплу он говорит: «Какой тебе, Васька, правды надо? И зачем... для чего тебе правда больно нужна... подумай-ка? Она, правда, может, обух для тебя...»

Анну он утешает сказками о загробной жизни, Актеру врёт про больницу для алкоголиков и даже на вопрос о Боге отвечает: «Коли веришь, – есть; не веришь, – нет... Во что веришь, то и есть...»

«Системообразующее» значение Луки в творчестве Горького сразу же заметили умные критики. Мережковский писал о Луке как о высшем создании Горького. Удивительно было, однако, отношение к Луке его творца: начиная хотя бы с письма Пятницкому в январе 1903 г. до статьи «О пьесах», написанной в конце жизни, Горький всячески дезавуировал Луку как «вредного старца», а вредность его видел в том, что он профессиональный обманщик. Читателю Горького не остается ничего другого, как предположить, что нелюбовь к Луке была у него замаскированной, а то и бессознательной самокритикой.

В самом деле, вот что он писал Чехову в январе 1900 г.:

«Право же – настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, и было выше ее, лучше, красивее. Обязательно нужно, чтобы теперешняя литература немножко начала прикрашивать жизнь, и, как только она это начнет, – жизнь прикрасится, т. е. люди заживут быстрее, ярче» (28, 113).

Это – в самом начале. Но и в конце было то же самое, слово в слово:

«Надо поставить вопрос: во-первых, что такое правда? И во-вторых, для чего нам нужна правда и какая? Какая правда важнее? Та правда, которая отмирает, или та, которую мы строим? Нельзя ли принести в жертву нашей правде некоторую часть той, старой, правды? На мой взгляд, можно. Мы находимся в состоянии войны против огромного старого мира: чёрт бы его побрал с его старой правдой! Нам необходимо утверждать свою» (26, 63-64).

Эту «старую правду» в другом месте он назвал «отбросами для свиней» (26, 33). Приведем еще одно высказывание:

«Какая правда нам нужна? Та правда, которая стоит перед нами как цель и которую мы ставим перед всем трудовым миром. Вот наша правда, и на нее нужно обращать внимание» (26, 84).

Это и есть вероисповедание Луки, старца лукавого. Принимать за чистую монету «отмежевку» Горького от Луки не стоит. «Творимая реальность» превратилась у него во что-то вроде невроза навязчивости, определявшего даже его повседневное поведение. Ходасевич вспоминает о жуткой (по-другому не скажешь) истории: во время гражданской войны Горький уверял одну аристократку, сына которой, как он достоверно знал, расстреляли большевики, в том, что тот жив и невредим; он говорил Ходасевичу, что не может открыть правду и тем причинить горе, – как будто таким умолчанием в самом деле можно было воскресить убитого. Тут пахнет опытом какой-то дурной магии, и эту чертовщину уже невинной не назовешь, это не прощупывание страниц «Простой души». По-другому: это в миниатюре произведенная модель будущей социалистической реальности (сюр-, ирреальности), построенной на априорном отрицании эмпирических фактов, дурная логократия коммунизма, о которой потом будет писать Безансон.

Такая установка чрезвычайно далека от какого-либо идеализма, а следовательно, и от эстетики. Соцреализм – не художественный метод, а нечто другое: попытка теургии, «богодействования», узурпация реально творящей силы. Здесь – заинтересованность в реальном преображении бытия, а не в эстетической его сублимации. Можно сказать: истина – это не факт, а идеал, – и не сказать тем самым (тем более не сделать) ничего злокачественного. Это и будет идеализм – и соответствующая система эстетики, такое-то понимание прекрасно-го. Горький же не противопоставляет идеал факту – он *выдумывает факт*. «Творчество факта» – такое выражение появляется у него уже в «Заметках о мещанстве» (1905). И эта установка «прагматически» развивается: коли действительность реальна, но не истинна, то следует возвести ее в ранг истины, переделав ее в соответствии с целеполагающей волей. Это будет, как мы уже знаем, «борьба с природой». А социалистический реализм дает ей, этой борьбе, некий эстетический аналог, еще точнее – модель такого мироотношения. И значение этого моделирования действительно становится всё более

необходимым по мере того, как рушится проект тотального преобразования бытия, по мере того, как проваливаются «пятилетки». Соцреализм – в том, чтобы объявить невыполненную пятилетку выполненной или, как сказал кто-то, идти по дороге, которая будет построена в следующей пятилетке.

Но в принципе такой результат не предусматривался самим Горьким – наоборот, литература в период социалистической стройки понималась некоторым образом как непосредственная производительная сила.

На I съезде советских писателей Горький говорил:

«Миф – это вымысел. Вымыслить – значит извлечь из суммы реально данного основной его смысл и воплотить в образ, – так мы получим реализм. Но если к смыслу извлечений из реально данного добавить, – домыслить, по логике гипотезы, – желаемое, возможное и этим еще дополнить образ, – получим тот романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен тем, что способствует возбуждению революционного отношения к действительности, – отношения, практически изменяющего мир» (27, 312).

Задача литературы (искусства вообще), таким образом, не имманентна, не самодовлеюща, она выходит за пределы собственно литературного ряда в область творимого бытия, творимого смысла. «Домысливая» действительность, художник, писатель реализует свою волю, но Горький склонен эту волю, работающую в мире фантазии, воспринимать как непосредственно творящую мир, то есть задача литературы – у Горького, в соцреализме – творить бытие, а не его идеальные образы, сделаться орудием и средством не идеального преобразования бытия, а его материального переустройства. Литература должна стать непосредственно полезной, технологичной. Иногда это требование приводило у Горького к комичным результатам, но этот комизм – в логике его метода, в стиле его мировоззрения.

В статье «О „Библиотеке поэта“», приведя строчки Фофанова: «На́ небо месяц поздно так вышел, и серебром засверкало болото», – он начал говорить о народнохозяйственной вредности болот и сделал вывод:

«...поэты никогда не звали человека на борьбу с природой, за власть над ней... не гневались на слепого тирана».

Другой порок поэтов – воспевание ими любви, ведущее к забвению того, что слепой половой инстинкт рождает всяких паразитов: комаров, мышей и пр.

«Я вовсе не намерен убеждать поэтов: „Ловите мышей!“ Я хочу только указать на необходимость пересмотра отношения поэзии к природе и пересмотра всех главнейших тем старой поэзии».

И наконец (в той же статье):

«...размышляя о любви, очень трудно допустить, что в обществе, организованном социалистически, размножение людей сохранит стихийные формы, полезные только паразитам, живущим за счет чужой физической силы» (26, 181, 182-183).

Впрочем, это не так уж и смешно – и пахнет не Хаксли, а Орвеллом. Это – евгеника, ВИЭМ, а в перспективе, как уже говорилось, – Освенцим.

«Архаист» – в собственном писательском смысле, как представитель старой реалистической школы, – Горький делается самым радикальным авангардистом в обобщающей эстетической теории. Маяковский не опознал своего, когда писал «Письмо Горькому»; там есть слова, что вместо романа «Цемент» надо производить цемент как таковой – стройматериал. Но это же и есть горьковская позиция, сформулированная в понятии соцреализма. Лефовское «искусство-жизнестроение» – то же самое, что горьковский соцреализм. Ведь там, где материалом литературы становится творимая действительность, там отпадает надобность в чисто эстетических эффектах. Достаточно газеты – то есть моментального снимка с действительности, спонтанно принимающей «героические» формы, которых всё еще не хватает литературе (см. 25, 97). Газета же, вспомним, среди прочего еще и «коллективный организатор». Литература становится частью промфинплана, поскольку последний сам приобретает монументальное величие скрижалей завета. Побочный результат такого подхода к делу достаточно парадоксален: Горький утверждает, что *литератору не нужен талант*, – коли вообще отпадает надобность в каких-либо эстетических смещениях.

«Мы оставляем в стороне вопрос о литературном таланте, это вопрос неясный, нерешенный, и решать его – не наше дело. Мы говорим о способности к литературному труду, эта способность заметна у весьма многих начинающих писать раб-селькоры, рабочих, крестьян» (25, 102).

Вот отсюда и вышли 10 тысяч членов Союза советских писателей.

Но если эта «творимая действительность» воспринималась как организованная на эстетический манер – как образ некоего совершенства, то, с другой стороны, литература, всё еще сохраняя специфическую форму книжности, в свою очередь приобретала черты осуществленной реальности. Флоренская Фелисите материализовалась, сгустилась из словесного пара и выпала в осадок, где ее и нащупал наконец Максим Горький. Другими словами, высокое понятие мифа обратилось в самую вульгарную ложь: несуществующее принялись выдавать за сущее, фактичность подменять заданностью, наличествующее – долженствующим. Это назвали отражением действительности в ее революционном развитии. Жизнь превратилась в «систему фраз» (горьковское выражение). Это было подлинным выходом социалистического реализма. Можно говорить о полном совпадении рекомендаций, дававшихся Горьким литературе, с теми рецептами политической активности, которые он прописывал в своей публицистике. В одном случае это вело к утверждению лжи как правды, а в другом – к воспеванию каторжных лагерей. Фикция может торжествовать над реальностью и ложь над правдой, только если они подкрепляются насилием. Это и есть последнее слово горьковского «активного мироотношения» – и последнее слово всякого революционаризма.

11

«Становилось совершенно нестерпимо топтаться в хороводе излишне и утомительно умных».

«Жизнь Клима Самгина», ч. I

Горький как писатель – тема, выпадающая из социалистического реализма; несколько поздних вещей, написанных на советском материале, положения не меняют. Горький, как уже говорилось, – соцреалист в своей публицистике, шире – в своем мировоззрении. Писатель М. Горький – реалист (просто, бытовик, хотя бы даже «очень начитанный бытовик» (В. Шкловский). Но всё же каков он как писатель? Ни в коем

случае нельзя отрицать его достоинств – трудно назвать плохим писателя, у которого то и дело встречаются удачи. Интересны его босяки, хотя, в сущности, вторичны, вернее – не уникальны: это некий демократизированный стиль «модерн», ближайший аналог которого – Гамсун и Джек Лондон. Шедевр Горького – «На дне». Затем наступает провал, «конец Горького», с невозможными «Матерью» и «Дачниками» (последние интересны, однако, в психологическом плане, для характеристики горьковских «комплексов»). Снова набирать высоту он начинает, пожалуй, с «Городка Окурова». Вообще годы примерно 1912–1925 – лучшие у Горького. Здесь удач просто много: и бесспорное «Детство», и пьесы («Фальшивая монета», «Старик»), и цикл «По Руси», в котором сверкают такие жемчужины, как «Ералаш», очень значительная вещь «Хозяин», интереснейшая даже в формальном плане книга «Заметки из дневника. Воспоминания». «Рассказы 1923-24» – это вообще какой-то новый Горький, ищущий (правда, не совсем удачно) в области сюрреализма. Завершается этот период вполне добротными «Артамоновыми». Дальше – «Клим Самгин».

Эта книга требует, конечно, особого разговора. «Самгин» – вещь итоговая, значимая всячески и вообще по-новому необычная у Горького. Прежде всего изумляет резкая смена топики: «босяк» пишет эпопею об интеллигенции, и таковая, действительно, предстает на ее страницах. Роман – «умный», опять же – «интеллигентный». Охотно допускаю, что в условиях позднесталинской России его чтение было, попросту говоря, полезным, это был некий учебник; я сам по нему ко многому приобщался (о «Вехах» узнал – оттуда). Для советских подростков 1951 года книга была в некотором роде незаменима, уникальна. В Америке есть понятие «ностальгическое чтение»; может быть, как раз этим объясняется то, что всякий раз я перечитываю «Самгина» не только с интересом, но и с волнением. Мое «открытие» архетипа Пенелопы в русской истории («Чевенгур и окрестности», «Континент», № 54) – бессознательная реминисценция из «Самгина» (финал первого тома), в чем убедился при последнем перечитывании. Но и независимо от подобных лирических ассоциаций, «Самгин» книга очень неплохая, сделанная очень опытной рукой, в книге ощущается фактура описываемой жизни, ее «длительность». Я уже не говорю о ее, этой жизни, богатстве, бытовом и культурном изобилии, так зримо встающих со страниц

«Клима Самгина». В этом смысле книга приобретает значение чуть ли не исторического источника, во всяком случае – очень неожиданного и тем более интересного свидетельства о старой России. Реализм здесь более чем уместен. Одним словом, Горький в «Самгине» сумел дать не только себя.

И всё же – это психологическая автобиография босняка, мемуары плебея-комплексанта. При всей «очень-начитанности» Горького книга не стала свидетельством об интеллигенции, и никаким разоблачением таковой, «отходной» там и не пахнет. И прежде всего потому, что главный герой – отнюдь не интеллигент, это подручный пекаря Алексей Пешков, помещаемый в интеллигентскую гостиную, а то и в барский салон.

Почему, собственно, мы должны считать Клима Самгина, эту «пустую душу», типичным представителем осуждаемой и разоблачаемой «буржуазной интеллигенции»? Вообще мотивировать нелюбовь к интеллигенции ее буржуазностью – просто глупость или полное незнание дела (говорю не о Горьком, а о советских интерпретаторах «Самгина»): русская интеллигенция была насквозь демократична и радикальна, даже и у «веховцев» не было никаких антидемократических априори. С какой же стороны ведет на нее атаку Горький (то, что атака ведется, сомнений не вызывает)? Он на нее нападает *снизу*: Клим Самгин в романе – человек наименее яркий, наименее талантливый («в сущности, я – бездарен»); человек, у которого нет своих слов, он «молчит»; самого человека нет. «Были мальчик?» – это не о Борисе Варавке сказано, а именно о Климе: он не существует, а выдуман в детстве отцом. Порой он ощущает свое невежество – именно в сравнении с «веховского» типа людьми. Клим всё время напрягается, он форсирован, он играет роль, потому что *самого* его нет, фамилия «Самгин» обманчива. И когда он решается все-таки высказать себя – всегда возникает нечто вроде скандала, причем не залихватско-артистического, а мелкого, даже хамоватого (Горький на премьере «Дачников» – в залу: «Плюю на вас!»), – он и в скандале незначителен (Горький против Толстого и Достоевского в «Заметках о мещанстве»). С мотивом антиинтеллигентского скандала связан мотив обмана (мужик с сомом в первом томе) и, главное, мотив предательства: Самгину в сущности жандармский следователь едва ли не приятнее, чем его интеллигентские знакомцы. И отсюда, пожалуй, тайное тяготение к людям «простым», готовность вместе с девчонкой на подъеме

колокола крикнуть интеллигентам: «Да что вы озорничаете!» Тут же присутствует и мотив некоего опрощения, опять-таки антиинтеллигентски заостренный; наличествуют даже – страшно сказать! – консервативные симпатии: Климу нравится «черносотенный» историк Козлов, сыщик по уголовным делам Митрофанов, то есть люди, сидящие на своих местах, не поднимающие пыли и шума. И если он всё-таки хочет революции, то для того, чтобы уничтожить «едкую человеческую пыль»; и самое сокровенное: «революция нужна для того, чтобы уничтожить революционеров».

Не ясно ли из этих только слегка систематизированных выписок, что Клим Самгин – это никакой не интеллигент, это Алексей Пешков, играющий роль Максима Горького, роль знаменитого писателя, начитанного интеллигента, пламенного революционера. Парадокс в том, что он действительно был и тем, и другим, и третьим – был Максимом Горьким. Но это – «имя», а не человек, вернее, псевдо-имя, маска, роль, дававшаяся с огромным трудом, а потому в глубине души нелюбимая. Горький злился на людей, ему эту роль навязавших. Клим Самгин – бессознательное Горького, его «тень». В бессознательное вытесняется, однако, не только низкое, но и высокое – если последнее по-своему противоречит принятым нормам. Ведь помимо нелюбви к интеллигенции в «Самгине» присутствуют подавленные симпатии Горького, как из «бабушкина», так и из «дедушкина» начала. Историк-краевед Козлов – от «бабушки», конечно. Симпатия Варавка – это удавшийся «дедушка», как и «великан» Бердников, которому Самгин охотно прощает его хамство. Зато Лютов, хотя и сделан умным, должен вызывать, по замыслу, антипатию; и антипатия эта – по адресу таких, как Савва Морозов: душевная неустойчивость спроецирована визуально, в образе кривляющегося, вихляющегося Лютова, и опять же авторская мораль ясна: вот что бывает с человеком, когда он перестает заниматься предназначенным ему делом – и начинает выдавать ссуды большевикам.

Правда, большевик Кутузов сделан симпатичным, но это, скорее всего, потому, что у него борода Александра III. Эта аллегория долженствует означать, что большевики наведут порядок, что это настоящие хозяева. Если не Савва Морозов с Бугровым, то уж Тимофей Варавка всем как будто хорош; но Горький отправляет его умирать в санаторий для ожиревших

(плакатно яркая сцена «вырождения господствующего класса»); большевики же, по Горькому, зажиреть не должны. Только они могут быть подлинно буржуазными – то есть деловыми, активными, волевыми. Революция для Горького – не освобождение, а организация, и в «Самгине» этот символ веры повторяется не реже, чем в других местах. Но неужели Горький всерьез верил, что под охраной поджарых волков из ГПУ коровы и овцы будут успешнее нагуливать вес?

12

Впрочем, таким вопросом он и не задавался, потому что культуру видел не в «аграрной», а в «промышленной» модели; не прозябание ростка, а вгрызание экскаваторного ковша в землю. Горьковские панегирики могуществу разума и проклятия «природе» заставляют вспомнить трактовку Фрейдом технологической экспансии как сублимированного садизма; – здесь не Эрос действует, а Танатос. На глубинно психологическом уровне это садистическое отношение к бытию и характеризовало Горького: «культура» была мотивировкой для агрессии, насильничества, погрома. Фарфоровые вазы были так называемым «реактивным образованием».

После Горького появление писателей-«деревенщиков» было абсолютно необходимой реакцией. Деревенская проза – ответ болота мелиоратору, абсолютно необходимый ответ. И это – буквально: кто спас сибирские реки от поворота? Легко можно догадаться, каким энтузиазмом наполнил бы этот проект Горького, если даже какой-то паршивый Беломорканал вызвал его восторги; и неважно, кого убивают – людей или «природу». Деревенщиками управляет безошибочный инстинкт: ощущение биологической основы бытия, «природы», «почвы», как самого важного, самого реального, для них почва перестала быть аллегорией Достоевского. Такой консерватизм не оспорить никакому либералу. Спорить с этим может только зловещий утопист, мечтающий превратить человека в «аутотрофное» существо. Правда деревенщиков – не политического, а бытийного свойства.

Но что бы ни сказать о деревенщиках позитивного – есть у них один негатив, который едва ли не сводит на нет все их заслуги: почти не скрывааемый антисемитизм. С этим добро-

вольно припечатанным клеймом они далеко не пойдут – или, напротив, зайдут слишком далеко.

На этом – закончим о деревенщиках. У нас речь о Горьком. Вопрос: не он ли, так сказать, и насадил антисемитизм в советской России? .

Во всех его писаниях упорно проводится противопоставление евреев русским как «высших» – «низшим». Возьмем те же «Несвоевременные мысли»:

«Я уже несколько раз указывал антисемитам, что если некоторые евреи умеют занять в жизни наиболее выгодные и сытые позиции, это объясняется их умением работать, экстазом, который они вносят в процесс труда, любовью „делать“ и способностью любоваться делом. Еврей почти всегда лучший работник, чем русский, на это глупо злиться, этому надо учиться. И в деле личной наживы, и на арене общественного служения еврей носит больше страсти, чем многоглаголивый россиянин, и, в конце концов, какую бы чепуху ни пороли антисемиты, они не любят еврея только за то, что он явно лучше, ловчее, трудоспособнее их»*.

А вот что говорится в той же книге о русских:

«...мне пишут яростные упреки: я, будто бы, „ненавижу народ“. Это требует объяснения. Скажу откровенно, что люди, многоглаголящие о своей любви к народу, всегда вызывали у меня чувство недоверчивое и подозрительное. Я спрашиваю себя – спрашиваю их – неужели они любят тех мужиков, которые, наглотавшись водки до озверения, бьют своих беременных жен пинками в живот? Тех мужиков, которые, истребляя миллионы пудов зерна на «самогонку», предоставляют любящим их издыхать от голода? Тех, которые зарывают в землю десятки тысяч пудов зерна и гноят его, а голодным – не желают дать? Тех мужиков, которые зарывают даже друг друга живьем в землю, тех, которые устраивают на улицах кровавые самосуды, и тех, которые с наслаждением любуются, как человека забивают насмерть, или топят в реке? Тех, которые продают краденый хлеб по десяти рублей фунт?

Я уверен, что любвеобильные граждане, упрекающие меня в ненависти к народу, в глубине своих душ так же не любят этот одичавший, своекорыстный народ, как и я его не люблю. Но, если я ошибаюсь, и они, все-таки, любят его

* «Несвоевременные мысли», стр. 248-249.

таким, каков он есть, – прошу извинить меня за ошибку, – но остаюсь при своем: не люблю»*.

Допустим, всё сказанное – правда (на самом деле – не всё); но ведь Горький правду не любил. Зачем же он ее высказывает? Действительно, стоит ли всегда говорить правду? о наготе отца, допустим? Ведь, кроме правды, существует понятие такта; это и есть, если угодно, «культура». Да, русских («мужиков») Горький не любил; но любил ли он евреев, если решался на такие рискованные противопоставления?

У Горького – всё то же алиби: априорно завышенная оценка культурного человека как, прежде всего, хорошего работника. То, что культуру могут делать, к примеру, пьяный Есенин или тунеядец Бродский, как-то не входит в его умственный горизонт. Здесь – уже известное нам отождествление культуры с буржуазными добродетелями дисциплины и организованности, – и изнутри вырастающий мотив насилия, закабаленности культурой. При этом культурные евреи всячески «выдвигаются», буквально выпихиваются в первые ряды; а первые ряды, как известно, – наиболее удобная мишень. Этот метод был принят на вооружение кое-кем поважнее Горького.

«Еврейское засилье» первых двадцати лет, помимо всего прочего, сильно пахнет провокацией. И этот трюк действует до сих пор, коли ему поддаются даже такие талантливые люди, как деревенщики.

В этой провокации Горький сыграл немалую роль. Это он придумал отождествить тип еврея с типом культурного насильника, своего рода социалистического плантатора. Это он редактировал книгу о Беломорканале, украсив ее портретами орденоносных энкаведешников с еврейскими фамилиями.

Всё, что я знаю и пытался представить на этих страницах о Горьком, бесконечно убеждает меня в одном: Горький евреев не любил. Его прославленное филосемитство – маскировка, камуфляж, защитная реакция, цензура бессознательно. Осуждение антисемитизма – достаточно условный жест культурного этикета, и как раз к таким «правилам хорошего тона» особенно чутки всякого рода парвеню. Горький не любил евреев так же, как он не любил интеллигентов, не любил большевиков, буржуев, мужиков, как не любил в конце

* Там же, стр. 261-262.

концов навязанную ему «культуру», которую трактовал как насилие именно потому, что его она насильовала.

В Горьком, в большевизме взорвалась европеизированная Русь, но этот взрыв был направленным, технически рассчитанным: анархия мотивировалась и прикрывалась жесткой организацией. Вот почему так трудно решить, что же все-таки произошло в России: возвращение в допетровскую архаику или футуристический скачок. Было и то и другое. Движения, однако, не вышло, – вышел «застой».

Горький вызывает смешанные чувства – как сама Россия, может быть, следует сказать – как русская революция и последующие события. Это, конечно, комплимент Горькому, признание его своевременности, уместности, талантливой его выразительности, – дань гению и злодейству. Горький – значителен, его следует помнить.

1976 –
– апрель – июль 1988

**Новая книга
Д. А. АНТОНОВ
НАДЕЖДА**

Повесть о первой любви, – о русской литературе.
Издательство «Чеховград», 1988. Цена 16 нем. марок.
Заказы принимаются во всех книжных магазинах, а также на Фракфуртской книжной ярмарке и по адресу:
ФРГ, д-р Бройде: **Tschechowgrad Verlag**

Rückmühlenweg 2
6483 Bad Soden-Salmünster
Telefon: 0 60 56 / 29 82

Колонка редактора

«С КЕМ ВЫ, МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?»

Сразу оговорюсь: я имею в виду прежде всего мастеров советской культуры, ибо это особая порода мастеров, выведенная тоталитарной системой в ее идеологических инкубаторах, – мастеров убежденно лгать, защищая неправоное дело, эластически приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам, какими бы унижительными для них эти обстоятельства ни были, умело отмалчиваться в минуты опасности, полагая себя при этом чуть ли не мучениками. Но главный их, так сказать, родовой признак – неизменно оставаться не с угнетенными, как это свойственно всем духовным элитам человечества, в том числе и нашей дореволюционной (во всяком случае лучшей ее части), а с угнетателями, то есть с существующей в стране властью.

Так было с самого начала: при Ленине, затем при Сталине, после чего последовательно при Хрущеве, Брежневе, Андропове, Черненко, а теперь вот уже и при Горбачеве. Даже в периоды временных охлаждений, как это случилось после хрущевской истерики в Манеже, и позднее, в годы так называемого застоя, охлаждения эти носили односторонний характер: любовник в лице правительства высокомерно отмахивался, а отвергнутая любовница-интеллигенция назойливо навязывалась ему снова (в том числе и я!) или, в лучшем случае, обиженно куксилась перед общественным зеркалом.

Если для любого уважающего себя западного интеллигента оппозиция к правительству – естественное состояние, в этом он видит свое предназначение, как бродильного компонента в развитии общества к все большему освобождению, то для советского – наоборот. Вспомним хотя бы его реакцию на явления Пастернака, Сахарова, Солженицына. В травле первого не постеснялись активно поучаствовать не только Софронов с Безыменским, но и Мартынов, Слуцкий, Шкловский, Николай Чуковский, Сельвинский и целый выводок «эстетов с кастетами» рангом пониже, а двух последних шельмовали многие нынешние «прорабы перестройки», начиная от Залыгина и Айтматова, кончая Василем Быковым и нынешним шефом

гласности, членом политбюро ЦК КПСС профессором Александром Яковлевым.

Если для любого уважающего себя западного интеллигента его соотечественник рабочий, крестьянин или делец только равный ему гражданин, всего лишь занятый иной формой деятельности или творчества, то для советского – это «быдло», «толпа», «плебс», на который можно свалить все свои грехи: гражданское равнодушие, духовный оппортунизм, профессиональное холуйство. Не раз мне доводилось, да и поныне доводится, слышать от своих осыпанных государственным милостями, но в то же время весьма либеральных советских собеседников сетования по поводу «рабской сущности» нашего народа, не способного-де ни какому сопротивлению государственной тирании: типичная психология выбившегося в люди раба.

Но вот этот самый народ, к которому у советских интеллектуалов так много претензий, пользуясь возможностями гласности, пробудился от общественной спячки, принялся выходить на улицы с социальными и политическими лозунгами, создавать альтернативные движения и организации, бастовать и требовать. И что же? Наши мастера культуры объединились с ним, поддержали его «души свободные порывы», воспользовались счастливым случаем найти свое место в этой очистительной стихии? Ничуть не бывало. У пятидесяти лучших из них не хватило мужества даже на то, чтобы появиться на неформальном семинаре по гуманитарным проблемам в Москве, куда их пригласили недавно советские правозащитники. Они вновь, в очередной раз, оказались на стороне власти. Так надежнее. В случае чего с нею и бежать сподручнее, у нее средств для этого больше.

Миру, на мой взгляд, грозит не бухаринский Чингисхан с телеграфом, а Фома Опискин, поднаторевший в изящных искусствах и науке (и порою на высоком уровне!). Смешон и жалок он в роли литературного героя, но в реальной жизни, вооруженный авторучкой, кистью или пишущей машинкой, он страшен. За публикацию стишка, статейки, повестушки, за устройство выставки, рекламы, заказа, за научное звание, заграникомандировку, очередное членство, за орден, премию, место в президиуме он готов без страха и упрека заложить душу любому государственному дьяволу, преступить все Божеские и человеческие законы, отказаться не только от

самого себя, но и от родной матери. Тысячи и тысячи, если не миллионы опискиных с университетскими дипломами в кармане руководят ныне советской экономикой (и в какой яме она оказалась!), культурой (и к какому крайнему вырождению она скатилась!), наукой (и до какой дегградации она дошла!). Их гипертрофированный эгоцентризм, их мешанская уверенность в своей непогрешимости, их вызывающая агрессивность, замешанная на присущей им шкурной трусости, способны, наподобие гнилостного грибка, уничтожить вокруг себя все сколько-нибудь свободное и животворящее.

Характерен в этом смысле эпизод, разыгравшийся недавно на учредительной конференции «Мемориала», где первый заместитель главного редактора «Литературной газеты» Ю. Изюмов обвинил Александра Солженицына в стукачестве, заверив собравшихся, что в их редакцию поступили на этот счет соответствующие материалы из МВД СССР, которые-де в настоящее время проверяются.

Мне хотелось бы остановить внимание читателя на этом поразительном факте: в самый разгар эпохи гласности и перестройки, борьбы с политическими стереотипами и нового мышления редакция одного из самых перестроечных органов печати в трогательном сотрудничестве с отечественным сыском собирает «компромат» на живущего в далеко не добровольном изгнании большого русского писателя. Давайте спросим себя: с каким дальним прицелом это делается?

В том же ключе я рассматриваю и регулярные инсинуации той же ультраперестроечной советской печати и против моей скромной персоны. То «Литературная газета» многозначительно намекнет, будто ваш покорный слуга – вообще темная личность и даже, возможно, убийца, не смущаясь тем, что я был ее многолетним автором и удостоивался на ее малопочтенных страницах самых лестных похвал. То «Московские новости» корявым пером ее главного редактора Егора Яковлева изобразят меня эдаким полужуродивым и перманентно пьяным монархистом, не догадываясь предварительно спросить себя: из каких это человеческих или сыских соображений последний водил знакомство со столь одиозной персоной? То ошалевший от собственной либеральности «Огонек» вытаскивает на свет Божий мой юношеский стишок о Сталине, словно я это от кого-либо скрывал и словно не было этого греха за многими, зачисленными сегодня в советские литературные

святцы писателями от Мандельштама до Твардовского включительно. Бумага, разумеется, все терпит. Она, как известно, от стыда не краснеет. Краснеть от стыда будут дети авторов. И, уверяю вас, не мои.

Причем эта словоохотливая публика уже не ограничивает сферу своей охранительной болтовни собственным советским огородом, распространяясь теперь уже и на Запад. Совсем недавно, к примеру, регулярно вояжирующая по городам и весям свободного мира одна из представительниц этой литературной рвани, добросовестно отрабатывая очередную командировку, не постеснялась в разговоре с такой же эмигрантской рванью на страницах одного весьма уважаемого русского еженедельника разразиться по моему адресу откровенной площадной руганью. Знай наших!

К сожалению, в горластую вакханалию этого бесстыдного спектакля советской пропаганды активно включилась и часть (хотя и не лучшая!) нашей эмигрантской публики.

Рассказывают, что не так давно в дискуссии по западно-германскому телевидению один из них, слывший когда-то в Москве патологическим, хотя и вполне безобидным идиотом, но оказавшийся на Западе далеко не безобидным демагогом, перещеголял в своем верноподданническом холуйстве даже своего советского собеседника, который на его фоне выглядел чуть ли не диссидентом. Нравственное косоглазие этой малопочтенной публики с бородами «а ля рюс» и без оных спасает ее от каких-либо угрызений совести или сомнений.

Но, я убежден, всему бывает конец. Придет конец и этой противоестественной системе, а, следовательно, и расплата. Не жалуйтесь тогда на судьбу, дорогие мастера советской культуры, не уверяйте современников, что вас обманули, нет, вы жаждали быть комфортно обманутыми, хотя вас предупреждали и совесть народа перед вами чиста.

И в заключение две цитаты:

«Не гувернер, а вся интеллигенция виновата, вся, сударь мой. Пока это еще студенты и курсистки – это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора – дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры. Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский – это

питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора, светила... Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр» (А. Чехов. Из письма к И. И. Орлову от 22 февраля 1899 года).

«...Если у художника нет конфликта с окружающей действительностью, то значит этот художник ничтожен, потому что он или не видит пороков этой действительности, или замалчивает их. И это значит, что он слеп и лжив» (А. Белингов. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша).

Не правда ли, поучительно?

Р. С. Письмо-донос 19-ти «прорабов перестройки» по поводу запланированной «Новым миром» публикации «Архипелага ГУЛаг» (об этом письме проговорился в своем выступлении 9. 11. 88 в ЦК КПСС главный идеолог страны Вадим Медведев) может служить лучшей иллюстрацией к этой колонке. О том же свидетельствуют и холуйские завывания нашей здешней околотитературной и околополитической шпаны на ставших теперь уже ритуальными советско-эмигрантских посиделках в Европе и Америке.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ПО-ШВЕДСКИ

Заявление Интернационала Сопротивления

Наконец-то свершилось! Шведский риксдаг принял беспрецедентный в истории «Билль о правах домашних животных». Отныне по закону «коровы и свиньи должны содержаться беспривязно и иметь право на индивидуальную подстилку и кормушку». Столь же гуманные меры приняты также по отношению к домашней птице и разным водоплавающим.

Можно было бы только горячо приветствовать такое безбрежное великодушие по отношению к животному миру, если бы оно в той же мере распространялось и на людей. К сожалению, о близких шведские законодатели пекутся куда меньше.

Судите сами.

По сообщению АП из Стокгольма, «Швеция начала отказывать в предоставлении убежища советским гражданам. Она заявила, что в связи с кампанией реформ советского руководителя Михаила Горбачева они не рассматриваются больше как политические беженцы».

Мало того. Один из сотрудников иммиграционного управления страны некто Бруман сообщил корреспонденту Ассошиейтед Пресс, что десятки невозвращенцам уже отказано в убежище и отдано распоряжение об их депортации в Советский Союз.

Таким образом оказывается, что на законодательные гарантии «содержаться беспривязно и иметь право на индивидуальную подстилку и кормушку», по мнению шведской администрации, могут рассчитывать все, кроме беглецов из тоталитарного рая.

К сожалению, для социал-демократической Швеции расистский подход к народам России и Восточной Европы давно сделался традиционным. Вспомним хотя бы ее прогитлеровский нейтралитет во время Второй мировой войны, двойные стандарты по отношению к Вьетнамскому конфликту и оккупации Афганистана, гостеприимство для американских дезертиров и равнодушие к судьбе советских военнопленных.

Что ж, каждый народ заслуживает своего правительства. Только зачем при этом шведским социалистам прикрывать показными заботами о животном мире свою глубоко тоталитарную сущность?

Наша почта

К ПУБЛИКАЦИИ КНИГИ А. ШВАРЦА «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МИХАИЛА БУЛГАКОВА»

Глубокоуважаемый г-н редактор!

В последнем номере Вашего журнала (№ 54) завершена публикация книги Анатолия Шварца «Жизнь и смерть Михаила Булгакова». Среди многих достоинств этой книги необходимо указать на три: интервьюирование многих друзей, знакомых и современников Булгакова; обширное использование дневников и иных материалов старшей сестры Е. С. Булгаковой Ольги Сергеевны Бокшанской, которая была одним из близких, – может быть, самым близким другом М. А. Булгакова; обильное цитирование довоенного дневника Елены Сергеевны Булгаковой.

Одна запись из дневника Е. С. Булгаковой, о пьесе «Адам и Ева» (1931), должна поразить булгаковедов. В этой пьесе, как говорит Елена Сергеевна, Ева – сама Булгакова (сначала Нюрнберг, потом замужем за каким-то офицером, потом Шиловская, потом Булгакова), Адам Красовский – комбриг Е. А. Шиловский (с 1928 по 1931 годы начальник штаба Московского военного округа; командующим был Уборевич, профессор Буре в «Мастере и Маргарите»), академик-химик Ефросимов – Булгаков.

Интересно, что «дешифровка» «Адама и Евы» Еленой Сергеевной оказывается как бы лакмусовой бумажкой, с помощью которой задним числом можно разбить булгаковедов на две группы. Одни не понимали, что главное для уяснения творчества Булгакова – произведения мемуарного типа (как «Записки на манжетах», «Письма тайному другу» и «Театральный роман»). И, не имея возможности ознакомиться с дневником Булгаковой (он хранится за семью печатями в Рукописном отделе Публичной библиотеки в Москве), пребывали в убеждении, что и пьеса «Адам и Ева» не мемуарна, а посвящена будущей мировой войне и пацифизму и в лучшем случае навеяна некоторым отдаленным сходством отношений между Е. С. Шиловской, Е. А. Шиловским и М. А. Булгаковым с отношениями Евы, Адама и Ефросимова. А все осталь-

ное – плод творческой фантазии М. А. Булгакова, нечто извлеченное из его большого пальца.

Те же булгаковеды, которые имели доступ к дневнику Булгаковой, не сумели понять многое. Во-первых, что пьеса посвящена не будущей войне и пацифизму. Она посвящена борьбе между Сталиным и правой оппозицией Бухарина, Рыкова, Томского, Рудзутака, Сырцова, Ломинадзе (1928-1930 гг.). Последние в этой борьбе сознательно или бессознательно продолжали ленинскую линию на превращение так называемой социалистической, т. е. пред-буржуазной революции в нормальную буржуазную. И Булгаков, происхождением и симпатиями связанный с ленинским крылом и обстоятельствами – со Сталиным, пытался примирить обе фракции. Соответственно, не только Ева – Нюренберг-Шиловская-Булгакова, не только Адам – Шиловский, не только Ефросимов – Булгаков. И в том, что пишет в дневнике Е. С. Булгакова, нет никакой двусмысленности. Ефросимов не отчасти сходен с Булгаковым, а Булгаков. И Ева не отчасти сходна с Булгаковой, а Е. С. Булгакова. И Адам Красовский не отчасти сходен с Е. А. Шиловским, а Е. А. Шиловский. Соответственно, переходя от первых строчек кроссворда, решенных Е. С. Булгаковой, становится очевидным, что Дараган – Сталин ((ДАРАГ-ой товарищ Ст-А-ли-Н). Что Маркизов – Маяковский. Пончик-Непобеда – Пильняк. Аня – Анна Ахматова. Кирпич – Осип Брик. Васенька – Николай Асеев. Графоман Марьян-Рощин – граф и плохой писатель Алексей Толстой. Кубик – Катаев (по его пьесе «Квадратура круга», квадрат-кубик), Туллер 1-ый и Туллер 2-ой – Каганович и Ягода, и т. д. Присутствует в пьесе также Пастернак, Мейерхольд, выступавшие против Сталина политические деятели Сырцов, Ломинадзе.

Во-вторых, Булгаков, Елена Сергеевна и Шиловский изображены не только в «Адаме и Еве». Они изображены, например, и в «Беге» тоже. Там действие происходит не в 1920-1921 годах и не в Крыму, Константинополе, Париже, а в середине декабря 1922 года и в Москве. Булгаков – сын профессора-идеалиста (отец Булгакова был профессор-теолог) Голубков («Голубков» – анаграмма фамилии «Булгаков»). Генерал Чарнота – комбриг Шиловский («чарнота» по-польски значит «шип», т. е. нечто острое, как шило). Походная жена генерала Чарноты Люська – Елена Сергеевна Шиловская (ее домашнее имя – Люся). И так же, как в «Адаме и Еве»,

где речь идет не о будущей войне и пацифизме, а о важнейших событиях политической и культурной истории России, свидетелем которой был Булгаков, так и в «Беге» речь идет не о поражении Врангеля, а о поражении Ленина в борьбе со Сталиным. Соответственно Дряхлый Игумен – Ленин (потом он стал ректором духовной семинарии в «Батуме», исключавшим молодого Сталина из семинарии-партии). Корзухин – Сталин. Белый главнокомандующий – Троцкий. Проигравший в гонках, будучи фаворитом, таракан Яньчар – Ян Эрнестыч Рудзутак (ЯН-ЫЧ-АР), которого Ленин прочил в генсеки вместо Сталина. Архиепископ Африкан – Антонов-Овсеенко, начальник Политического управления Красной армии, в одно краткое мгновение соперник Сталина в борьбе за власть. Командир полка в Конармии Буденного Баев – Ворошилов. Буденновец – Буденный. Хлудов – комбриг Николай Куйбышев, пытавшийся оказать вооруженное сопротивление антиленинскому перевороту Сталина. Монах Паисий – Н. Крестинский. Святитель отец Николай, которому молятся Дряхлый Игумен и монахи, – Николай Иванович Бухарин, бежавший от Ленина к Сталину и обратно. Артур Артурович – Бела Кун. Де Бризар – Федор Раскольников. Комендант станции – главком С. С. Каменев. Серафима Корзухина – Ольга Сергеевна Нюренберг-Бокшанская, старшая сестра Елены Сергеевны Булгаковой. Одно время О. С. была любовницей Сталина (жена Корзухина). Потом любовницей Сталина (Корзухина) стала Елена Сергеевна (Люська). А Ольга Сергеевна стала любовницей Булгакова (как Корзухина стала любовницей Голубкова).

Окончание этой невероятной, как подлинная жизнь, истории – в «Мастере и Маргарите», где Мастер – Булгаков, Маргарита – Елена Сергеевна, Воланд – Сталин, муж Маргариты – Шиловский. И Маргарита-Булгакова ради Мастера-Булгакова готова, если надо, опять переспать с Воландом-Сталиным.

Такова жизнь в высоком и низком. И без низкого не бывает высокого. Говоря словами персонажа «Адама и Евы» домработницы Ани, сказанными вне пьесы и начертанными ее собственной рукой: «Когда бы знали, из какого сора растут цветы» (Анна Ахматова).

О Булгакове, сестрах Нюренберг, Шиловском, Сталине можно говорить очень много. Достаточно сказать, что один хорошо известный писатель, современник событий, назвал

Елену Сергеевну мадам де Помпадур. Поэтому я хотел бы сказать несколько слов о Евгении Александровиче Шиловском, о третьей стороне треугольника Е. С. Шиловская – Булгаков – Шиловский, о третьей стороне пентагона Шиловский – Булгаков – Сталин – Пильняк – Маяковский, центром которого была Елена Сергеевна (пользуясь ее девичьей фамилией) Нюрнберг. Свидетели ее старости говорят, что и в этом возрасте ее замужние подруги опасались за своих мужей. А в молодости ее чарам были подвластны еще и Енукидзе и Ягода.

Анатолий Шварц сообщает о Е. А. Шиловском со слов Елены Сергеевны множество интересных подробностей. Одна из самых, конечно, интересных – связана с Булгаковым. Тот факт, что Е. А. Шиловский после развода с Е. С. отдавал ей половину своего генеральского жалования. Вряд ли это были всего лишь алименты на второго сына, Сергея. Вряд ли это было всего лишь проявлением роковой любви к Елене Сергеевне. Думается, что здесь было и понимание того, что когда-нибудь сталинская эпоха, возможно, будет называться булгаковской. Как сейчас николаевская называется пушкинской.

Как бы то ни было, сообщаемое А. Шварцем можно объединить с тем, что говорится в восьмитомной «Советской военной энциклопедии» (1980), в однотомной энциклопедии «Гражданская война и иностранная интервенция в СССР» (1983, 1987), в книге «Академия Генерального Штаба. История Военной орденов Ленина и Суворова I степени Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова». (М., Военное издательство, 1976, 1987), в книге «Военная академия имени М. В. Фрунзе. История Военной орденов Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменной, ордена Суворова академии). Воениздат, М., 1980, в воспоминаниях одного из слушателей Академии Генерального Штаба: Л. М. Сандалов. Пережитое. Военное издательство Министерства обороны, М., 1961.

Возьмем за основу статью из наиболее полной Советской военной энциклопедии и дополним ее другими источниками.

Но сначала два слова о внешнем облике Шиловского. На фотографии, которая приводится в Истории Академии Фрунзе изображен в фас холеный мужчина с тремя ромбами, лет тридцати с небольшим, с давно исчезнувшим в России пробором посередине, с ворошиловскими усами в виде аккуратно пробритого треугольника над всей верхней губой

(позднее Ворошилов стал их брить почти под Гитлера, бабочкой). Хороший лоб, волевой, но не тяжелый подбородок, несколько коротковатый, но не курносый нос, несколько женственный рот.

На другой фотографии, которая приводится Сандаловым и в Истории Академии Генштаба, 1976, в три четверти изображен мужчина лет сорока, с двумя ромбами, чуть презрительное, снисходительное выражение лица, хороший лоб, неожиданно после первой фотографии слегка крупноватый нос в сочетании с подбородком от чуть более мелкого лица. Те же пробритые усы треугольником, меньше ленинских, не сталинские, не гитлеровские, но пробор теперь более демократический, сбоку. Бунинское лицо в тридцатых годах, когда тот слегка располнел и сбрил бороду. Лицо Рахманинова, но без татарских черт и значительно более мягкое.

«ШИЛОВСКИЙ Евгений Александрович (21. 11 [3. 12]. 1889, дер. Савинки, ныне Лебедянского р-на Липецкой обл., – 27. 5. 1952, Москва [согласно А. Шварцу, т. е. Е. С. Булгаковой или М. А. Шиловской, второй жене Шиловского, умер в служебном кабинете в Академии Генштаба от инфаркта. Московский адрес в конце двадцатых годов – Большой Ржевский переулок, дом 11, особняк Маргариты в «Мастере и Маргарите». – С. И.]) (в энциклопедии «Гражданская война...» добавляется «Из дворян». Энциклопедия Брокгауза и Ефрона подтверждает то, что говорит А. Шварц: существование с XIII века старинного княжеского рода Шиловских, основатель которого был муж славный и честный и доброго рода от цесарийской державы, т. е. византийского рода. Двое его сыновей перебрались в Польшу, оттуда к киевскому князю Даниилу Романовичу. Внуки и правнуки служили князьям рязанским. Е. А. Шиловский был дважды женат: на Елене Сергеевне Нюренберг, в 1920 году, двое детей, Евгений и Сергей, обоих уже нет в живых, и на Марианне Алексеевне Толстой, в 1934 году, жива ли М. А. Шиловская, не знаю, от этого брака – дочь, жива ли, тоже не знаю. – С. И.), ген.-лейтенант (1940) (в 1937 г. был комбригом. И вряд ли во время войны он чем-то сильно отличился, если так и умер через одиннадцать лет генерал-лейтенантом. – С. И.), проф. (1939), доктор воен. наук (1943). Член КПСС с 1943. В Сов. Армии с 1918 (с сентября, как сказано в «Гражданской войне...». – С. И.). Окончил курсы высшего нач. состава при Военной Академии им. М. В. Фрунзе

(1927), а до Великой Окт. революции в 1907 – 2-й моск. кадетский корпус, в 1910 – Константиновское арт. училище, в 1917 – Акад. Генштаба (в «Гражданской войне...» называется 1916 г. – С. И.). Участник I-й мировой войны, воевал на Зап. и Юго-Зап. фронтах, пом. нач-ка операт. отдела штаба 11-й армии, капитан (А. Шварц называет его штабс-капитаном, что чином ниже капитана. – С. И.). Во время Гражд. войны участвовал в боях против белогвардейцев на Южн. и Зап. фронтах, был нач-ком. операт. управления, пом. нач-ка штаба, нач-ком штаба и командующим 16-й армией, пом. нач-ка штаба фронта (в «Гражданской войне...» добавляется: «В сент. 1918 – окт. 1919 в Высш. воен. инспекции, пом. нач. Организац. управления штаба Наркомвоена Украины [там он мог познакомиться со Сталиным. – С. И.], в окт. 1918 – мае 1920 нач. оперативного отдела штаба, в июне – окт. 1920 пом. нач. штаба, в окт. 1920 – апр. 1921 нач. штаба 16-й А.; в июле – сент. 1921 врид пом. нач. штаба Зап. фр.». [Так что разница между «Военной энциклопедией» и «Гражданской войной...» в том, что первая высшей должностью называет пом. нач. штаба Западного фронта, а вторая – врид пом. нач. штаба. В Истории Академии Фрунзе – тоже помощник начальника штаба Западного фронта. А. Шварц пишет, что Шиловский был «начштабом XVI армии, которой командовал Тухачевский». Шиловский был начштабом XVI армии, но Тухачевский командовал Западным фронтом, частью которого была XVI армия. Это первая неточность. А вторая – что Шиловский был помощником начальника штаба Западного фронта, да и то, по одному из источников, временно. Согласно Истории Академии Генштаба, 1987, стр. 23, и Истории Академии Фрунзе, стр. 54, Шиловский тоже был не врид, а просто помощник начальника штаба фронта. – С. И.]). В 1922-28 на преподавательской работе (согласно Истории Академии Генштаба, стр. 23, стал там преподавателем. То же самое согласно Истории Академии Фрунзе. Эти две Академии в то время были одной, Военной академией РККА. Тухачевский был назначен начальником Академии, приказ был отдан 5 августа 1921 г., вступил он в командование Академией 27 августа 1921 г. Согласно Истории Академии Фрунзе, стр. 55, Шиловский стал преподавателем Академии РККА не позднее ноября 1921 г. В марте 1927 г. ему было присвоено почетное звание «Преподаватель высшего военно-учебного заведения РККА. – С. И.), затем нач-к учебного

отдела и пом. нач-ка Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. В 1928-31 нач-к штаба Моск. воен. округа. С февр. 1931 в Военно-возд. акад. им. Н. Е. Жуковского: старший руководитель кафедры, нач-к фак., нач-к штаба акад. С янв. 1937 в Воен. акад. Генштаба, старший преподаватель (согласно Истории Академии Генштаба, стр. 34, в чине комбрига. К этому времени относятся воспоминания слушателя Академии Генштаба Сандалова, который, называя трех лучших лекторов, начинает эту тройку с Шиловского. Но интересно, что, согласно Истории Академии Фрунзе, стр. 108, Шиловский совмещал службу в Московском военном округе и в Военно-воздушной академии Жуковского со службой в Военной академии РККА. – С.И.), с мая 1941 нач-к кафедры (согласно Истории Академии Генштаба), стр. 34, 66-67 и 94, уже в 1937 году он был начальником кафедры военных операций. В августе 1942 г. Шиловский был назначен начальником кафедры военной истории, а вскоре после окончания войны – начальником кафедры стратегии. 3 августа 1941 г. генерал-лейтенанта Шиловского назначили врид начальника Академии Генштаба. В это время он был начальником кафедры оперативного искусства. Начальником Академии он был до 30 апреля 1942 г. – С. И.). В Великую Отечествен. войну выезжал на Зап., Брянский, Цент., Белорус. и Прибалт. фронты для изучения опыта войны (согласно Истории Академии Генштаба, стр. 77, временно прикомандировывался к Генеральному Штабу для разработки материалов по обобщению опыта войны. Это расходится с тем, что говорит А. Шварц: что Шиловский был начальником отдела Генштаба. – С. И.). Ш. вел большую научно-исследов. работу, автор ряда трудов по вопросам воен. истории, стратегии, операт. искусства и тактики, сыгравших известную роль в развитии сов. воен. науки. Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Красной Звезды и медалями». Соч.: На Березине. Действия XVI армии на р. Березине в марте – июле 1920 г. М.-Л., 1928; Контрнаступление Красной Армии в Белоруссии (14 мая – 8 июня 1920 г.). М., 1940; Рост военного искусства Красной Армии в ходе Отечественной войны. М., 1943; Разгром немецких войск под Москвой. М., 1944; Восточно-Прусская операция Красной Армии 1945 г. М., 1946. Соавт.: Таленский Н. А., Васильев А. В.; [Начальный период войны. – Подготовка и ведение оперативного прорыва. В сокр.]. – В кн.: Вопросы стратегии и опе-

ративного искусства в советских военных трудах (1917 – 1940 гг.). М., 1965, с. 497-517 (Почему-то этот список далек от полноты. В Истории Академии Генштаба, 1987, на стр. 46 указаны еще две книги, на стр. 49 – (Оперативный словарь) под редакцией Е. А. Шиловского, на стр. 77 отмечено редактирование сборника и публикация еще одной книги, на стр. 78 отмечена еще одна книга, созданная коллективом преподавателей под руководством Шиловского, на стр. 78-79 – еще одна книга Шиловского. – С. И.)».

Судьба Шиловского, с одной стороны, пересекалась с судьбой Тухачевского. На того определенно возлагал какие-то надежды Ленин в своей борьбе со Сталиным (которого поддерживали Ворошилов и Буденный). С другой стороны, его судьба пересекалась с судьбой Сталина. Сталин был любовником Бокшанской, на младшей сестре которой женился Шиловский, Сталин был любовником жены Шиловского. Это тоже, а не только отношения Шиловской с Булгаковым имеет в виду вторая жена Шиловского, М. А. Шиловская, когда говорит: «Она (Елена Сергеевна. – С. И.) причинила ему (Шиловскому. – С. И.) много горя» («Континент», № 54, стр. 134). Е. А. Шиловский, зная об отношениях Сталина и Е. С., про себя, конечно, хотел с ней развестись. Но этого нельзя было делать. Сталин был в этом не заинтересован. Он хотел, чтобы Аллилуева самоубийством освободила его. Тогда он мог бы жениться на Шиловской. И Шиловский, которому Е. С. причинила много горя, вынужден был играть малоприятную роль.

Особенно важен в карьере Шиловского период с 1928 по 1931 годы, когда Сталин боролся с правой оппозицией, а Шиловский был начальником штаба Московского военного округа, вторым или третьим человеком в округе.

Пьеса «Адам и Ева», где, как говорит Елена Сергеевна в своем дневнике, Ева – она, Адам – Шиловский и Ефросимов – Булгаков, многое проясняет в биографии Булгакова, в его отношениях со Сталиным, в биографии Сталина, в том, почему так настойчиво говорила Елена Сергеевна о том, что Сталин сохранил Булгакову десять лет жизни (об этом см. «Континент», № 53, стр. 36; № 54, стр. 118, 129). А. Шварц считает, что десять лет жизни, т. е. с 1930 по 1940, сохранились потому, что женитьба Булгакова, который развелся с Белозерской, на Шиловской, которая развелась с Шиловским, хро-

нологически случайно совпала с двумя событиями: «В эти дни Сталин снял запрет с „Дней Турбиных“ и велел принять Булгакова в театр» («Континент», № 53, стр. 36).

Если продолжать отгадку кроссворда «Адам и Ева», начатую Е. С. Булгаковой, если понимать, что следующая строчка, Дараган – Сталин, то многое становится ясным. В 1929 году (а не в 1932 г., когда – 4 октября 1932 г. – Булгаков женился на Елене Сергеевне) в одно мгновение ока преуспевающий писатель превратился чуть ли не в нищего. Все его пьесы были запрещены в театрах, все его книги изъяты из библиотек. Объясняют это ужесточением политического климата в это время. И так, но не так. Сталин понял, что, во-первых, тайнописное творчество Булгакова пускает стрелы не только в Ленина, но и в него самого. И еще Сталин узнал, что Елена Шиловская, которую он любил, любит не его, а Булгакова. Понадобилась изрядная смелость Елены Сергеевны, чтобы Сталин распорядился о трудоустройстве Булгакова сначала в Театр рабочей молодежи, а потом – в МХАТ (об этом см. пьесу «Адам и Ева», перебранка между Евой-Еленой Шиловской и Дараганом-Сталиным из-за Ефросимова-Булгакова). Произошло это, согласно А. Шварцу, не раньше 18 марта 1931 года (А. Шварц, «Континент», № 53, стр. 29). Потом понадобилась изрядная смелость Елены Сергеевны (об этом опять же см. пьесу «Адам и Ева», перебранка между Евой-Еленой Шиловской и Дараганом-Сталиным из-за Ефросимова-Булгакова), чтобы 16 января 1932 года Сталин приказал возобновить в МХАТе «Дни Турбиных» (А. Шварц, «Континент», № 53, стр. 30), пьесу о борьбе двух малосимпатичных личностей, гетмана Скоропадского (предсовнаркома Ленина) и украинского националиста Петлюры (нацмена и наркомнаца Сталина) за власть. Это был предсвадебный подарок Сталина Елене Сергеевне. И был еще один предсвадебный подарок Сталина будущим супругам Булгаковым: Булгакову разрешили вступить в писательский кооператив, в результате чего в феврале 1934 года они получили квартиру (А. Шварц, «Континент», № 53, стр. 46). Потом Булгаков женился на Елене Сергеевне. Официально произошло это 4 октября 1932 г. (А. Шварц, «Континент», № 53, стр. 37). Фактически намного раньше.

Хотелось бы надеяться, что в распоряжении А. Шварца находится копия всего дневника Е. С. Булгаковой. Имя «Маргарита» значит «перл, бисер, жемчужина». Наверняка в пол-

ном тексте дневника Е. С. еще много жемчужин. И хотелось бы думать, что найдется издатель, который сумеет разглядеть жемчуг. Он опубликует и книгу Анатолия Шварца, и дневник Елены Сергеевны Булгаковой.

С искренним уважением

Соломон Иоффе

Уважаемый Владимир Емельянович!

С интересом читаю в «Русской мысли» обзоры на «Континент» поэта Андрея Бородина – они умны, внятно написаны, благожелательны к авторам, – рада за журнал, которому наконец повезло с рецензентом. Уже одно то стоило бы отметить, что благодаря ему мы наконец узнали, чем же один журнал, – в частности, «Континент» – отличается от других.

И всё же, хоть с запозданием, напишу о № 53. В отличие от остальных, он более литературный, т. е. его «делает» не публицистика. Вот, пожалуй, четыре материала, вокруг которых, на мой взгляд, строится номер:

Иосиф Бродский-Соломон Волков – «Вспоминая Анну Ахматову»,

Лев Халиф – о Ю. О. Домбровском,

Александра Орлова – о П. И. Чайковском.

Анатолий Шварц – жизнеописание М. А. Булгакова.

Воистину, и в России, и в эмиграции сейчас *время мемуаров*.

«И станут возрождаться имена,
Как будто возвращенные из плена».

(В. Долина)

Говорят, в Москве зрители немало удивились, когда в фильме «Риск» увидели, что Гагарин, воротясь из космоса, идет с докладом к... Хрущеву. 24 года они об этом не подозревали!

Но самое отрадное: наконец-то, кажется, поняли, что биография писателя, художника – такая же ценность, как и все его творчество.

Можно представить, как будет читаться в России разговор Соломона Волкова с Иосифом Бродским – материал уникальный по ценности и безукоризненно выполненный!

Понравился мне и очерк-воспоминание Льва Халифа «Улыбка», посвященный замечательному русскому писателю Юрию Домбровскому, – опять-таки «мемуары»!

Прекрасно начало очерка:

«С Юрой мы подружились в драке. Возникшей из-за пустяка», – и сразу дана верная тональность мемуарам: отказ от всякой патетики, потому что действительно друживший с Юрием Осиповичем, любивший его, Халиф знает, что полномочный представитель рода человеческого Домбровский – не выдержал бы никакого «звона».

Тема, затронутая Александрой Орловой в статье «Тайна жизни и смерти Чайковского», – чрезвычайно трудна, осложняют ее неточности в воспоминаниях современников Петра Ильича, естественное стремление семьи скрыть причину его смерти, запретность такого рода исследований в России, где сосредоточены основные материалы, но *версия гибели от холеры* закрыла все прочие объяснения и т. п. Трудна эта тема и этически – имеем ли право мы, потомки, касаться тайны великого композитора, коль скоро он сделал все возможное, чтоб унести эту тайну с собой в могилу?

Здесь я согласна с А. Орловой: творчество художника теснейше связано с особенностями его биографии, и постичь эти особенности, пусть даже самые интимные, необходимо вовсе не из праздного любопытства, но чтоб понять до конца его внутренний мир, природу его творчества, подоплеку тех или иных его поступков. Поэтому исследователю держать в секрете от читателя то, что удалось понять, расшифровать, – нельзя.

В самом деле, на свете много эпилептиков, и далеко не все они нам интересны, но если один из них – Достоевский, то как обойтись нам без учета этой тяжелой болезни?

Исследователей и почитателей А. В. Сухова-Кобылина не может не волновать, убил ли он француженку Луизу Симон-Деманш и если да – то как это совместить с его гением?

В таких работах, однако, бесконечно важны выбранный тон рассказа, чуткость и деликатность подхода к теме (в данном случае – врожденной гомосексуальности П. И. Чайковского). Этот верный тон А. Орловой удалось найти – и вместе с тем доказать убедительно, что обо всем можно и нужно писать, когда исследователь воспринимает как трагедию то, что было трагедией исследуемого.

Более того, автор статьи совсем не касается вопросов, с кем, когда, где был близок Чайковский, хотя сам он в письмах иной раз и сообщает об этом.

Статья заканчивается словами: «В публикуемой работе объединены все известные в настоящее время свидетельства, как письменные, так и устные. Не исключено, что могут открыться новые подробности. Поэтому я не считаю тему закрытой».

Отнюдь не претендуя открыть новые подробности, я хочу рассказать то, что известно мне от моей семьи. С детства я уверенно знала о *самоубийстве* Петра Ильича Чайковского и о причине самоубийства – вот каким образом. Моя бабушка со стороны отца – театроведа и критика Евг. Кузнецова (в 1920-22 гг. он входил вместе с М. Ф. Андреевой и Б. В. Асафьевым в редколлегию газеты «Жизнь искусства») – Вера Сергеевна, была урожденная *Денисьева*. На ее старшей сестре Ольге был женат Николай Ильич Чайковский – брат композитора. Умерла Ольга Сергеевна задолго до моего рождения, лишь по семейным рассказам (больше всего – от Веры Сергеевны) я знаю, что была она женщина умная, глубоко религиозная (без аффектации), сдержанная, твердая характером, не болтливая, умевшая подчас находить решение вопросам, казалось бы, неразрешимым. Так, она приняла самое деятельное участие в сокрытии другой «тайны» братьев Чайковских – усыновила внебрачного ребенка их племянницы Татьяны Давыдовой – Георгия. Его крестным отцом был Петр Ильич, который высоко ценил Ольгу Сергеевну и неоднократно писал об этом в письмах к Модесту Ильичу.

Я потому особенно останавливаюсь на личности Ольги Сергеевны, чтоб дать представление о человеке, чьи свидетельства, в виде дневниковых записей моего отца, сохранились в нашей семье.

Вкратце свидетельства эти вот какие:

1. Смерть П. И. Чайковского наступила не от холеры, а была самоубийством.

2. Способ самоубийства он избрал сам, и сам же принял смертельную дозу яда.

3. Семья Чайковского (во всяком случае – брат Николай, который присутствовал при кончине П. И., и Ольга Сергеевна) знала об этом. В семье Чайковских и среди породнившихся с семьей – это скрывалось: в этом видели огромный урон

для дворянской чести фамилии и для великого имени самого композитора.

4. Что касается царя Александра III, какая бы то ни было его причастность к смерти Чайковского отвергалась решительно.

Помню, когда приходившие к отцу литераторы или актеры неосторожно касались версии, что Петр Ильич Чайковский вынужден был уйти из жизни из-за своего преувеличенного внимания к юному наследнику, бабушка Вера Сергеевна вмешивалась яростно, агрессивно. Она любила повторять слова царя (приводимые и в статье А. Орловой): «Графов и баронов у меня много, а Чайковский – один». Говорила, что в этой трагедии оказалось два истинных дворянина – Чайковский и царь Александр III.

Появление в «Континенте» статьи ленинградского музыковеда Александры Орловой, проделавшей многолетний и кропотливый труд, можно только приветствовать.

Никакого урона для чести П. И. Чайковского не произошло, ни малейшей тени не брошено на его имя и гений. Напротив, умолчание и сокрытие «тайны» давало повод досужим – и лживым – домыслам и сплетням.

Документальное повествование Анатолия Шварца называется «Жизнь и смерть Михаила Булгакова». То есть не больше, не меньше – судьба Мастера.

Добровольных «булгаковедов» сейчас в России много (хотела написать, что это «модно», но уж очень не подходит это слово к Мастеру)*.

Но с другими «булгаковедами» Анатолия Шварца трудно сравнивать, он и родину покинул для того, чтоб написать правду о Булгакове.

«Книгу о Булгакове я задумал давно, – пишет он, – как только познакомился с Еленой Сергеевной, когда и мысль об отъезде казалась мне кошунственной... А уехал я, когда понял, что ни о Булгакове, ни о ком другом писать правду мне не дадут...»

* Как-то около Большой Бронной подошел ко мне потрепанный мужичок, типичный алкаш, выпрашивавший недостающую до бормотухи мелочь, и предложил мне показать «место, где Аннушка пролила подсолнечное масло!» Воистину, только в России бывает такое! – Н. К.

Слова эти для меня не убедительны: самые смелые и опасные для авторов произведения были написаны в России – «Архипелаг ГУЛАг», «Жизнь и судьба», «Доктор Живаго», да и все произведения Михаила Афанасьевича Булгакова.

Вот в близкое знакомство с Еленой Сергеевной верю.

Действительно, о женщине, которая стала «тайной женой» Мастера, потом любимой женой Люсей-Леной, потом вдовой Еленой Сергеевной Булгаковой, написано подробно и любовно.

Эта женщина в черном весеннем пальто, несшая в руках «отвратительные, тревожные желтые цветы», поразившая когда-то Мастера необыкновенным одиночеством в глазах, – была щедра и откровенна в разговорах с Анатолием Шварцем, как, впрочем, и с Владимиром Лакшиным, Александром Аскольдовым, Мариэттой Чудаковой, Дианой Тевекелян, Анатолием Смелянским и многими, многими другими.

Как уже отмечалось литературоведами – произведение не только воздействует на самого творца, но и на его окружение.

Так, Елену Сергеевну Булгакову, которая известна миру как «Маргарита», Сергей Ермолинский (если ему верить) знал совсем молоденькой женщиной, когда она была еще не знакома с Мастером. И вот что осталось его впечатлением тех лет: «Это была веселая, кокетливая, небезупречного вкуса особа, которая на какой-то вечеринке лазила под стол и которую звали Ленка-боцман».

Может быть, это и сушая правда, но представить ее такой нам трудно.

В. Я. Лакшин, подружившийся с нею в 1962 году, описывает ее дамой совсем иного рода – «сердечной и безукоризненно светской, расчетливой и безудержно щедрой, веселой и горестно-проницательной».

Его дополняет Ан. Шварц:

«Правду сказать, Елена Сергеевна поражала меня удивительным сплетением гостеприимства, безмерной щедрости и голого расчета».

Насчет «голового расчета» автор «Континента» пояснений не дает (лакшинское «расчетливая и безудержно щедрая» – это, согласитесь, не «голый расчет»), вряд ли к таковому можно отнести слова вдовы Мастера:

«Я публикую книги М. А. по давно намеченному плану...», т. е. продумала задолго и во всех деталях тактику длительной борьбы за возрождение булгаковского наследия.

Думаю, что Ан. Шварц просто неловко выразился в данном случае, потому что, повторяю, в остальном о Елене Сергеевне написано почтительно и любовно, ей «повезло», и слава Богу: о женах и вдовах великих людей и нужно писать с пиететом, потому что хотя бы, что не мы этих женщин выбирали в жены гениям, а сами гении, а личность гения нам до конца понятна быть не может, значит и способ жизни тех, кто с ним рядом, не может до конца раскрыться.

Но, как сказано у поэта, «была еще одна вдова, она любила». Конечно, слова поэта и наследование по закону или по завещанию – вещи разные, и, тем не менее, Любви Евгеньевне Белозерской-Булгаковой посвящены «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Мольер» и др. произведения; именно будучи женатым на ней, Булгаков обратился к Сталину с письмом:

«Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любви Евгеньевны Булгаковой».

Этого текста Ан. Шварц не приводит.

Итак, 28 марта 1930 года Михаил Афанасьевич с женой Любовью Евгеньевной решает выехать за границу.

«Нет, не верю я в эту любовь», – пишет Ан. Шварц на стр. 52 «Континента» и не дает никаких пояснений, хотя страницей позже, «поймав» Булгакова на том, что сходные телеграммы из Мисхора, из пансионата «Магнолия», он посылает и Любаше, и Елене, автор «Континента» восклицает: «Кого же он все-таки любил, Любашу или Елену?»

И далее опишет свое посещение Л. Е. так, чтобы подвести читателя самого к выводу:

«...у Белозерской коты, много котов. Одного зовут Тире. Это самый любимый кот, и он где-то загулял. „Тире, Тире“, – кричит она в форточку, из которой валит морозный пар, а я смотрю на худые, дрожащие ноги с острыми лодыжками и думаю: „Неужели эту женщину любил Булгаков? Целых семь лет!“»

А через три страницы снова:

«Нет, не верю я в эту любовь».

У произведения Ан. Шварца есть подзаголовок «Документальное повествование», а уж коль скоро объявлен жанр доку-

менталистики, то автор взял перед читателем обязательство быть исторически точным. Не веришь в любовь Мастера к женщине, бывшей семь лет его женой – приведи неопровержимые доказательства, иначе скромное предположение преобразуется в прямое утверждение, которое иные любители вот-вот введут в гражданский оборот.

Думаю, что если б эта «нелюбовь» была доказана, допустим, письменным признанием Михаила Афанасьевича Булгакова, то это было бы *шоком* для его почитателей.

Не любил и прожил семь лет вместе! Посвящал произведения, наконец, хотел выехать в эмиграцию, где женщина становится не только женой, но в возросшей степени соотечественницей. Но что поделаешь – не верит Шварц в эту любовь!

Между тем, Любовь Евгеньевна написала достойную книгу «Мед воспоминаний», о лучшем, что было в ее жизни – о Булгакове, где нет сведений счетов брошенной жены, вообще нет ничего о причинах разрыва. Да, она не пыталась вернуть Булгакова, потому как поняла, что «стенать, молить, рыдать – всё это недостойно». А многие ли способны это понять?

Вот диалог Любви Евгеньевны и Ан. Шварца:

Л. Е.: – Нет, я не виню его ни в чем...

Ан. Шварц: – Но ведь он ушел от вас?

Л. Е.: – Нет, его увели... Когда я вспоминаю его жалкое, бледное лицо во время нашего расставания, глаза полные слез... Нет, нет, он здесь ни при чем.

Прекрасно отвечает Любовь Евгеньевна, хотя вопрос «но ведь он ушел от вас?» – уж очень подпадает под то, что еще Пушкин именовал «безнравственностью нашего любопытства». Только ради ее ответа согласимся, скрепя сердце, что исследователь имеет право на подобные вопросы.

Да, именно эту женщину любил Булгаков семь лет своей недолгой жизни. И, возможно, ее привязанность к котам и дала нам починяющего примус и сэкономившего гривенник Бегемота. А что до «дрожащих ног и острых лодыжек», то напомним стихи, посвященные другой вдове (если не ошибаюсь, Алисе Коонен):

«Была б ужасной и улыбка та,
И пальчик тот в игривой укоризне,
Когда б не глаз зеленых доброты, –
Всё, что осталось от прожитой жизни».

Жаль, что эту доброту не заметил Анатолий Шварц. А она была, смею так сказать, потому как неоднократно видела Любовь Евгеньевну в 1956 – 1966 годах, вместе с ее подругой (и большим другом М. А. Булгакова) Марикой Артемьевной Чимишкиан. Встречала я их у тифлисского друга Марики Артемьевны, бывшего «парижанина», а ныне москвича, художника по костюмам Эдмунда Эдмундовича Себастьянского, кстати, отсидевшего в лагере за свое «парижанство».

Я нарочно указала год – 1956: тогда Булгаков был предан забвению – и именно от этих двух женщин я впервые о нем услышала. И в том, как говорила Любовь Евгеньевна, безошибочно чувствовалось, что эта женщина любила и была любима Булгаковым. (То же ощущение я вынесла и при посещениях уже очень больной и престарелой Марии Федоровны Андреевой в 1949-50 гг., когда она с моим отцом говорила о Горьком. Даже в тоне ее речи чувствовалось, что она была любима, любила и продолжает любить, хотя воспоминания ее касались вещей вполне будничных*.)

Любовь Евгеньевна поразила меня полным отсутствием позы, фальши, жеманства, утонченной воспитанностью, образованием – она свободно владела по меньшей мере двумя иностранными языками – и удивительным, чарующим доброжелательством.

Недавно в «Новом журнале» № 166 опубликован материал, присланный из Москвы, «Вокруг Булгакова», под инициалами Н. Б. (подготовил к печати Гр. Поляк). Я думаю, эта публикация многое прояснит в ситуации, сложившейся вокруг Любви Евгеньевны Белозерской-Булгаковой.

Сразу оговорюсь, что можно понять и Елену Сергеевну, которая не способствовала месту Л. Е. в посмертной жизни мужа.

Ведь не все вдовы так не ревнивы и так великодушны, как Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, слово которой оказа-

* В книге Н. Берберовой «Железная женщина» содержится неточность – на стр. 165 она пишет о И. П. Ладыжникове: «Он пережил 30-е годы, смерть Максима, смерть самого Горького... войну, позже – смерть Марии Федоровны (Андреевой), с которой его связывала пятидесятилетняя дружба... и умер в глубокой старости, в 1945 году»...

Но М. Ф. Андреева (ур. Юрковская, в первом браке – Желябужская) скончалась летом 1953 года.

лось решающим при публикации воспоминаний о Чехове Лидии Алексеевны Авиловой, воспоминаний, которые многие «чеховеды» тогда считали сомнительными. (И. А. Бунин, знавший Авилову по России, высоко отзывался о ней и в ее правдивости не сомневался*.) Не запрещала Ольга Леонардовна и восторженные биографические статьи о Лике Мизиновой, которую Чехов отверг.

Но для этого, наверно, надо быть Книппер-Чеховой, за которой всю жизнь тащила клевета, и даже ужасный вагон из-под устриц, в котором привезли из Германии гроб Чехова, был кем-то приписан ее злой воле.

Уже давно замечено, что злословие особенно ядовито, когда речь заходит о женах великих людей.

Не нужно, не располагая доказательствами, вторгаться в их семейный мир, в их любовь и память.

Мне кажется, что несправедливые страницы о Л. Е. Белозерской-Булгаковой дешевают ценную работу Ан. Шварца, несомненно внесшего свой вклад в «булгаковедение».

Искренне расположенная к Вам и к журналу «Континент»

Наталья Кузнецова

Сентябрь 1988, Висбаден

* Вот что писал И. А. Бунин в очерке «О Чехове»: «А ведь до сих пор многие думают, что Чехов никогда не испытал большого чувства. Так думал когда-то и я. Теперь же я твердо скажу: испытал. Испытал к Лидии Алексеевне Авиловой». — П р и м. Н. К.

Критика и библиография

КАЛИГУЛА ИЛИ ГАМЛЕТ?

Известный историк Натан Эйдельман, автор книг «Герцен против самодержавия», «Лунин» и множества других интереснейших работ по русской истории прошлого века, специалист по декабризму, написал исследование, посвященное краткому, но предельно насыщенному периоду в истории России: четырехлетнему царствованию Павла Первого.

Этот период всегда официальные историки проскакивали, как бы скороговоркой отделялись от «опасного» четырехлетия. Опасного, потому что не существовало никакой официальной партийной установки: как расценивать эти годы, «положительно»? И речи быть не могло. «Отрицательно»? Тогда нужно сообщать подробности, которые грозили не уложиться в схемы, а без схем, как известно, четко разделяющих события на черные и белые, советская историческая наука существовать не может.

Не может, потому что орвелловская формула «кто управляет прошлым, тот управляет будущим» продолжает быть главной негласной установкой, определяющей весь смысл «советской историософии».

В годы моей работы в Павловском дворце (да и до того, насколько мне известно) история царствования Павла, точнее – история России в эти четыре года, максимально замалчивалась. Такова же была и «спущенная» музеем установка: «только искусство, только „интерьер и парк“, и поменьше истории». Когда, в качестве главного методиста музея, я поинтересовался мотивировкой столь странного указания, мне ответили, что «история этого периода содержит столько неясностей, что лучше ее вообще избегать».

Все это я рассказываю потому, что сам по себе выход книги Н. Эйдельмана в начале 80-х годов был явлением из ряда вон выходящим.

«Грань веков» – называется это обстоятельное исследование. Забавно, что аннотация сообщает, будто книга показы-

вает «попытки Павла Первого остановить поступательное движение страны к свободе, к свету». Автор якобы «вскрывает причины краха этой политики». Забавно потому, что вся книга с ее богатейшим фактическим материалом, книга, в которой цитируются все возможные, все мыслимые источники, но без идеологической фальсификации, доказывает, что сложность этого периода как раз и состоит в постоянной, ежечасной двойственности политики Павла, что ни черной, ни белой краской изобразить эту эпоху невозможно, что «отрицательные» факты и личности не могут оцениваться однозначно, как и «положительные» (которых, впрочем, советские историки в этом периоде просто не видят).

Книга Н. Эйдельмана – попытка вне идеологической предвзятости, «не мудрствуя лукаво», как советовал Пушкин, собрать все, что можно, об этом четырехлетии и – главное – о пружинах и результатах переворота 11 марта.

Прежде всего – об исторической концепции автора. Из всей книги следует, что так называемые «объективные обстоятельства» играют в истории роль вторичную. Роль личности в истории – впервые, кажется, в советской историографии – принята всерьез.

Павел предстает нам не как «выразитель» или «исполнитель» тех или иных «объективных» (читай, безличных) интересов тех или иных классов или групп, а как живая личность, имеющая свои пристрастия и свои интересы и связывающая их с интересами тех или иных людей, а затем уже тех или иных групп... Таким образом схоластическая схема «классового подхода» автором просто игнорируется, что вполне понятно, ибо ее примитивность и ненаучность стесняет любого серьезного исследователя, заставляя его отбирать одни факты и свидетельства и опускать другие...

Впервые советский историк посмел процитировать, к примеру, высказывание Герцена, как ни странно, «в пользу» того, кого по традиции, идущей от времен Александра Первого, принято было считать деспотом и сумасшедшим: «Тяжелую, удушливую старушечью атмосферу последнего екатерининского времени расчистил Павел».

Впервые – ссылки на таких современников, «нейтральных наблюдателей», как Лагарп или Саблуков, которые «толковали о причудливом совмещении тирана и рыцаря». Эйдельман ставит вопрос прямо: «Чего желал нервный, экзальтиро-

ванный, достаточно просвещенный 42-летний российский Гамлет, вступив на престол?» И, приводя бесчисленные факты, всей своей книгой отвечает как на этот вопрос, так и на вопрос о том, кому выгодно было убийство 11 марта. В этом втором вопросе речь идет не о том, что, дескать, английские интересы, поскольку Павел послал казаков в Индию (как это проскальзывало не раз в советских учебниках), а прежде всего о роли наследника Александра в этих событиях. Традиционно (не знаю уж, почему советским идеологам так надо было это!) роль Александра I всячески принижалась, порой сводилась к нулю. Эйдельман неопровержимо доказывает, что Александр играл в заговоре одну из главных ролей. Кроме того, малоизвестный факт общения главного из заговорщиков 1801 года графа Палена с Пестелем во многом проясняет идеи пестелевского, «тоталитарного» крыла в декабризме. «Пестель был ученик графа Палена, ни более, ни менее», – писал декабрист Иван Горбачевский. А Никита Муравьев – идеолог и вождь демократической части декабристов – писал: «Заговор *под руководством* Александра лишает Павла жизни и престола без пользы для России».

Эйдельман и далее прослеживает параллели между 1801 годом и тайными обществами первой четверти века: «Структура заговора во многом предвосхищает структуру будущей власти: конституционное правительство в случае успеха декабристов было бы продолжением тайных обществ на ином уровне, улучшенное самодержавие, которого добивались конспираторы 1801 года, предвосхищалось „самодержавной структурой“ паленского заговора».

Но вернемся к оценке личности и дел Павла.

«Чем же была все-таки павловская система?»

«Непросвещенным абсолютизмом?» – к такому выводу приводит историк Предтеченский. Или правлением «первого противодворянского царя этой эпохи», как заключает Ключевский?

Ни тем, ни другим, доказывает Эйдельман. Хотя элементы и того, и другого в павловском правлении имеются. «Деспотическое и революционное правление», – говорит Герцен. А Пушкин в 1834 году заявил великому князю Михаилу Павловичу: «Вы все Романовы революционеры-уравнители». – «Спасибо», – ответил великий князь, – так ты меня жалуешь в яковинцы?»

На самом деле система Павла, по Эйдельману, – это утопия: «консервативная модель, воображаемый союз царя (окруженного верными рыцарями) с покорным, верным народом», нечто вроде «круглого стола» Артура. Система прежде всего антидворянская, следовательно – по обстоятельствам той эпохи, «антиинтеллигентская».

Но и этим не исчерпывается определение. Автор разделяет просвещенное дворянство того времени на «истинно просвещенных» и «циников», говоря, что антипавловская оппозиция в основном в среде циников и процветала. (Напоминание, что Радищев, братья Тургеневы, Жуковский были определенно сторонниками «русского Гамлета».)

Множество фактов и свидетельств (в том числе и самой Екатерины Второй) опровергают версию о какой бы то ни было психической ненормальности Павла. Вспоминаю, как покойный профессор Окунь на мою просьбу определить Павла как человека одним словом, ответил: «Несчастный». Версия о сумасшедшем на троне была выгодна прежде всего Александру – оправдывала его заговор. Факты же самих павловских реформ – если исключить явные анекдоты – говорят о человеке вспыльчивом, но одновременно логичном, деспотичном и одновременно либерально-рыцарственном. Формула *«рыцарство против якобинства»* наиболее точно характеризует концепцию автора этого незаурядного исследования. «Облагороженное неравенство против злого равенства», – пишет Эйдельман, отмечая, что «консервативная утопия» Павла во многом обязана своим существованием масонству его. Фонвизин не раз изображает наследника как носителя идей Стародума (как, впрочем, и Панина-отца, одного из главных врагов императора). Понятие о чести («Павел совсем не лжет, в отличие от беспрерывно лгавшей матушки»), особая роль чисто эстетических ценностей в системе ценностей Павла, тот факт, наконец, что «земледелие, промышленность, торговля, искусства и науки имели в нем надежного покровителя», как свидетельствует Саблуков, вместе с тем – указ о цензуре ввозимых из-за границы книг, прозвище русского Гамлета и одновременно русского Калигулы – приводят Эйдельмана к единственно правильному выводу: «прогрессивность» или «консервативность» того или иного явления – вещи настолько относительные, что не могут быть критериями.

Многие свидетельства говорят, что, ненавидимый офицерством, Павел был любим солдатами, – этот факт, видимо, сыграл свою роль в оценке личности его Львом Толстым. Впрочем, и ограничение произвола помещиков указом о трехдневной барщине тоже говорит, что Павел, антидворянски настроенный, хотел опираться на простой народ. По словам историка Шильдера, «Закон столь решительный, – попытка подготовить низший класс нации к состоянию менее рабскому».

Интересно, что так называемая «Тайная экспедиция» (екатерининское ГБ) при Екатерине разбирала в среднем по 25 дел в год, а при Павле – по 180! Из них 44% дворяне! Причем все дела – политические! По тем временам, конечно, особенно если учесть малочисленность дворянства в сравнении с прочими сословиями, – это немало, но все познается в сравнении, а сравнение с нашим временем напрашивается при чтении книги часто...

Особенно, если читаешь главу, которая названа по высказыванию кого-то из современников Павла, кого-то из «просвещенных дворян»: «Скоро это лопнет»...

И вместе с тем пред нами предстает образ человека не только яркого, хотя и верящего в утопии, но и остроумного (что само уже отрицает идею сумасшествия). Так приводится насмешливое предложение Павла вместо войн всем монархам выйти на дуэль. Идея, тоже не лишенная смысла! «Итак, консервативно-рыцарская утопия Павла возводилась на двух устоях (а фактически на минах, которые сам Павел подкладывал): всевластие и честь, – пишет Эйдельман, отмечая, что это мины потому, что противоречие между двумя устоями непреодолимо: – Основа рыцарства – свободная личность... тогда как царь-рыцарь постоянно подавлял личную свободу».

Остается только пожалеть, что эта блестящая книга, делающая – без преувеличения – переворот в подходе к истории «в боязливом нашем отечестве», была издана «без объявления» и тиражом всего в 50 тысяч, что означает практически малодоступность для читателя.

Василий Бетаки

ХУДОЖНИК БЕРЕТСЯ ЗА ПЕРО

О художнике Льве Сыркине я, к сожалению, услышал только здесь, на Западе, а точнее – в Израиле. Хотя имя его в Советском Союзе пользовалось достаточно широкой известностью, как мастера – монументалиста и декоратора. Он – соавтор проекта реставрации всего Камероновского комплекса в Большом Екатерининском дворце в Царском Селе под Ленинградом, самой большой в Европе мозаики в центре Москвы и создатель стопятидесятиметровой мозаики в парке правительственной зоны отдыха, а также автор и соавтор множества других монументальных работ, украшающих сегодня в нашей стране ряд декоративных плоскостей в нескольких республиканских столицах.

Соответствующим, как вы, надеюсь, догадываетесь, был и, что называется, социально-гражданский статус Льва Сыркина в советском обществе. В своей книге «Я вам не должен!», вышедшей совсем недавно в иерусалимском издательстве «Кахоль-лаван», он пишет об этом сам, хотя и несколько юмористически:

«Я – баловень судьбы: Россия, советская власть дали мне так много: счастливое (спасибо тов. Сталину!) детство. Прекрасное образование. Великолепную квартиру. Замечательную студию. Привилегированное положение. Я не заботился ни о работе – мне ее давало государство. Ни о деньгах – мне их щедро платило государство. Когда я вышел на орбиту – я был совершенно свободен в своем творчестве, поскольку раз и навсегда решил, что искусство мое с политикой не сумеет сосуществовать.

И так как я – декоратор, монументалист, мне это удалось:

Несмотря на: отдельные нетипичные антисемитские выкрики соседей, прохожих, пассажиров в трамваях, поездах и на улицах, неоднократно кричавших мне в лицо: „Убирайся в свой Израиль!“

И невзирая на: ежедневное неправильное и нехарактерное отношение отдельных газет, радио и телевидения к самому сильному врагу мира – государству Израиль.

Лев Сыркин. Я вам не должен. Иерусалим, «Кахоль-лаван», 1987.

И относясь с пониманием: к ежедневному нецеленаправленному кропотливому труду газеты „Пионерская правда“ по воспитанию молодой поросли в духе ненависти к убийцам арабских детей.

Конечно, понимаете ли, был уважаем, благополучен, здоров и упитан. И счастлив в личной, творческой и общественной жизни.

У меня было все! Кроме...»

Здесь я сознательно обрываю цитату, потому что этому самому «кроме» и посвящена небольшая по размеру, но удивительно ёмкая по содержанию книга Льва Сыркина.

Эта книга прежде всего о целительном обретении родины в самом корневом, онтологическом смысле этого слова. Не столько о внешнем, сколько о внутреннем, духовном и душевном пути в Израиль, а путь этот складывался для автора далеко не однозначно.

Сорок с лишним лет прожитых им в Советском Союзе он повседневно чувствовал себя чьим-то неоплатным должником. Сначала товарища Сталина – за подаренное ему счастливое детство, затем – советского государства за полученное образование, после этого Союза художников – за предоставленные заказы и, наконец, ОВИРу – за выданную в конце концов визу на выезд в Израиль, за которую, впрочем, ему пришлось уплатить четырнадцать тысяч сто рублей наличными в силу вышедшего тогда постановления правительства о возмещении государственных расходов по образованию.

Но, оказавшись на исторической родине, Сыркин, к своему удивлению, обнаружил, что и здесь ему приходится начинать с долгов. Перед Сохнутом, который его сюда доставил. Перед министерством абсорбции, которое выдало ему ссуды на бытовое обустройство. Перед народом, наконец, который так гостеприимно принял выходцев из Советского Союза.

Оказалось, что двадцать шесть сделанных им в Израиле монументальных работ, включая самую большую в этой стране мозаику в Содоме, где ему пришлось в одиночку только одних камней расколоть и уложить около полумиллиона (и это чуть не в пятидесятилетнем возрасте!), не покрывают его метафорических долгов перед новой родиной.

Другой бы на месте такого художника плюнул бы на все в сердцах и махнул бы (что, к сожалению, на его месте иные и делают!) искать по свету, «где оскорбленному есть чувству

уголок», благо подобных уголков в свободном мире более чем достаточно. Но Лев Сыркин приехал в Израиль не за славой и не за благополучием, хотя, разумеется, и от этого не отказался бы. Он приехал обрести собственную родину. И обрести навсегда.

Поэтому из трудного опыта он сделал выводы, только укрепившие его в этом мучительном, но просветляющем обретении.

И здесь я снова предоставляю слово самому автору:

«Это – заняло у меня несколько лет. А точнее – ровно 50. Из моих тогдашних 56.

А еще точнее – с 1935 года, когда я, шестилетний, сдавал в детском садике, в Москве, выданные мне папой двадцать копеек на испанских детей. И до 1985 года – когда я, сам уже трижды папа, сдавал в Иерусалиме выданные мне женой деньги на эфиопских детей.

Я – понял!

За что я сердечно и искренне благодарен.

Товарищам из партии – там, на моей исторической.

И господам из разных противопартий – здесь, на моей до-исторической.

Я понял ваш лозунг, почти правильно сформулированный великим селекционером тов. Мичуриным:

„Мы не можем ждать милостей от народа. Взять их у него – наша задача!“

Я – понял!

И теперь, поняв, – я, слава Богу, истинно свободен.

Я свободен! И я никому не должен!

Слышите, вы – в Кремле, в Кнессете, в Сохнутах?

Я вам не должен!

Р. С. Сегодня великий день. Я понял, в чем смысл жизни на земле, какова истинная сущность рода людского. И что с этим делать. Да ничего не делать. Бесполезно. Я это понял. И уже теперь-то я, действительно, никому ничего не должен.

Кроме банка».

И выше:

«Здравствуйте! Никогда не оставлю тебя, Израиль! Хочешь ли ты меня, не хочешь ли – никогда не оставлю. Всегда вернусь к тебе, потому что я – хочу тебя, потому что

я – люблю тебя!.. Израиль! Люблю тебя. О Господи... Будь ты проклят!»

Согласитесь, что в такой вот, по-настоящему взыскующей страсти больше любви к вновь обретенной родине, чем во всех ультрапатриотических заклинаниях, за которыми, как правило, не стоит ничего, кроме чванного равнодушия или своекорыстного расчета.

Побольше бы таких честных, возвышающих сердце и просветляющих душу книг! Пути в Израиль стали бы куда осознаннее и прямее.

В. М.

ЧЕЛОВЕК С КНИГОЙ

Человек – это звучит вовсе не гордо. Это звучит горько... Сия максима, однако, вытекает совсем не из мировоззрения «Буревестника революции», – наоборот, она пародирует его. А если повторить вслед за Георгием Ивановым:

Бедные люди – пример тавтологии,

то эта идея соотнесется с тем, кто впервые высказал ее, – Ф. М. Достоевским. Люди – значит, бедные... Именно так, как вздох сожаления и сочувствия, а не в качестве имущественного признака, должно произноситься название его повести: Бедные люди!

И, хотя изначальная горечь людского существования не является заметно-главной темой книги избранных стихов Льва Друскина «У неба на виду», но уже само наименование выглядит апелляцией автора – к Автору иному: «неба и земли, видимых же всем и невидимых», и, значит, в какой-то мере, откровением своей человеческой «не-гордости»...

В сущности, это – как бы отчет перед гипотетически высшей инстанцией о четырех декадах-десятилетиях деятельности стихотворца, когда-то известного члена Союза советских писателей, а ныне просто свободного художника Земли Вюртембергской...

Лев Друскин. У неба на виду. США, «Эрмитаж», 1985.

Не претендуя, конечно, на «высший суд», попытаемся все же рассмотреть этот сборник глазами скорее дружественного читателя, чем взглядом «критика-аналиста». Сравним с книгой наш общий опыт – тамошний и здешний, тем более, что она вся – как раз об этом. Метод, разумеется, – ахово простой, но и эффективный, не в пример многим иным, негативным или претендующим на бесстрастную научность.

Однако оговоримся, что расхваливать зря не будем!

Но, поскольку сборник, действительно, составлен ясно и стройно (в нем 4 части, – каждая обозначена своим десятилетием; плюс пятая, итоговая), будем и мы следовать этому принципу.

Итак, годы *Пятидесятые*... Открывается этот период, а заодно и вся книга, воспоминанием о предыдущей эпохе 40-х, грозных и горьких, блокадных и ленинградских, которых сполна довелось хлебнуть тогда совсем юному поэту. И, с другой стороны, этот период примыкает к *Шестидесятым*, знаменитым на Западе по их общественно-историческому новаторству.

Здесь интересно сопоставить наш опыт с тем, о чем бушевали и бунтовали наши западные сверстники десятилетием позже... Все это, в принципе, было уже пройдено нами в 50-х, только по более существенным, как нам кажется, поводам: смерть и разоблачение Сталина, Венгерская революция, надежды на конец деспотий...

Действительно, по социальному опыту мы всерьез опередили Запад: ни хромоногий Сартр, ни буддоподобный Мао не соблазняли нас на фрейдистские протесты. Наши попытки, кажется, были честней, позитивней, жертвенней. Они и были раздавлены танками в Будапеште, знаменовались самоубийствами офицеров, и надолго вперед остались приправлены оцетом и желчью...

Потому только в плане несбывшихся (но прежде и небывалых) надежд говорит о *Пятидесятых* Друскин, в образах как бы романтических европео-советских традиций (Багрицкий, Антокольский), с энтузиазмом раздувающих кавалерийскую метафору: пламя костров превращается в огнегривых коней. Только, увы:

На них не уедешь,
На них не умчишься...

Метафора оседает на дно стихотворения горькой солью иронии.

А вот еще один расчет с хмельной пиратско-бригантинной романтикой, с последними отголосками социально-преобразовательских восторгов:

Тает в море моря украшенья
И так горько слушать утешенья:

«Потерпи немного, станешь юнгой,
А потом, конечно, и матросом,
А потом и боцманом, пожалуй,
Ну а там, глядишь, и капитаном».

Знаменательно, что стихотворение это посвящено погибшему на войне поэту Б. Смоленскому, автору некогда популярной «Песни о бригадине». Для его сверстников, кто выжил и пережил Сороковые, уже не социальный абордаж стал привычен в Пятидесятых, а лишь планомерное карабкание по осклизлой лестнице Союза советских, скажем, «боцманов»...

Среди нестандартных тем этого раздела кажутся особо трогательными и честная ревность, и стыд неадекватности своим же (и Божественным о себе) замыслам, и даже просто плохое настроение. Просто плохое настроение! А нотка литературности, которая всегда была потенциальным упреком для Друскина, должна найти свое место и верную оценку именно во всей перспективе его поэзии, для чего «Избранное» – как нельзя более удачный повод.

В самом деле, уйма писателей: Еврипид, Шекспир, Бернс, Дюма (отец, сын и чуть ли не дочь), Шодерло де Лакло, Золя, наши Грибоедов, Лермонтов, Кузмин, Маршак (ранний покровитель Друскина) и далее, вплоть до Самойлова и Кушнера, являются литературными реалиями его сборника. Но чем писатель как предмет поэзии хуже, скажем, общелирических зорь, трепета любовных ожиданий или признаков наступающей старости?

Разве книга – меньшая реальность, чем все перечисленные трюизмы? Однако в литературном быту 50-х (и даже позже) приходилось отстаивать эту очевидную истину, пока не появилось подспорье – переведенное Пастернаком стихотворение Райнера Марии Рильке о человеке с книгой:

Я зачитался. Я читал давно...

Да, Друскин – это поэт-читатель; он тоже читал давно, и читал много: первый признак интеллигентности и, значит, диссидентства по логике того времени. Я мыслю; следовательно, я мыслю иначе... Да, человек с книгой, старинная эмблема отжившего свой век издательства, оказалась бы вновь как нельзя более уместной на шмуцтитule этого сборника. Собственно, сочетание человека (интеллигента) с книгой (запрещенной или самоиздатской), можно даже сказать, переходит в символ годов *Шестидесятых*, когда за такие дела ближние наши шли в ГУЛАГ и психушки. Неслучайно в соответствующем разделе сборника центральным оказалось стихотворение, начинающееся так:

Когда я вижу Борю Зеликсона,
Я забываю, что я сам персона,
Я вижу те мордовские края...

И заканчивающееся не менее характерно:

Поговорим о бурных днях ГУЛАГа,
О Пушкине, о дружбе, о любви.

И – о Герцене, добавим мы, и – о его жертвенных продолжателях, выпускавших в дни нашей юности журнал «Колокол»...

Наверное, эта рецензия может показаться пристрастным комментарием к книге лирики, но ведь и сам поэт находится *не над* политической поножовщиной – он, увы, оказывается до поры *внутри* ситуации, хотя оружия своего в ход не пускает. Если бы жизнь была похожа на сказку-сатиру с намеками, то он сыграл бы в ней волшебника в духе Евгения Шварца – персонажа, добрым словом останавливающего всесильное Зло... Или, лучше, найдем в книге подходящую метафору – как бы «автопортрет поэзии» Льва Друскина, где он сравнивает свой колющий и режущий словесный дар не с романтическим «кинжалом», но с добрым и дружественным «хлебным ножом».

А о других, кто замахивается на людей карательным «мечом», поэт говорит так:

Судите и да будете судимы!
Пути Господни неисповедимы.

Да, это «они», то есть несправедную власть имущие, судили и осуждали в *Семидесятих*, выживая нас из общества и из страны, – так пусть и остаются с такой инвективой поэта...

Это «они» растлевали нейтральную плоть нашего социального окружения, эдакую молодежную «курятину» (ни рыба, ни мясо), тянувшуюся к нам по признаку моральной силы.

Это «они» превращали их, колеблющихся, в «свинину» (тоже ни рыба, ни мясо) магией кагебешных угроз и партийных подачек. Ну, в точности, как описано в стихотворении «Цирцея»:

Красавец наглый с жадным ртом...
Ну, что ж, он из того же теста:
Мы с ним похрюкаем потом –
Еще в хлеву довольно места.

Да, незавидного места все еще довольно в стране, откуда все мы родом, но время животных забав кончается: наступает реальность Исхода, перевал жизни, окончательно осознанный многими из нас в десятилетие *Восьмидесятых*.

В книге Друскина этот раздел, обозначенный красноречиво: *За перевалом*, звучит, увы, как вечный и всеевропейский перевод с «идиш»:

А как вещи мои выносили...

Каковы эти «вещи» и как их «выносили»-выбрасывали, можно представить, совместив эту ситуацию с миллионами уже состоявшихся в наш век депортаций – в лагеря смерти, в Биробиджан, в Израиль, на Запад, прочь...

Что ж за причина этих бедствий – русский ли национализм, как в объяснениях части эмигрантской прессы, второпях объявившей даже А. Солженицына, патриота и свободолюбца, – аятоллой и фанатиком антисемитизма?

Нет, конечно, не в том причина – любой национализм несет свои ценности, пока не склоняется к шовинизму, то есть не начинает самоутверждаться за счет других национальных культур; Друскин это знает и никогда не опускается до заведомых фобий.

Конечно, в имперской давке одни народы более, а другие «еще более» потеряли от взаимных натравливаний, но заниматься счетом, у кого пуще накопилось, занятие неплодотворное – оно только множит обиды... Так не система ли виновата?

Эту крамолу и выискивали некогда ленинградские «аналиты» в рассыпанной книге Друскина... Но дело не только в плохой системе и, конечно, не в «плохих» народах, а в тех молекулах зла, что въелись в культивируемые традиции и в наши (мою и твою, читатель) души...

«Крамолы» же – просто нет, и отсутствие эдакой ударной темы ничуть не умаляет достоинства сборника: в нем есть достаточно воинственных (иронически) барабанов и траурных литавр, вплоть до своего «Реквиема» и даже – до совершенно особенного цикла, озаглавленного:

Заплачу о неверии своем.

В 13-ти главах (по числу ли апостолов-учеников, включая Иуду?) на листах этого последнего цикла книги, собственно, и происходит подлинный разговор души поэта «У неба на виду»... Человек откладывает книгу в сторону и уже без оглядки на читателя разговаривает прямо с Богом – о самом важном, самом дорогом:

Кошка Бишка и сын ее Иржик,
и собака по имени Гек.

Именно здесь оправдывает себя принятый нами метод дружественного читательства, ибо всякий другой путь привел бы к насмешкам над этими «ценностями»... А вот, скажем, Василь Василич Розанов, доживи он до нашего времени, нисколько бы не насмешничал, а, напротив, понял и оценил бы это воистину Достоевское душевное движение:

Но я верю, я верю, Господь,
Что настанет пора воскресенья –
Дух оденется в новую плоть.
И тогда я, счастливый, увижу,
Что воскресли – как я, человек –
Кошка Бишка и сын ее Иржик,
И собака по имени Гек.

Вообще каждое стихотворение этого цикла, мужественного и действительно глубоко религиозного (вопреки названию), хотелось бы перечитать-процитировать полностью, но разумней ограничиться подборкой нескольких строк, которые лучше всего скажут о целом:

Средь атомных шутих,
У бездны на краю
Я обопрись на стих
И встречу смерть мою.

.

А я, лежавший в пепле и в дыму,
Не реял в небе и рекой не лился...
И не ЕМУ, но все-таки молился,
И сам себя обманывал: ЕМУ!

.

Младенец в яслях, что глядишь
Тревожно, как пророчество?

.

Был хлеб веселым круглолицым парнем,
Он к нам ввалился прямо из пекарни
С коричневой от зноя головой...

...Стал черствым хлеб, не звякала посуда...
И мы не знали, кто из нас Иуда,
А кто – Христос.

.

Не лгите мне... Не я распял Христа!

.

Мы крест не смеем приложить к устам,
Но поезда во всем великолепье
Влетают в рай за нами по пятам.
И все – мужчины, женщины и дети –
Подобия катящихся планет.
И больше нету грешников на свете,
Но – Господи! – и праведников нет.

А если уж Лев Савельевич Друскин так о себе скромничает, то кто ж из нас тогда праведник?

Вы, наш читатель?

Или – я?!

Дмитрий Бобышев

янв, 1988

Урбана, Иллиной

СВЕТ НАДЕЖДЫ

Есть любимые книги. Есть книги, от которых, едва вы их раскрываете, веет дыханием жизни. Не то чтобы оторваться вы от них не можете, но и надыхаться как следует, каждой страницей и каждой строчкой, хотя и содержания они, случается, как будто далеко не жизненного, далеко не житейского, а отвлеченного, на первый взгляд.

Наверно, не случайно на моей книжной полке появились одновременно две книги: «Смысл жизни» русского философа Франка и вот эта – «Сущность христианства» англичанина Клайва Льюиса. О книге Франка говорить не буду, тем более, что издана она давно. Упомянул же о ней в связи с отзывом на «Сущность христианства» Льюиса лишь потому, что они, по сути, об одном и том же. В минуту душевной пустоты, маяты духа раскрыл я «Смысл жизни» на первой попавшейся странице, прочел: «Любовь не есть холодная и пустая, эгоистическая жажда наслаждения, но любовь есть рабское служение, уничтожение себя для другого. Любовь есть такое преодоление нашей корыстной личной жизни, которое именно и дарует нам блаженную полноту *подлинной Жизни* (курсив С. Франка. – А. П.), и тем осмысляет нашу жизнь». Прочел и – духом воспрянул. Ибо, пусть на короткое время, пусть на мгновение, но смысл жизни, который мы так часто теряем, вдруг приоткрылся.

К. С. Льюис. Сущность христианства. Перевод с английского Ирины Череватой. Изд. 2-е. [США], Collins Publishers, 1988.

«Сорок сороков». Альбом-указатель всех московских церквей в четырех томах. Том I. Кремль и монастыри. Составитель Семен Звонарев. Париж, ИМКА-Пресс, 1988.

«Сущность христианства» я раскрыл тоже наугад, но на последней странице, и прочел следующее: «Отдайте себя – и вы обретете себя. Пожертвуйте жизнью – и вы спасете ее. Предавайте смерти свое тщеславие, свои самые сокровенные желания каждый день, и свое тело – в конце, отдайте каждую частицу своего существа – и вы найдете жизнь вечную. Не удерживайте ничего. Ничто из того, что не умерло в вас, не воскреснет из мертвых. Будете искать «себя», и в конечном итоге вашим уделом станут лишь ненависть, одиночество, отчаяние, гнев и крушение. Но если вы будете искать Христа, то найдете Его, и „все остальное приложится“».

Надо ли говорить о том, что послужило первотолчком для радиобесед Льюиса? И надо ли говорить о том, что мы так захвачены суетой «житейских попечений», что нам кажется, будто будем жить вечно. Забываем, что мы – на краю пропасти. «Я со страхом, – признается автор вступительного слова и переводчица бесед на русский язык Ирина Череватая, – всматриваюсь в свою собственную жизнь... смысл и цель существования были полностью скрыты от нас, и жизнь оставалась тоскливой и безнадежной».

Книги Льюиса принадлежат к тому числу книг, которые заставляют читателя остановиться, задуматься над смыслом жизни. Причем «беседовать» с ним легко. Легко, потому что Льюис и сам «долгие годы оставался атеистом». А к тому же, в его интонации нет и тени фарисейства или лицемерия, как не существует для него и запрещенных тем: говорит он о человеке и обществе, о семье, браке, о половых отношениях, о трусости и воле, стремлении к самопожертвованию – и всегда не просто с моральной точки зрения, а с точки зрения человека, твердо уверовавшего, для которого во всей нашей жизни очевидно присутствие Бога, даже в том случае, когда мы противимся Его воле.

Еще в Москве прочел я «Письма Баламута» – книгу, в Советском Союзе не изданную, как, впрочем, и все другие его книги. Она произвела на меня ошеломляющее впечатление сокровенностью «прочтения»¹ моей души, малейшего движения мыслей. Это и было моим первым открытием Льюиса, писателя, религиозного философа и, наверно, все-таки проповедника. Вольно или невольно я тянулся к каждой его строчке, которая мне попадалась, слушал радиопередачи по его радиобеседам, продиравшимися через плотную завесу «глушилок».

Особенно досадовал на эти ошметки грязи жужжания и трескотни, засоряющие эфир: Льюиса зачем глушить? зачем забивать его голос? Ан глушильщик-баламут знал, что делал. Знал, что его-то и надо, да и посильнее, покрепче, чтоб не прорбился.

«...Мы знаем, – говорит Льюис, – что если существует такая вещь, как абсолютное добро, то оно должно ненавидеть большую часть того, что мы с вами делаем. Вот в каком ужасной, безвыходном положении оказываемся мы с вами. Если Вселенной не правит абсолютное добро, то все наши усилия в конечном счете – напрасны. Если же абсолютное добро все-таки правит Вселенной, то мы ежедневно бросаем ему враждебный вызов. И не похоже на то, чтобы завтра мы стали сколько-нибудь лучше, чем сегодня».

То, о чем говорится в «Сущности христианства», по слову автора, «послужило материалом для серии радиопередач». Голос Льюиса, профессора литературы в Кембридже – популярнейшего лектора, любимца студенческих аудиторий, блистательного писателя, умершего четверть века назад, – должно быть, заставил задуматься над смыслом жизни, над сущностью христианства, что, как убедится читатель, одно и то же.

Но книги спорят между собой, спорят с нами, пытаются опровергнуть незыблемые законы бытия, порой, быть может, помимо воли их авторов. Вы, конечно, помните тот эпизод в романе Достоевского «Идиот», где князь Мышкин и Рогожин рассматривают картину с чудовищным названием «Труп Христа». Возможно, вы видели репродукцию этой картины и не могли не испытать того, что испытали герои Достоевского перед этой картиной, – отчаяние и ужас.

Нечто подобное предстоит пережить вам, когда вы возьмете в руки «Сорок сороков», альбом-справочник, альбом-указатель (первый из четырех томов только что выпустило издательство ИМКА). Вот так же, вероятно, листая альбом, вглядываясь в фотографии обезображенных, а то и вовсе снесенных, уничтоженных церковей (на месте последних – либо зияющие провалы пустырей, либо новые здания), пережив ужас, быть может, шок, вы зададитесь вопросом, который логически следует из ваших впечатлений: как же так, неужто Всемогущий, Всесильный Бог, Который сказал, что «дом Мой домом молитвы наречется», не мог отстоять церкви на Руси и

в Москве, в частности, кремлевские святыни, когда обстреливали их из большевистских орудий, когда красноармейцы стреляли в лики святых, опрокидывали священные сосуды, опустошали алтари? Где же Божия сила?

«Сорок сороков» – это альбом фотографий. В нем сравнительно мало текста, а тот текст, который имеется, – это документы, свидетельства, и несет он вспомогательную функцию своего рода путеводителя. Но текст этот вместе с тем – страстный...

Не на картинках в книжке, не на фотографиях, а въяве, в натуре видел я развалины храмов и монастырей. Поражался слепоте и ярости той силы, которая их уничтожила. Вид их производит удручающее впечатление. Но этот том, в котором в фотографиях собрана история разрушения московских святынь, вызывает взрыв чувств. И вы, читатель, приготовьтесь к такому взрыву, если случится вам стать обладателем этой книги. Вы увидите пробоины от снарядов в куполах кремлевских соборов, сбитые артиллерийскими залпами колокольни, груды кирпича на месте часовен, предстанет вашему воображению «мерзость запустенья на святом месте», реченная пророком Даниилом, – на месте монастырей. У вас будет возможность сравнить, какой была Москва до семнадцатого года и какой стала после. (Первый том рассказывает о кремлевских святынях и о монастырях Москвы; последующие три тома будут о других московских церквях.)

У вас будет возможность не только по фотографиям убедиться, какой была Москва, но и по тем впечатлениям, которые она оставляла в сердцах ее иностранных гостей. (Замечу: Кнут Гамсун считал ее самым красивым городом мира.) Составитель альбома, москвич Семен Звонарев, открывает предисловие к четырехтомнику пространной цитатой, в которой вы прочтете и следующие слова: «Игра света, отраженного этим воздушным городом, – настоящая фантасмагория среди бела дня, которая делает Москву единственным городом, не имеющим себе подобного в Европе!» Эти слова вырвались из сердца маркиза Астольфа де Кюстина, посетившего, как отмечает автор предисловия и составитель, «древнюю русскую столицу всего четверть века спустя после опустошительного пожара...»

Да, но какая связь между этим томом фотографий и документов, с немалыми трудностями вырвавшимися из

России на Запад, и «Сущностью христианства» Клайва Льюиса?

Никакой. Решительно – никакой. Если не сказать больше: содержание их находится одно с другим как будто в прямом противоречии. «Сущность христианства» – об утверждении христианских принципов в нашей жизни. «Сорок сороков» – об обратном: о видимом поражении христианства в России, о победе, о торжестве зла.

Как вы помните, в «Идиоте» Рогожин и князь Мышкин, стоя перед известной картиной, рассуждают о том же, что и нам с вами, вероятно, не должно давать покоя: перед лицом смерти, тлена трудно поверить в Воскресение. Руины, в которые обратились московские святыни, – та же смерть, и как будто в Воскресение также трудно, почти невозможно поверить.

(NB. Невольно я сравниваю этот альбом с другим альбомом, выпущенным несколько лет назад издательским отделом Московской Патриархии: с изумительными, чудесными снимками, но с текстом только на иностранных языках, а не по-русски, он рассказывает о жизни Русской Православной Церкви. Он должен был бы свидетельствовать о благостном положении Церкви в России, но стал, по сути, лжесвидетельством.)

Так вот: руины, «мерзость запустения» – та же смерть, не оставляющая как будто даже искры надежды.

Самое безнадежное, самое бессмысленное дело, которым занимается почти всякий человек, а наверно, и человечество, – это попытка «обойти» Бога, обмануть Его. Это сквозная мысль, пронизывающая страницы бесед Льюиса. В лучшем случае: обойтись без Него. В худшем: бросить Ему вызов, вступить с Ним в противоборство.

Мы знаем, чем эти попытки кончаются, но опыт, увы, ничему не научает нас. Мы делаем это вновь и вновь в ущерб себе и всем, кто нас окружает. Вновь и вновь убеждаемся в обреченности наших попыток и вновь вступаем на путь Богоборчества. При этом я не говорю только о человеке, живущем в такой, скажем, стране, как Советский Союз, пораженной атеизмом, одержимой богоборчеством. Это в одинаковой степени относится и к человеку свободного мира. Но непреложно также и то, что, «если человек, – как утверждает Льюис, – живет только семьдесят лет», время, отпущенное ему для земной жизни, а затем умирает, «тогда государство, или нация,

или цивилизация, которые могут просуществовать тысячу лет, – безусловно представляют большую ценность, чем индивидуум». Но, с другой стороны, «если право христианство, то индивидуум – не только важнее, а несравненно важнее, потому что он, человек, вечен, и жизнь государства или цивилизации – лишь мгновение, по сравнению с его жизнью». «Проблема смертности или бессмертия человека, – как говорит Клайв Льюис, – обуславливает в конечном счете правоту тоталитаризма или демократии».

Да, перед лицом разрушенности и поруганности святынь трудно отделаться от мысли о «беззащитности» Бога. «Беззащитность» Бога безгранична перед лицом нашего с вами вероломства. Но поостережемся Его «беззащитности», памятуя о том, что «сила Божия в немощи совершается».

Должно бы наступить отчаяние. Но и в отрицательном опыте мы можем почерпнуть надежду.

«Сверхчеловеческий дух, – говорит Льюис, – может быть либо наихудшим, либо наилучшим из всего сущего». Россия, о чем свидетельствует альбом «Сорок сороков», воздействие как того, так и другого духа сполна испытала на своем тысячелетнем христианском пути.

«По счастью, не одни только гроба и пепелище достались нам в наследство от прошлого, и именно любовь есть чувство, которое способно воскресить дело предков, лежащее в развалинах и даже спящее во гробе». Такие строки прочтем мы на страницах авторского предисловия к альбому «Сорок сороков».

Это – то же самое, что у Франка: «Любовь есть такое преодоление нашей корыстной личной жизни, которое... дарует нам блаженную полноту подлинной жизни». Это – то же самое, что у Льюиса: «Ничто из того, что не умерло в вас, не воскреснет из мертвых».

Надежда не утрачена. Но я приведу еще одни слова из книги Льюиса: «Сейчас, сегодня, в этот самый момент, у нас еще есть возможность сделать правильный выбор. Бог медлит, чтобы предоставить нам ее. Но это не будет длиться вечно. Мы должны принять ее, либо отвергнуть».

В них – свет надежды и предостережение.

Александр Покров

ДВЕ ПРАВДЫ СОЛДАТСКИЕ

Правда, конечно, одна. Я имею в виду правду о войне. Но высказали ее люди разных судеб, чьи пути могли бы пересечься (а возможно, и пересекались) в окопах того же Сталинграда, а потом, вероятно, резко, навсегда разошлись.

Один из них стал писателем, получил Сталинскую премию за книгу, которая навсегда его прославила. Другой, как сказано, в краткой справке к его «Рассказам о войне», «после победы остался в Вооруженных Силах». Один, несмотря на благосклонность писательской судьбы на первых порах, когда его книгу «все издательства» начали издавать и переиздавать, а переводчики переводить на всевозможные языки, через короткое время вступил в конфликт с советской идеологией, подвергался гонениям, выдерживая один удар за другим, уже на склоне жизни вынужден был оставить любимое им Отечество, поселиться хоть и в прекрасном городе, но на чужбине. Другой, если судить по той же короткой справке, предпосланной «Новым миром» к его рассказам, оставаясь в вооруженных силах, постигал науку, видимо, военную, хотя для армии как бы не совсем привычную: «доктор психологических наук, профессор» – сказано о нем. Один стал всемирно известным писателем. Другой впервые напечатал в «Новом мире» четыре коротких рассказа лишь сейчас, в этом году. Известный писатель, о котором сейчас много пишут и говорят, нашел свой последний приют вдали от родины на кладбище Сент-Женевьев де Буа. Другой, слава Богу, здравствует, дослужился до чина генерал-майора, как было сказано, доктор психологических наук, профессор. Не знаем мы, профессор какой кафедры и какого именно учебного заведения, но нетрудно догадаться: наверно, военной академии, наверно, кафедры психологии. Вполне возможно, что бывшие его слушатели устраивали обыски на квартире того, первого, известного писателя, а затем и унижительный досмотр в Шереметьевском аэропорту.

Как видим, раз столкнувшись на перекрестке правды о войне, эти судьбы ни в чем более не пересекаются.

Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. ОЛП. London, 1988.

Максим Коробейников. Рассказы о войне. «Новый мир», № 2, 1988.

Даже нужды нет называть имя первого – настолько известно оно всякому, мало-мальски интересующемуся литературой. А о книге его «В окопах Сталинграда», изданной и переизданной едва ли не всеми издательствами Советского Союза, затем запрещенной, изъятой из всех библиотек, а теперь вот, после смерти автора, снова разрешенной, – столько написано, что все написанное о ней, вне сомнения, давно уж превысило объем самой книги. Сейчас ее выпустило лондонское издательство ORI с предисловием Михаила Геллера и авторским послесловием, написанным семь лет назад. «Мне думается, – пишет Геллер, – что послесловие... станет неотъемлемо последней главой „В окопах Сталинграда“». И вполне справедливо: «нечто вместо послесловия», как говорит о ней автор, называется «Через сорок лет» и воспринимается как глава, как органическая часть книги. Справедливо еще потому, что война кончилась, давно отгремела священная война, но война продолжалась и продолжается: то там, то сям на планете слышится лязг советских танков, рев советских самолетов, взрывы советских бомб. Это уже не священная война: «И хотелось бы, чтоб все любили мою Красную Армию, армию-освободительницу. Она заслужила это – своей кровью, потом, ранами, могилами...», – говорит Виктор Некрасов...

Рассказы Максима Коробейникова, генерал-майора, доктора психологических наук, профессора, опубликованные «Новым миром», по духу очень близки некрасовским «Окопам». Они – часть той правды о войне, которую в советской литературе так тщательно пытались замаскировать, заглушить браваурной музыкой победных маршей, но которая, тем не менее, вопреки этим попыткам прорвалась на страницы книг кровью павших. Всего четыре рассказа.

Рассказ «Не повезло» начинается словами: «Мы сидели в обороне и голодали. Это было, пожалуй, самое тяжелое время». И эти строки сразу же напоминают нам «Окопы»: «Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ...» и т. д. Та же интонация горечи, досады, боли. Дело не только в интонации, а в сути. «Люди, измученные, серые, грязные, такие же, как сама эта земля, страдавшая и усталая от войны», пытались «скрасить разговорами жизнь, заглушить голод и внутреннее ожесточение». Но если ожесточение скрасить разговорами можно, то голод утолить

ничем нельзя, и вот солдаты отважились на отчаянную вылазку на кухню – не на свою, однако, а на соседскую, вражескую.

«Мы вечером туда через овраг ходим. Повар у них чумной такой. Наливает в котелок, а сам „шнель-шнель“ кричит... Там у них темень хоть глаз коли. Все в плащ-накидках. Все кричат одинаково: „Данке, данке, данке шен“. Ну и мы тоже». – Так выглядит эта затея в устах ординарца, припертого вопросом командира, от чьего имени ведется рассказ Коробейникова, вопросом: откуда «котелок с супом и куском колбасы»? Но действительно – «не повезло». Сколько раз ходили, другой повар заподозрил: «„Хальт!“ закричал, сволочь... Стрелять начали». Одного убило, другого ранило. «Назавтра собрал всех солдат, – заключает повествователь, – и запретил ходить на немецкую кухню. А голод продолжался, и солдаты опять задумывались – что бы такое предпринять, чтобы выжить».

Знакомая, не правда ли, ситуация? И герои ведь тоже знакомы. Ординарец чем-то напоминает ординарца Валегу из некрасовских «Окопов». «Неисправимый нарушитель дисциплины» рядовой Степченко (рассказ «Неисправимый») какими-то чертами напоминает Чумака, храброго разведчика в тельняшке. А вот обезумевший от своей храбрости, а главным образом от свалившейся на него власти, младший лейтенант Куликов (рассказ «Я сам!»), который кричит: «Сталин в Кремле, а я в роте... Да я всю дивизию спас!» – мог бы послужить прообразом другого некрасовского героя, вернее – персонажа, капитана Абросимова, также не щадящего людей. Есть, правда, разница между ними: Абросимов, хотя и «в деле кипятков», безрассудно подставляет других, сам же размахивает пистолетом: «Шагом марш в атаку! Пристрелю как трусов!» Как вы, вероятно, помните, положив половину людей под вражеские пули, Абросимов сам попал под суд, загремел в штрафной батальон. Куликов же из рассказа генерал-майора Коробейникова сам лез под пули, заставляя и других не кланяться ни пулям, ни минам, ни снарядам, распекал, если при артобстреле кто шел в укрытия. Одним словом, власть совсем вскружила голову. Но и жизнью поплатился: прямым попаданием убило вместе с «адъютантом». К радости солдат.

Натуры как будто разные, но такие именно, как Абросимов и Куликов, «облегчали» работу немцам, жертвуя чужими жизнями. И это: «Сталин в Кремле, а я в роте!» – в совокуп-

ности с чертами Абросимова перерастает в символ властолюбца иного масштаба, гораздо более крупного: цена, которой оплачена победа, огромная цена, могла быть несравненно меньшей, не будь во главе страны и армии маньяка-властолюбца. Надо признать, что не благодаря, а вопреки ему выиграна война и одержана победа.

«Вы воевали за Сталина. Вы шли в атаку, надрывая глотку: „За Родину, за Сталина!“ (признаюсь, со мной это тоже случалось), вы защищали самую страшную в мире систему, может, страшнее гитлеровской и, видите, во что это вылилось? Так говорят мне многие здесь, на Западе», — пишет Некрасов в послесловии к «Окопам Сталинграда». Читатель оценит мужество этих строк, как оценил и мужество повести. Примет с благодарностью к памяти о писателе и это мужественное признание: «со мной это тоже случалось». Оно, это качество мужества и прямоты, действительно делает послесловие неотъемлемой частью всей книги. «Вижу, отвечаю, — говорил далее Некрасов, — но воевали мы тогда не так „за“, как „против“. В нашу страну вторгся враг, и мы должны были его прогнать, уничтожить. Всех, кто носил ненавистную нам форму и „Gott mit uns“ на пряжках поясов. Я не вправе осуждать власовцев — я с ними не сталкивался, многого не знаю, — но попадись они на нашем пути, мы б в них стреляли».

В этой главе нет и тени попытки самооправдания, как нет и тени попытки оправдания дальнейшего пути армии-освободительницы, как нет и тени попытки оправдания тем, кто взял оружие, сражался на стороне врага.

Но к чему, спросите вы, эти аналогии между «Рассказами о войне» Максима Коробейникова и Виктора Некрасова, людей не просто несхожих судеб, а противоположных?

А к тому, что пересеклись их пути на том перекрестке правды о войне, где действовали и умирали люди, охваченные единым порывом освобождения родины. Генерал генералу рознь, так же как и солдат солдату, так же как и писатель писателю. Ничего мы не знаем о генерал-майоре Максиме Коробейникове, кроме того, что сообщил «Новый мир», да страниц его рассказов, доверительных, правдивых, подкупающих искренностью.

Конечно же, и генерал-майор Коробейников мог бы сказать те же слова, которые сказал писатель Некрасов: «И хотелось, чтобы все любили мою Красную Армию, армию-освобо-

дительницу». Но то, о чем с надрывом и болью говорит Некрасов дальше: «А вот во что все это выльется, мы этого не знали. Никто тогда не знал», – кто может повторить? Кто, уже зная, что произошло за сорок лет, в течение которых Советский Союз, по сути дела, вел замедленную, если не в прямом, то в символическом смысле мировую войну, разворачивая ее фронта то на венгерской земле, то на чехословацкой, то на польской, то на афганской, засылая подвластные ему войска вьетнамские – в Камбоджу, кубинские – в Африку, а весь остальной мир (за исключением разве что Афганистана) оборонялся лишь на другом фронте, дипломатическом?

«Я шатался с рукой на перевязи по освобожденному нами Люблину и видел только улыбки. Меня приглашали, угощали, поили. Столько было выпито „бимбера“, крепчайшего польского самогона. Счастливые дни! Сейчас я не отважился бы со своим русским сунуть хоть кончик своего носа на улицы того же Люблина, Варшавы. И на улицы Праги тоже. А ведь и там мне улыбались, глядя на мои погоны...»

Эта правда – уже другая. Но, должно заметить, что Некрасов мог бы спокойно выйти и на улицы Праги, и на улицы Варшавы, и на улицы того же Люблина, где подстерегла его снайперская пуля. Совсем иная встреча произошла бы на афганской земле, случись побывать на ней Некрасову. Иная, даже с ним, Некрасовым, человеком мужества и правды. Потому что, как пишет он: «Я встречался с человеком из Афганистана. Афганцем. Десять лет проучился он в Москве, кончил университет, аспирантуру, сдружился с русскими, полюбил их, пел вместе с ними „Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет солнце!“ А теперь русских ненавидят! Все поголовно. А ведь когда-то любили... Слушаешь и кровь холодеет. Наш „березовый колышек“ стал оккупантом..., сеет вокруг себя смерть, не вылезая из танка, сбрасывает с вертолетов крохотные мины в виде ручных часов и детских игрушек... А по ночам „колышек“ грабит магазины, ищет сигареты, торгует „Калашниковыми“, меняет на гашиш. Да-да, гашиш».

Это писал бывший советский офицер, прошедший войну, дважды раненый, бывший лауреат Сталинской премии, бывший советский писатель, бывший коммунист, наконец. Еще многократно пришлось бы повторить «бывший». Но надо сказать одно: настоящий гражданин своего Отечества.

Некрасов говорит о гордости, которую вызывала «красная звезда» на крыльях ли боевых самолетов, на броне ли танков, на пилотке, на ушанке, фуражке. «И даже осыпанная бриллиантами под дряблыми подбородками маршалов она вызывала уважение, — замечает он. — Сейчас она покрыла себя позором. Для афганцев она теперь то же, что для нас когда-то паучья свастика. Она — символ порабощения».

Так столкнулись две солдатские правды. Правда о войне Отечественной, действительно Великой (так настаивал называть ее Виктор Некрасов и на чужбине!), и та солдатская правда о войнах, которые кощунственно, цинично называют «выполнением интернационального долга».

От первой солдатской правды никуда не уйти. Никуда не деться. Но и от правды второй — не спрятаться. Ее надо признать.

Жжет она, жжет. И не только прошедших огонь войны фронтовиков.

А. П.

ОТ ЧЕГО — К ЧЕМУ?..

Весь мир следит за тем, что происходит в Советском Союзе. И это не потому, что там уже в действительности совершаются подлинно кардинальные перемены. Именно этот вопрос и волнует людей. Что за перемены, насколько они кардинальны, есть ли гарантии, что к старому возврата больше не будет? Неравнодушные к тому, что происходит в Советском Союзе, спорят о том, что это, «заплаты» на старом кафтане или абсолютно новая одежда?

Не испытывая удовлетворения от «традиционно» сложившихся на Западе подходов, я бы хотела высказать ряд своих суждений по ходу чтения книги «Иного не дано», вышедшей в издательстве «Прогресс», Москва, 1988 г.

Это не рецензия. Это размышления читателя, заинтересованного в проблемах, которые поднимают в своих статьях авторы сборника.

Общее впечатление сложное. Сначала читается все с большим интересом. Потом наступает момент, когда начи-

Иного не дано. Москва, «Прогресс», 1988.

наешь думать – но ведь ты-то все это знаешь. Ведь это уже писали – писали в самиздате, писали в тамиздате. Некоторые статьи сборника подчас совсем не отличаются особой глубиной или кропотливым анализом проблем. Но когда подумаешь... а ведь это сейчас читают советские люди, которые в недавнем прошлом были лишены подобного рода информации. Часто из того, что они читали о себе, было либо заведомой ложью, пропагандистским мифом, либо полуложью. Советскому человеку не полагалось знать многое, и когда он видел черное, его убеждали, что это белое или лишь чуть-чуть черное. Его приучили видеть одно, а говорить совсем другое и даже думать не так, как видит... И вот порой дух захватывает от того, что пишется даже в официальной советской печати, к тому же и неофициальную можно читать почти безбоязненно. И хотя, что пишется, почти очевидно, и многие думают так же, как автор написанного, но до сих пор поднимать данные темы, вопросы, сюжеты, нащупывать подходы к их решению было невозможно. Пишут в официальной печати порой более откровенно, чем это имело место несколько лет тому назад в самиздате. Так, например, многое из того, о чем теперь пишут открыто, было написано в самиздатском журнале «Поиски», выходившего в 1978-1980 гг., большинство редакторов которого были репрессированы, выгнаны за границу. Репрессиям были подвергнуты даже читатели журнала.

В книге «Иного не дано» меня интересуют прежде всего новые идеи, подходы, методы анализа жизненных процессов в СССР.

И вот, теперь обнаруживается, что все эти идеи и методы носят ареальный, мифологический характер. В этом отношении интересна статья Т. Заславской «О структуре социального управления перестройкой». В своей статье Т. Заславская пишет: «Для того, чтобы эффективно руководить ходом перестройки, важно знать, какие классы, слои и группы выигрывают или проигрывают от тех или иных мер. Для этого в свою очередь требуется адекватное, правильное представление о социальной структуре общества, формирующих ее элементах и связях. Между тем в этой области обществоведения накопилось множество догм, не подкрепляемых ни серьезными теоретическими соображениями, ни результатами эмпирического анализа».

Обращаем ваше внимание: с одной стороны, мы имеем дело с совершенно новым – более реалистическим подходом к изучению структуры общества, одного из главных вопросов обществоведения и при том вопроса концептуального, с подходом, где учитываются действительные интересы людей, тем самым отказываясь от догматически-схематической структуры, навязанной обществу в период тоталитарного идеологизма. (Как мы уже писали – понятия: единый советский народ, морально-политическое единство, трехчленная структура – рабочий класс, колхозники, интеллигенция до недавнего времени в официальном «мифе» составляли ядро концепции.) С другой стороны, мы узнаем, что по разным причинам, имея различные интересы, люди неодинаково относятся к перестройке, имеется немало слоев населения, которые ее не поддерживают либо активно, либо пассивно. И потому перестройка идет медленно и с большим трудом. Отсюда напрашивается вывод – всё ли так хорошо продумано в ходе перестройки, не мешают ли те ограничения, как идеологического (не трогать Ленина, не трогать однопартийную систему, не критиковать открыто высокое партийное руководство, не выдвигать проспектов, которые бы со стороны «старого мышления» якобы расходились с представлениями о социализме и т. д.), так и практического характера, а именно, – боязнь более кардинального введения товарно-рыночных отношений, боязнь расширения индивидуальной экономической инициативы, боязнь более решительных демократических преобразований, способных вывести нашу страну в разряд открытых цивилизованных стран, в тот единый дом Европы, о котором говорит Горбачев.

Широкая «полугласность» хороша на фоне полной безгласности. Но... это лишь робкое начало, а не широкое течение перестройки. Нам теперь нужна не «оттепель», а «полноводье» – широкая, без зигзагов, дорога к Храму нормального, демократического, цивилизованного общества.

Есть ли более или менее конкретные предложения? Есть! Обратимся к статье В. Селюнина (экономиста) «Реванш бюрократии». Он предлагает: «...Требуется глубокие структурные сдвиги в экономике – ее надо развернуть от работы на самое себя к человеку, к его нуждам. Человек – никакой не фактор, не резерв и не ресурс, а конечная цель экономики, то Солнце, вокруг которого она и должна вертеться».

Перестройка – средство лечения не только фундаментального заболевания нашего общества, но и конкретных его пороков и, в частности, всеобщей безответственности и рутины.

Среди других проблем, поднятых в книге «Иного не дано», заслуживает, на мой взгляд, внимания отношение авторов к социализму. Это не праздный вопрос и в настоящее время далеко не только терминологический, т. е. вопрос о том, как назвать то, что есть – социализм или тоталитаризм. Сейчас вопрос стоит иначе. Есть ли в нашей стране социализм или созданное за 70 лет общество совершенно иного характера? До недавнего времени лишь некоторые диссиденты отваживались открыто заявить – никакого социализма в нашей стране нет*. Сущующий социально-экономический строй иного порядка с тоталитарным политическим режимом. Но за подобный взгляд приходилось сидеть в тюрьме, лагере или психушке. Однако времена все-таки изменились...

Ответ на вопрос – есть у нас социализм или его нет – в настоящее время носит концептуальный характер и входит в составную часть самой концепции перестройки. Здесь сразу следует отметить – некоторые авторы книги идут значительно дальше, чем сложившаяся официальная точка зрения.

Первое, что надо отметить, – произошел полный отказ от «теории» и понятия «развитого социализма». Многие считают (и официальная позиция приближена к этому), что страна находится на одной из начальных ступеней развития социалистического общества, на низшей ступени развивающегося социализма, который будет еще долгое время осуществлять разнообразные переходы от одной ступени к другой внутри социализма, причем эти переходы могут носить революционный характер, т. е. быть связанным с кардинальными переменами в разных областях жизни. Перестройка – как раз пример такого перехода.

Просматривается несколько моделей социалистического общества, которые имели место в ходе развития нашей страны за 70 лет ее истории. В статье В. Киселева «Сколько моделей социализма было в СССР?» разбирается ряд моделей. Автор останавливается на полемике Энгельса с Дюрингом по этому вопросу, характеризует Марксову модель, ее трактовку Лениным и наконец сталинскую модель.

*. См. журнал «Поиски» № 4, 7.

Выраженная Киселевым точка зрения относительно многообразия моделей социализма и форм социалистической жизни – это далеко не крайняя позиция в этом важном вопросе. Более радикально ставят эту проблему те, кто четко уяснил себе, что та общественная система, которая сложилась в СССР за 70 лет, не является социалистической. До периода перестройки вопрос о том, социализм ли в СССР, деформированный ли социализм или не социализм, а тоталитаризм, не имел такого принципиального значения. Оппозиция до перестройки в основном шла в сторону демократизации, требований выполнения прав человека, Конституции, восстановления законности. Тоталитарный политический режим с этой оппозицией жестоко расправлялся.

Перестройка началась тогда, когда – иначе и быть не могло – кризис охватил всю систему. И вполне естественно встал вопрос, *от чего идти и к чему двигаться...Какая улица ведет к Храму?*

Среди авторов книги, как уже отмечалось, некоторые почти прямо ставят вопрос о том, что улицы, по которым шагали, к нему не привели, что идти надо по другим улицам.

Ю. Афанасьев в статье «Перестройка и историческое знание» пишет: «...Несмотря на огромные усилия, порой, казалось бы, просто нечеловеческие; несмотря на упорный труд нескольких поколений советских людей; несмотря на огромные жертвы, у нас не получилось социализма в том виде, каким он представлялся Ленину и ленинской гвардии в 20-х годах. Именно поэтому после 70 лет строительства социалистического общества мы пришли к выводу о необходимости наше общество перестраивать. Не случайно же мы говорим о революционном характере перестройки».

Немного позже в другой статье, напечатанной в «Правде» от 26 июля 1988 г., Ю. Афанасьев еще более определенно выражает свою позицию, здесь он уже пишет: «А я – вовсе не желая „этот вопрос оставить без ответа“ – скажу так, и пусть к этому мнению, разделяемому у нас *очень* многими, отнесутся без перепуга: я не считаю созданное у нас общество социалистическим, хотя бы и „деформированным“. Деформации эти касаются его жизненных оснований, политической системы, производственных отношений и решительно всего остального. Это *не обезоруживающий* вывод, поскольку, только придя к нему, как бы горько и пугающе он ни звучал, только

не удовлетворившись, следовательно, пропагандистскими „полуправдами“, мы – не все жители, но сознательные борцы за перестройку, а со временем, надо надеяться, громадное большинство населения – найдем в себе силы и теоретические подходы, и адекватную политическую тактику, чтобы заново вырулить на социалистическую дорогу. Только тогда наше понимание и решимость на действительно революционную перестройку станут трезвыми, реальными и потому обнадеживающими. Я убежден, что иначе – через убаюкивающую или корыстную полуправду – мы придем всего лишь к полумерам, а затем к краху этой нашей *последней* исторической попытки выйти из страшного тупика».

Послушаем других авторов книги по этому вопросу. А. Бутенко в статье «О революционной перестройке государственно-административного социализма» справедливо рассуждает о том, что лозунги перестройки «Больше социализма!», «Больше демократии!» вызывают недоумение, накапливают все возрастающий комплекс противоречий... Встают вопросы: первый – почему мы называем перестройку революцией? Второй – почему лозунгом сегодняшнего дня стал лозунг «Больше социализма!»? – Разве его все еще нет? Разве советские люди обеспамятовали? Ведь им не нужно читать политические документы, журналы, книги, статьи, они хорошо помнят, что официальная идеология со второй половины 30-х годов и до сих пор называет общественный строй, утвердившийся в нашей стране, социализмом. Третий вопрос – почему сейчас официально ставится задача – восстановить ленинскую концепцию социализма и претворить ее в жизнь? Разве на протяжении многих лет и десятилетий официально не заявлялось, что у нас была осуществлена именно ленинская концепция социализма, и пока отказа от этих заявлений никто не слышал. Но если это была не ленинская концепция, то какая же? И может ли осуществление неленинской концепции привести в жизни к настоящему социализму?

Бутенко считает, что на вопрос: построен у нас социализм или нет, однозначно ответить нельзя. Нет, можно: не построен. Да он и сам это знает. Потому и пишет дальше: «...признав утверждение в советском обществе *не настоящего* (курсив мой. – Т. С.), а государственно-бюрократического социализма с казарменным духом, можно вполне рационально объяснить революционный характер перестройки, призван-

ной разрушить негативные структуры, и сломать сопротивление поддерживающих их социальных сил прошлого, и создать новые, истинно социалистические структуры, опирающиеся на всестороннюю поддержку трудящихся; равным образом можно будет разумно объяснить и лозунг „Больше социализма! Больше демократии!“. Ведь в предшествующий период того и другого или не было, или не хватало; приобретает действительно глубокий смысл и призыв вернуться к ленинской концепции социализма». Но что значит *или-или*» (или не было, или не хватало)? Логика и наука требуют в данном случае именно конкретного ответа.

А вот, что пишет С. Дзарасов в статье «Партийная демократия и бюрократия: к истокам проблемы»: «Сейчас мы предпринимаем третью за годы советской власти попытку создания адекватной социализму политической системы общества. Первая была предпринята В. И. Лениным и сформулирована в его последних письмах и статьях, после его смерти получивших название „Политическое завещание“. Вторая попытка по инициативе Н. С. Хрущева была предпринята на XX и XXII съездах партии. Ни та, ни другая не увенчалась успехом. Соответствующий социализму механизм хозяйствования и политической демократии не был создан. Теперь в третий раз задача вновь стала перед нами. Надо проанализировать опыт прошлого, объективно расчленив причины неудач и успехов, побед и поражений и выяснить, почему две предыдущие попытки не привели нас к успеху».

В заключение остановлюсь на крайне интересной статье Л. Карпинского «Почему сталинизм не сходит со сцены». До этой статьи мне даже казалось, что для многих сегодняшняя критика сталинизма есть своеобразный «уход» от жгучих сегодняшних проблем. Карпинский подходит к вопросу иначе. Он пишет: «...сталинизм – это не только Сталин и не просто культ его личности; сталинизм – огромный клубок социальных взаимозависимостей, крепко сколоченный во всех своих частях агломерат экономических, политических, идеологических и моральных формирований, которые в предшествующие годы устоялись во всем обществе».

Значительное и главное внимание Л. Карпинский уделяет в своей статье психологическому фактору. Он считает, что главное – в трудностях изменения сложившейся общественной психологии. И что одним из тяжких преступлений стали-

низма явилось внедрение рабской психологии в жизнь народа. «С мироощущением раба в перестройке делать нечего», — замечает он.

«...Идейно-психологический комплекс сталинизма, — добавляет Карпинский, — можно считать комплексом неполноценности общественного сознания. Что касается его структуры, то в ней различаются следующие составные части: догматы, мифы и стереотипы. Здесь же присутствуют верования, предрассудки и прочие модификации ненаучного мышления, известные с древних времен».

Трудно представить себе больший разрыв между теорией и практикой, «наукой» и жизнью, идеологией и реальностью, чем это имело место в СССР. Реальностью считали не то, что на самом деле существовало, а то, что должно было существовать. И прав автор упоминаемой нами статьи: «...в этих целях было изобретено и пущено в оборот понятие „реального социализма“, призванное подкрепить схоластическую модель социализма ссылкой на реальность. Смысл изобретения состоял отнюдь не в том, чтобы, идя от реальности, научно перепроверить степень ее соответствия коренным принципам социализма. Такая работа развернулась в стране лишь с перестройкой. Догматикам же надо было только всеобщее смирение с наличным состоянием общества как единственно возможным: каков реальный облик общества — таков и социализм, остальное „от лукавого“».

Всеобщее смирение с наличным состоянием общества и стало главной функцией «общественного сознания» во всех его структурных разветвлениях, начиная с апологетической официальной идеологии — единственно верной и непререкаемой — и кончая самосознанием отдельной личности, ибо ее иное мышление и ее иное самосознание исключалось даже на уровне Уголовного Кодекса, содержащего статью 190-1 и 70. Эти статьи позволяли любое инакомыслие объявить клеветой на государственный и общественный строй (если автор в чем-то выражал несогласие с официальной точкой зрения, которая спускалась сверху и расползалась по всем каналам информации); человека обвиняли в антисоветской агитации, если он, думая иначе по социальным проблемам, отваживался высказывать и защищать свой собственный взгляд. Критика словом подменялась критикой насилием, вплоть до репрессий.

«Идеологи бюрократии видели свою задачу в замещении действительного знания об обществе мнимым», – замечает тут же Карпинский.

Эпоха тоталитаризма породила расщепление как общественного, так и личного сознания. С малых лет человека обучали не тому, что есть на самом деле и что следует всесторонне понять для нормальной социальной адаптации, его учили не аналитически и критически думать, а тому как *надо* думать, чувствовать и осознавать себя в этом мире догм, мифов, стереотипов и верований.

Под конец Лен Карпинский пишет: «Существование общества в „слепоглухонемом“ варианте, разумеется, не могло обойтись даром. Оставленные один на один с системой и ее идеологической диктатурой, люди вынуждены были смиренно принять лицемерные пропагандистские штампы, которыми этот бюрократический мир навязчиво заполнял их сознание».

Отсюда следует, что плоды гласности могут быть значительными для изменения старого сознания и создания нового мышления только в одном случае: если будут сняты все идеологические ограничения. Мысль практически не знает границ, слово – способ ее выражения, оно по природе свободно, если свободен сам человек. Вы не согласны с данной мыслью – докажите ее несостоятельность, противопоставьте ей другую мысль, более приемлемую для людей, их интересов, их понимания справедливости. Если *такая* – неограниченная гласность будет достигнута, то мой народ будет спасен.

Т. Самсонова

К тысячелетию
Крещения Руси

Издательство
«Антиквариат»

Владимир
Максимов

СЕМЬ ДНЕЙ
ТВОРЕНИЯ

Обложка и рисунки
Виталия Стацинского

Издание четвертое

Заказы направлять по адресу:
E. Stein, 594 Chestnut Ridge Rd.,
Orange, Conn. 06477, USA.

Коротко о книгах

ЖИВ БОГ

Семейный катехизис, составлен группой православных христиан.

Пер. с франц. прот. Георгия Сидоренко под ред. прот. Кирилла Фотиева. Введение прот. Кирилла Фотиева и прот. Георгия Сидоренко

Лондон, «Оверсиз», 1988

Удивительно, что первым за долгое время катехизисом мы обязаны группе православных французов (по-французски он вышел в Париже в 1979 году). Впрочем, может быть, и не так удивительно: являясь, по существу, горсткой среди католиков и протестантов, они неизбежно должны были глубоко осмыслить свое православие и искать путей воспитания в нем новых поколений.

Катехизис составлен не в общепринятой школьной форме вопросов и ответов, подлежащих заучиванию. Рассказ о событиях Ветхого и Нового Завета чередуется с диалогами вопросов и ответов, но не учитель задает вопросы ученику, боящемуся ошибиться в ответе и получить «кол» по Закону Божьему, – вопросы задает любознательный ребенок, отвечает ему взрослый, терпеливый, понимающий и не глядящий на него свысока. Сами Ветхий и Новый Завет не разделены, не размещены «хронологически». Православный катехизис весь следует по стопам Господа нашего Иисуса Христа: Ветхий Завет не только не отменен Новым, но и не является просто его предысторией, – это «предыстория», постоянно возобновляющаяся в «истории».

Книга написана просто, но не примитивно, мудро, но без мудрствования. Русский язык перевода звучит так, словно это сразу было написано по-русски. Прот. Кирилл Фотиев и прот. Георгий Сидоренко в своем предисловии к русскому изданию пишут:

«Перевод и издание этой киги – наш скромный дар нашей Церкви и нашему народу к юбилею тысячелетия со дня Крещения Руси святым и равноапостольным князем Владимиром». Этот скромный дар – один из самых лучших, самых необходимых православным христианам и в России, и за рубежом.

Т. Цоллер

ВОСПОМИНАНИЯ

Смоленск... Катынь... Владимирская тюрьма...

Подготовка к печати Александра Грибанова, Натальи Горбаневской,
Габриэля Суперфина. Комментарии Габриэля Суперфина

Париж, ИМКА-Пресс, 1988

Имя Б. Г. Меньшагина – «Железной маски» советских тюрем – долгие годы оставалось загадочным. Оно прозвучало на Нюрнбергском процессе, где, ссылаясь на якобы сказанные Меньшагиным слова, свидетель Б. В. Базилевский подтверждал советскую версию катынского убийства (т. е. версию о том, что тысячи польских офицеров, погребенные в катынских могилах, были расстреляны немцами в 1941 году). Тот же свидетель сообщил, что Меньшагин-де ушел с немцами. В это время Меньшагин сидел в лубянской одиночке и не подозревал, где и при каких обстоятельствах произносится его имя.

О том, что его имя упоминалось в Нюрнберге, он узнал лишь после своего освобождения, и то не сразу. О том, что ссылка на него была ложной, ясно свидетельствуют приведенные в одном из приложений к книге и проанализированные комментатором материалы дела Святослава Караванского (Владимирская тюрьма, 1969). Комментатор справедливо подчеркивает, что за год до конца своего 25-летнего срока Меньшагин больше всего боялся провокации и нового срока, поэтому в его расчеты никак не входило выражать убежденность в том, что польских военнопленных расстреливали советские органы. Однако он не привел ничего твердого в пользу советской версии, ничего подобного тем свидетельствам, которые, якобы с его слов, приводились в Нюрнберге. Короткий фрагмент ныне (посмертно) изданных его воспоминаний является дополнительным свидетельством против ложных (вероятно, вынужденных) показаний Базилевского.

В самом тексте воспоминаний этот фрагмент занимает небольшое место, однако работа комментатора расширила его значение, сделав одним из центральных в книге. Вообще об этой книге следовало бы говорить как о труде двух авторов: рассказчика, чьи воспоминания «были записаны на пленку, сохранившую неторопливый глуховатый звук старческого голоса» (из предисловия), и комментатора – Габриэля Суперфина. В самих воспоминаниях наиболее документальной, содержательной частью являются рассказы Б. Г. Меньшагина о его

работе защитником в Смоленске в конце 30-х годов (отчасти и до Смоленска в конце 20-х – начале 30-х), а наиболее яркой и анекдотической – о бериевцах, с которыми Меньшагин сидел во Владимирской тюрьме то недолгое время, на которое его вывели из одиночки (два с небольшим года из 25-ти). Г. Суперфин, работая в лучших традициях академического комментирования, не только приводит данные о каждом лице и событии, встречающемся в тексте, но и расширяет поле зрения читателя, включая в него весь связанный с эпизодами воспоминаний исторический фон. Благодаря этому книга в целом становится и захватывающим чтением, и незаменимым справочным пособием для всякого, кто всерьез интересуется советской историей.

О. К.

Кирилл КОСЦИНСКИЙ
В ТЕНИ БОЛЬШОГО ДОМА
Воспоминания

Составление и подготовка текста Елены Гессен

США, «Эрмитаж», 1987

У А. М. Горького есть где-то примечательное высказывание: «Каждый русский интеллигент, прошедший несколько часов в полицейском участке, считает своим долгом написать воспоминания». Этой фразой и начинается К. Косцинский книгу своих воспоминаний, названную «Не верь, не бойся, не проси...»

Постоянная связь с тюрьмой, как считает автор, является характерной особенностью русской литературы. «Начиная с Радищева, великое множество российских литераторов познакомилось с отечественной пенитенциарной системой в условиях, куда как менее комфортабельных, чем этнограф С. В. Максимов, беллетрист А. П. Чехов, фельетонист В. М. Дорошевич, или те советские писатели, которые совершили в 1933 году плавание по только что открытому Беломорканалу». В этом смысле судьба Кирилла Косцинского характерна для русской и советской литературы, хотя, на первый взгляд, конфликт писателя с советской властью довольно неожиданен.

Успенский (Косцинский – его литературный псевдоним) родился в семье видных революционеров, окончил Военную академию, прошел

всю войну в офицерском звании, был начальником штаба полка, награжден многими орденами и медалями. И вдруг... «На дворе стоял декабрь 60-го года, а по всей стране доцветала короткая хрущевская весна: я был первым членом Союза писателей, осужденным по политическим мотивам после XX съезда КПСС».

Успенский с иронией признает, что сам виноват в аресте: не потеряй он «бдительность» после XX съезда КПСС, он, возможно, и заметил бы признаки надвигающейся грозы, но в то время он слишком твердо верил, что «теперь у нас не сажают». Успенского арестовали. В ходе затянувшегося следствия его обвиняли в антисоветских высказываниях, в распространении произведений, «порочащих советский строй», выстраивали сложную систему доказательств его преступления.

«Что же, собственно, антисоветского было в моих высказываниях? – пишет Успенский. – О необходимости большей свободы в литературе?.. Я говорил еще о колхозах, о естественном праве выхода из них, о необходимости свободного ценообразования, о рабочих советах на заводах и предприятиях. Почему бы не поставить подобный эксперимент на одном или двух заводах, почему бы не проверить у нас опыт Югославии, которая, как заявил недавно Хрущев, является вполне социалистической страной». Не об этом ли пишут сегодня, тридцать лет спустя, во всех советских газетах? Теперь это идеи перестройки и гласности. Но в 60-е годы... Решением суда Успенский был приговорен к лишению свободы сроком на пять лет. Сценой суда писатель и заканчивает свои воспоминания.

Еще одна судьба, еще одна трагедия человека, который не боялся высказывать свои мысли вслух. Не случайно эпиграфом к своим воспоминаниям автор выбирает фразу Горького о том, что «в чьих руках ни была бы власть, – за мной остается мое человеческое право отнестись к ней критически». Всей своей жизнью Успенский доказывает, что «решающим фактором в творчестве каждого писателя, в том числе и советского, является его совесть, его видение, его даже не право – его прямая обязанность говорить правду». И отсюда – ясное ощущение внутренней свободы, присущее Успенскому. Это ощущение и помогло ему выжить, пройти все испытания, выпавшие на его долю, и не сломиться, не озлобиться, не превратиться в пессимиста. Друзья писателя, вспоминая о нем, всегда говорят о том, как любил Успенский порассуждать о превратностях судьбы, о том, что даже в самых безнадежных обстоятельствах удача может улыбнуться человеку.

Успенский заканчивает свои воспоминания фразой неожиданной, которая и удивляет, и восхищает: «Я не жалею о годах, проведенных в лагере. Они обогатили меня новым, бесценным опытом, наполнили новым содержанием. Я признателен за это судьбе». Она была благосклонна к нему на этапах и пересылках, она дарила ему маленькие радости и удачу и в тюрьме, и в лагере. Благодаря им он приступил к работе над словарем русской ненормативной лексики, который стал главным делом его жизни. Словарь начался с записи «блатной музыки» в тюрьме, заканчивал его Успенский уже в Гарварде, эмигрировав в 1979 году.

Успенский обладает прекрасным даром рассказчика. Его воспоминания оставляют впечатление встречи с необыкновенным человеком – душевным, добрым, мужественным и благородным. Воспоминания эти проникнуты каким-то светлым чувством. Это так отличает книгу Успенского от многочисленных воспоминаний людей, обиженных советской властью. В его рассказе нет ненависти, злобы, лишь недоумение перед тем абсурдом, жестокостью и беззаконием, которые ему пришлось испытать на себе. В нем – боль и горечь, гражданственность и патриотизм, потому что люди и учреждения, с которыми его столкнула судьба, никогда не составляли для него единства с народом его страны, с его Родиной.

«Я отвечаю за все», – эти слова точно передают мироощущение Успенского, его понимание своих гражданских обязанностей, его отношение ко всему, что происходило в его стране. «Слова „стыдно быть русским“, – говорит Успенский, – пронзили меня не своей точностью или неожиданностью, но тем, что они точно передавали то, что я ощутил в 1944-1946 гг. в Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии, а затем в октябре 1956 года в Ленинграде, слушая радио, читая газеты. Только духовный скопец или безнадежный циник попытается объяснить ненавистью к своей стране этот стыд, это ощущение причастности к позорному преступлению».

В душе его не было злобы и ненависти, были боль и страдание гражданина, в самом высоком смысле этого прекрасного и мужественного слова, человека, который «отвечает за все».

Ольга Миронова

ИЗДАТЬ ТРУДЫ Д. М. ПАНИНА

С 1976 по 1980 г. ежеквартальный журнал «Выбор», созданный ассоциацией «Друзья Дмитрия Панина», распространял его идеи и идеи его единомышленников: швейцарского журналиста Д. Пинто, французской писательницы С. Лабен, пастора Ж. Хофмана, польского писателя Ю. Мацкевича, русского журналиста В. Чернявского и других. Дмитрий Панин изложил в этом журнале свою критику марксизма, способ проведения революции в умах, концепцию общества независимых, критику атеизма.

Параллельно выходит его философская работа «Теория густот», где сформулирован открытый им закон движения вещей.

В 1983 г. вышла его работа «Созидатели и разрушители».

С 1979 г. он работал над объяснением природы явлений классической и релятивистской механик и незадолго до смерти закончил последнюю, четвертую часть своей «Механики на квантовом уровне». Труд его увенчался открытием по конструкции легкого лазера, которое он не успел изложить на бумаге: остались лишь расчеты и краткие записи.

Дмитрий Панин был всегда во всех ситуациях человеком мужественным, решительным, бескомпромиссным, глубоко верующим, настоящим рыцарем без страха и упрека. Увы, мир не прислушался к его свидетельству.

Благородство души Дмитрия Панина отражалось и в его внешнем облике.

Остались рукописи социологических, философских, научных работ, наговоренные кассеты – мысли о России, ее писателях, религии. Наш общий долг донести их до читателя, и я призываю всех людей доброй воли помочь их изданию.

*Франсуа Росинье, председатель общества
«Друзья Дмитрия Панина» (Тулон)*

Пожертвования на издание рукописей Дмитрия Панина следует отправлять в нашу ассоциацию (Les Amis de Dimitri Panine – ADP) по адресу:

ADP, BP 79, 75762 Paris Cedex 16.

По страницам журналов

«СУЧАСНІСТЬ» 1988, № 7-8

«ВІДНОВА», том 6/7, 1987

Два тематических выпуска самых значительных журналов украинской эмиграции, и каждый по-своему интересен.

Летний (июль-август) номер ежемесячника «Сучасність» посвящен 1000-летию Крещения Руси-Украины. Открываясь украинским переводом «Молитвы Господу Богу от всей земли нашей» митрополита Иллариона, он предлагает широкую гамму материалов, прямо и косвенно связанных с великим юбилеем. Быть может, слово «косвенно» не слишком точно, поскольку речь идет, наряду с историей веры и Церкви на украинских землях, прежде всего об истории и сегодняшнем дне украинской культуры, немыслимой вне связи с христианством.

Культура и религия, история и сегодняшний день, страна и эмиграция не просто соседствуют на страницах журнала, но создают некоторое симфоническое единство. Раздел «Литература» открывается стихами двух поэтов – крупнейшего эмигрантского поэта Василя Барки (знакомого читателям «Континента») и недавнего политзаключенного Степана Сапеляка. Сапеляку посвящена тут же публикуемая статья Анны-Гали Горбач «Поэт с христианско-общественной совестью» – определение очень точное, совмещающее три измерения личности: религиозное, социальное и глубоко индивидуальное. К этому у обоих поэтов следует, разумеется, прибавить измерение национальное – подлинное и чистое, не удушающее и не растворяющее в себе яркую индивидуальность. Статьи в разделе «Литература» предварены переводом отрывков из «Жития и странствий Даниила, епископа Земли Русской» и поневоле должны выдерживать сопоставление с этим замечательным литературным документом XII века. И, в общем, выдерживают. Особенно интересной представляется печатаемая без ведома автора самиздатская статья Евгена Сверстюка «Духовные истоки и традиции украинской литературы». Фундаментальной фигурой украинской литературы, итогом ее средневекового развития и духовной основой новейшего является для Сверстюка великий философ Сковорода. Современник вольнодумцев-просветителей, Сковорода сумел «отсеять от всех моднейших веяний то, что глубинно и существенно, и вместо чего-то очень вольнодумного и очень модного

написать „Сад божественных песен“». Сковорода, пишет Сверстюк, нашел ту одну-единственную мудрость, что открыта нам Духом Святым и заключена в Священном Писании. Эта традиция идет через Шевченко к Лесе Украинке и Ивану Франко, она же обнаруживается в политических документах Кирилло-Мефодиевского братства, отрывки из которых (в частности, из обращения к великорусам и полякам) приводит автор в своей статье. Однако исчисление и восхваление истоков, традиций – не единственная цель статьи. Она обращена к сегодняшним поколениям, которым преподносили в школе украинский язык и литературу «без надлежащего достоинства, без самоуважения, без великой сыновней любви, преподносили рабским, увечным языком программ и учебников». Для них он говорит о возрождении традиций – не о простом их почитании и консервировании. Для них он выдвигает на первый план то живое воплощение украинских духовных традиций в русской культуре, каким был Гоголь. Ссылаясь на Бердяева и его статью «Философская истина и интеллигентская правда», Сверстюк считает Гоголя и Достоевского проповедниками затмеваемой, заслоняемой «интеллигентской правдой» истины, противопоставляя им нигилиста Белинского. Уникальность каждой национальной культуры – не препятствие, а наоборот, источник сближения разных культур. Сверстюк показывает это на примерах Марко Вовчка («русской дворянки, которая стала автором чудесных украинских „Народных рассказов“, человеческих, милосердных, песенных») и Николая Лескова, испытавшего влияние политического ссыльного Опанаса Марковича, но, ища примеры тех, кто сумел пойти «против течения» в поисках истины, вновь возвращается к именам Достоевского, Владимира Соловьева, Бердяева.

На страницах этого номера журнала мы встречаем и имена польских авторов: Анджей Винценц пишет о русско-украинско-немецком слависте Дмитрие Чижевском, проф. Рышард Лужный выступает со статьей «Тысяча лет христианской культуры на Украине».

Документы, актуальная публицистика – всё в этом номере «Сучасністі» перекликается с темой Тысячелетия, с духом истины и христианской любви.

Новый том журнала «Віднова» датирован: «весна – лето – осень – зима 1987». Его тема – «„Гласность“, „перестройка“ и украинская действительность». Об этом журнале нам труднее писать – он нам слишком близок. Пять членов нашей редколлегии (Владимир Буковский, Милован Джилас, Корнелия Герстенмайер, Ежи Гедройц, Эдуард Кузнецов), главный редактор «Континента» и автор этих строк входят в редколлегию «Відновы» (а многие являются и

авторами материалов этого тома). Из перечня имен видно, что журнал сделал трудную, рискованную, но необходимую ставку на установление взаимопонимания между украинцами и другими народами.

Расширяя рамки заданной темы, журнал дает вслед за разделом «„Гласность“ и „перестройка“ в УССР» целый раздел «„Гласность“ и „перестройка“ в СССР», ибо ясно, что сегодня проблемы Украины не могут быть полностью отделены от проблем других республик и всего Советского Союза в целом. Одним из материалов, заставляющих особенно задуматься над судьбой сегодняшних перемен в стране, является опубликованная в «Віднове» статья немецкого советолога Герхарда Симона, рассматривающего хрущевскую оттепель и задающегося вопросом: «Способна ли к переменам советская система?» Одним из существенных признаков хрущевской десталинизации автор считает «возвращение полноты власти партийному аппарату», а «парадоксальным результатом» хрущевских перемен, результатом, важным для сегодняшнего дня, называет «появление сплоченной, сознательной и стабильной номенклатуры, которая стоит поперек пути к дальнейшим переменам советской системы». Анализируя способность к переменам не столько с точки зрения власти, сколько с точки зрения общества, Корнелия Герстенмайер открывает надежду не в спущенных свыше словах-лозунгах. «Перестройку» она оценивает как «скорее перегруппировку», а дозволенную гласность – как нечто, что можно (вероятно, постепенно, а не резко) отнять. Таковы расчеты власти – но оправдаются ли они? Автор напоминает, что «каждый период либерализации в России издавна порождал новое поколение отважных людей, и они всегда опирались на завоеванные позиции – пусть даже не слишком далеко продвинутые вперед – своих предшественников (...). Социополитические процессы можно повернуть обратно, но неумираемость человеческого духа от этого, по существу, не меняется. Об этом свидетельствует и многое из того, что сейчас происходит в Советском Союзе».

Возвращаясь к теме «гласности» и «перестройки» на Украине, отметим статью Василя Гришко (выступавшего некогда на страницах «Континента»), задающего в своей статье справедливо тревожный вопрос: «Перестройка без перемен в национальной политике?» С тех пор, как эта статья была написана, поведение центральной власти в вопросе о Нагорном Карабахе, кажется, уже дало неутешительный ответ на этот тревожный вопрос. И если Василь Гришко на материале 1986-1987 гг. показывает, что на Украине никаких перемен к лучшему в этом отношении не произошло, то теперь, после насильственных разгонов демонстраций во Львове и Киеве, избиения украинских акти-

вистов, применения против них угроз, шантажа и первых уголовных преследований, можно сказать, что нейтральность двух первых лет «перестройки» сменяется привычной по «временам застоя» политикой репрессий.

Дискуссию о русско-украинских отношениях, начатую во 2-м томе «Відновы», здесь продолжает историк, профессор Мичиганского университета Роман Шпорлюк. Его статья прямо не относится к основной теме выпуска, но отметим, что подчеркнутое им различие между великодержавным, имперским шовинизмом и «культурным национализмом», главным представителем которого автор с сочувствием называет Александра Солженицына, сегодня должно быть осознано особенно остро (к сожалению, и среди самой русской интеллигенции – в России и в эмиграции – есть тенденция смешивать одно с другим и за любыми устремлениями культурно-национального возрождения усматривать зловещую тень «патриотического объединения», узурпировавшего для своего названия одно из важнейших понятий этого возрождения – «Память»). Не случайно украинский автор цитирует слова из одного интервью Александра Зиновьева, твердо уверенного, что русские не могут быть свободны, пока существует империя.

Н. Г.

«СВОБОДНЫЙ МИР»

Американский журнал на русском языке

Политика, философия, история, религия, литература, искусство

Главный редактор Гарри Табачник

Жанровое определение этого ежеквартальника – «американский журнал на русском языке» – и точно, и неточно. Точно, поскольку журнал в значительной степени занимают либо материалы, связанные с американской жизнью, либо материалы на другие (чаще всего советские) темы, написанные американскими авторами. Неточно, потому что, как кажется, именно первая часть этих материалов вызовет наибольший интерес не у «русских американцев», но у читателей в других странах – как в странах свободного мира, так и в Советском Союзе. Тем самым «Свободный мир» выходит за рамки «американского журнала». Не говоря уже о том, что в журнале есть и материалы «третьего типа» – посвященные СССР и написанные эмигрантскими авторами, включая самого редактора.

В этом отношении последний полученный нами, 7-й номер «Свободного мира» весьма характерен. «Заметки редактора», которыми он открывается, посвящены событиям в Армении. Как и подобает свободному публицисту, Г. Табачник усматривает истоки сегодняшних несправедливостей не в «сталинских преступлениях» (с необходимостью разоблачения которых он, естественно, согласен), а в изначальном «преступлении, совершенном партией Ленина против народа». Автор точно формулирует преюмственность сегодняшней политики: «Введя войска на улицы Еревана, режим показал, как он намерен решать национальный вопрос в эпоху гласности и перестройки. В действиях генсека угадывалась школа его ментора – Андропова, призвавшего для подавления восстания в Будапеште советские войска».

Преюмственности посвящена и статья Ричарда Никсона «Лицом к лицу с Горбачевым». Не разделяя западных восторгов по поводу светскости, доброты и миролюбия нынешнего генсека, бывший президент США высоко оценивает его качества как политика – т. е. как умного и крайне опасного противника, продолжающего преследовать «те же самые долгосрочные цели СССР: доминирование на международной арене». Очень твердо звучит основной совет Никсона:

«Ни в коем случае Соединенные Штаты не должны менять свою внешнюю политику в связи с изменениями внутренней политики в СССР».

Было бы безумием делать уступки Советам на переговорах о разоружении только для того, чтобы помочь Горбачеву устоять во главе страны. Успех или поражение его реформ в них самих. (...) Если мы будем награждать Москву всякий раз, когда советская пресса публикует разоблачительную статью о своих внутренних проблемах, Москва будет собирать обильный урожай политических побед, а мы будем собирать газетные вырезки».

Слово для выступлений по сегодняшним советским проблемам получают в «Свободном мире» не только американские авторы и эмигранты из СССР – на страницах того же номера мы встречаемся со статьями Элен Каррер д'Анкокс («Империя трещит по швам») и Михайло Михайлова («Грустная критика»). М. Михайлов, рассматривая не национальные, как Г. Табачник, а экономические и политические проблемы «перестройки», приходит к аналогичному выводу: «...пока культ Ленина не будет подвергнут критике – неминуемо наступление новых заморозков после любой оттепели».

О принципиальной ограниченности сегодняшней «гласности» свидетельствует открытое письмо Олега и Людмилы Протопоповых в газету «Известия», которая 28 февраля 1988 года, т. е. под конец

третьего года «нового царствования», клеветает на спортсменов-невозвращенцев в прежнем или, точнее, в новом, еще более наглом тоне, словно желая лишний раз нас заверить, что советская «гласность» к подлинной гласности, т. е. к оглашению правды, имеет лишь косвенное отношение.

Жгучим точкам истории посвящены две публикации: «Последние операции» Николая Толстого и «11 ноября 1917-го» Бориса Кричевского. Правда, редакция не сочла нужным указать, является ли очерк Толстого отрывком из его книги, найдены ли и переведены корреспонденции Кричевского (для тогда еще социалистической «Юманите») редакцией «Свободного мира» или же этот отрывок заимствован из более полной публикации «Русской мысли». Впрочем, это печальный недостаток ряда эмигрантских изданий: при перепечатках не ссылались на источник.

То, что, несомненно, вызовет интерес у читателей за пределами США, – это два обзора по материалам американской печати: «Благодетельность в Америке» и «На страже конституции». Если второй из них позволяет понять некоторые механизмы американской демократии, часто непонятные, почти экзотические для посторонних, то первый может сыграть конкретно поучительную роль для возникающих сейчас в СССР официальных и неофициальных благотворительных организаций.

Вообще от журнала остается впечатление, что он задуман прежде всего как своего рода педагогическое, поучительное чтение, однако без назойливо менторского тона и крайностей пропаганды.

С. Лайко

Михаил Федотов

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Роман о людях, мечущихся по свету, чуждых
любым политическим режимам и ищущих Бога,
правды и любви.

POB 6997 Jerusalem, Israel
400 страниц

Наша анкета

«И КОГДА Я СТАЛ ЭТО ДЕЛАТЬ, Я ВПЕРВЫЕ ПОЧУВСТВОВАЛ СВЕТ»

Разговор с главным режиссером московского театра «Школа драматического искусства» Анатолием Васильевым ведет Андрей Бородин

– Анатолий Александрович, сначала у меня к вам почти личная просьба: чтобы мне не поднимать весь ворох посвященных вам в последнее время в отечественной, да и в мировой прессе статей в поисках ваших биографических данных, расскажите, пожалуйста, о себе.



– Рожден я в эвакуации в селе Даниловка Пензенской области в 42-м году. Область эта уже потом оказалась для меня значительной. В Пензе родился Мейерхольд, а в той деревне, где был рожден я, родилась знаменитая народная певица Русланова.

Детство я провел в разных городах. Из эвакуации мои родители вернулись в Орел, потом я жил в Баку (еще совсем ребенком), потом довольно большую часть жизни – в Туле. Там я учился с первого по четвертый класс. Затем мы переехали в Ростов-на-Дону. В Ростове я закончил школу, химический факультет университета и должен был стать химиком, учился в аспирантуре. Но аспирантуру я оставил и уехал в Новокузнецк – это был 63-й год. В январе 64-го года я начал работать там как химик. Потом я служил в армии, хотя и закончил университет (это была нелегкая служба в Казахстане). Потом поехал на Дальний Восток. Работал на Дальнем Востоке моряком гражданского флота, ходил в Тихом океане. Вернулся в Ростов и пробыл там еще около года. В 68-м году я приехал в Москву и поступил в театральный вуз, с тех пор я живу в столице, никуда

подолгу из нее не выезжая. Закончил вуз у двух очень крупных педагогов: Андрея Попова и Марии Осиповны Кнебель.

Свой первый спектакль я поставил еще там – это была моя дипломная работа по пьесе Арбузова «Сказки старого Арбата». Первый профессиональный спектакль я поставил в стенах МХАТа, у Олега Ефремова. Это была пьеса «Соло для часов с боем», в ней играли старики-мхатовцы. Еще какое-то время я работал во МХАТе, а потом ушел из него. Мы как-то распрощались с Ефремовым – правильнее сказать, он распрощался со мной, хотя, в общем, это было взаимно. Некоторое время я путешествовал, уезжал в Ростов-на-Дону, ставил спектакль в оперетте – мюзикл. Вернулся в Москву, работал в театре Станиславского, Ленинского комсомола, потом в Театре на Таганке... Теперь я работаю в собственном театре.

– *Сегодняшний всплеск театральной жизни в Москве связан, на мой взгляд, во многом со спектаклями социально-критическими. Например, на недавний театральный фестиваль в Мюнхене театр им. Ермоловой привез пьесу «Говори», о колхозе послесталинского времени с хорошим, новоприбывшим секретарем райкома, московский ТЮЗ показал инсценировку повести Булгакова «Собачье сердце» – три года назад это произведение было просто запрещено в СССР, театр им. Ленинского комсомола – нашумевшую в свое время «Диктатуру совести». Ваше творчество менее связано со злобой дня, поэтому если театру Ермоловой и ТЮЗу можно списывать на годы застоя свою недавнюю непопулярность, то, может быть, вы, вспоминая недавнее прошлое, можете просто подвести итоги каких-то работ, творческих удач... Скажем, за последние десять лет.*

– В Авиньоне во время недавних гастролей нашего театра была организована пресс-конференция газетой «La Croix», и когда я там сказал, что весь сегодняшний театр, какой он ни есть, хороший и плохой, был подготовлен в период предыдущего генерального секретаря, в период Брежнева, то французы задумались, а Антуан Витез даже несколько раз повторил: смотри-ка, правильно Васильев говорит, как мы, мол, не учили. Ну, что тут учить, все ясно. Ясно, этот период подготовил и театр, и литературу. Кто-то уехал – эмиграция была сильная, а кто-то остался.

В 77-м году, после МХАТа, я вместе со своим учителем Андреем Поповым пришел в театр Станиславского. В ноябре

77-го года я начал репетировать, и в 78-м году вышла первая премьера. Это был первый вариант «Вассы Железновой», текст редакции 1910 года. В 79-м году вышла «Взрослая дочь...». В 81-м году мы стали уходить из театра Станиславского, и в том году я уже там не работал. В 80-м году я должен был выпустить пьесу об Александре Ульянове – я намеренно начал репетировать пьесу о терроре.

Ее написал молодой тогда драматург – сейчас-то уже 10 лет прошло – Александр Ремез, с которым я был дружен. И Саша по моему заказу написал пьесу о семье Ульяновых, о том, что происходило в русской семье столетие назад. Как она под влиянием всевозможных процессов перерождалась, изменялась... В 80-м году этот спектакль не вышел, а в 81-м он вышел уже во МХАТе, где я был только художественным руководителем спектакля. Выпускал же его Валерий Саркисов, ученик Марьи Осиповны Кнебель.

История была простая: когда я ушел из театра Станиславского и «путешествовал, бродяжничал» по Москве, Олег Ефремов, с которым я был очень дружен и которого, несмотря ни на какие наветы на него, ни на то, как мы с ним в последнее время относились друг к другу, я люблю, попросил меня тогда открыть Малую сцену Художественного театра, сказал: «Толя, давай, сделай, ну, сделай это». И я согласился, но не режиссером, а лишь художественным руководителем. В 81-м году, 1 марта, в день столетия убийства народовольцами Александра II, была премьера. Это была незаметная премьера, но для меня очень важная.

Ситуация с революционным террором, она в те годы, да и сейчас у нас не очень популяризируется. Был определенный период в моей жизни, когда я сознательно обратился к этой теме, к теме террора. Тогда же мы задумывали спектакль по роману Юрия Давыдова о Дегаеве. Я как-то кружил вокруг этой темы. И в конце концов в 81-м году вышел спектакль, который я как бы отдал. Отдал текст, разработку, макет, как бы только подписался. Мне так было удобнее.

– Но какое-то творческое наслаждение от этой работы у вас осталось?

– Нет, у меня просто были обязательства перед автором. Вообще я стараюсь поддерживать очень порядочные отношения с авторами. Когда мы затеяли работу в театре Стани-

славского, вокруг нас собралось много молодых авторов, и они мне очень верили. Я их любил, и они писали для меня пьесы.

– Виктор Славкин, автор «Взрослой дочери...» и «Серсо», тоже был в этой команде?

– Да, хотя он немного постарше... Поэтому, когда в силу обстоятельств, в которых не я был повинен, мне пришлось уйти из театра, я чувствовал себя виноватым перед этими людьми: получилось, что я их как бы бросаю. И тогда я решил для себя во что бы то ни стало вернуть автору его пьесу. И потому, как для меня было естественно больше не продолжать эту работу, когда я уходил из театра Станиславского, так же естественно было завершить ее, когда МХАТ мне это предложил. Я ее передал и думаю, что сделал правильно, поскольку я подал руку своему товарищу по режиссуре, выпускнику. Могу сказать, что на этом мои отношения с этими авторами не закончились. Оставалась еще одна пьеса, премьера которой состоялась через 10 лет после того, как автор, Андрей Кутерницкий, ленинградец, принес мне ее. Этот спектакль вышел в Риге, пьеса называется «Вариации феи Драже» – это о Ленинграде. Спектакль идет уже два года и сделан тоже моим учеником, но там режиссером был я. Это мой спектакль, начинал его мой ученик по режиссуре, а заканчивал я.

– Давайте заполним образовавшийся вакуум, с 81-го по 86-й год.

– Это были очень напряженные годы. Мне кажется, я сделал в них все, что вышло или не вышло, но благодаря чему я выжил и чем живу до сих пор. Это были годы для меня какие-то мучительные – меня оскорбляли, писали, что ничего не делаю, что, мол, я зазнался, и прочее, и прочее. Знаете, вот сколько я живу, столько меня преследует одна и та же мысль, что критика *ничего* не знает. Она практически не знает той жизни театра, которую знать должна. Вот недавно совсем, перед поездкой в Австрию, я прочитал в «Советской культуре», что Васильев-де ушел в подвал и, кажется, не хочет оттуда выбираться... Сама эта фраза «не хочет оттуда выбираться» чего стоит!..

Я могу перечислить, что я делал с тех пор, как ушел из театра Станиславского. В 79-м году там вышла премьера «Взрослой дочери...», а следующая моя премьера вышла только в 85-м году. Шесть лет мое имя не появлялось на афишах.

За эти годы я сделал на радио «Портрет Дориана Грея» — это очень крупная передача и для меня очень важная, это целый этап в моей жизни. Я работал над ней почти два года. Все, кто знает, что такое радио, поймут, что это невероятно. Причем уже через полгода ее собирались закрыть, выкинуть просто, назовем это так, по вредности моего характера или по вредности тех, кто работал на радио. Передача вышла благодаря чуду.

На телевидении снято полторы серии «Взрослой дочери... Мне ее никак не давали закончить, несколько раз я возвращался к этой работе, а теперь уже не могу выпустить на экран за неимением времени. Это телевизионная версия спектакля, ее я и показывал на фестивале в Мюнхене, правда, под другим названием: «Дорога на Читану».

Дальше, я репетирую пьесу Беккета «О счастливые дни» с Марией Ивановной Бабановой, которая играла еще у Мейерхольда и была у него «звездой». Знаменитая актриса, чудо, а не актриса была. Пьеса репетировалась у Марии Ивановны дома. Мы уже собирались выйти в студию, для репетиции у микрофона, для того, чтобы потом перейти в зал: Мария Ивановна заболевает и умирает.

Я репетирую «Короля Лира» с Андреем Поповым. В 83-м году Андрей Попов умирает.

Теперь Театр на Таганке. Любимов уезжает на очередную постановку на Запад, я помогаю ему репетировать «Бориса Годунова». Я репетировал три месяца, а по возвращении Любимова сдал ему плоды своих усилий и, естественно, занимался уже другой работой. С актерами, в стенах Театра на Таганке, мы заново репетируем первый вариант «Вассы Железновой», сдаем Управлению культуры и играем спектакль. В эти же годы я приступаю к репетициям пьесы «Серсо».

С 81-го года я начинаю педагогическую деятельность на курсе у Эфроса. Репетирую «Утиную охоту» Вампилова, «Горе от ума» Грибоедова. Это всё подробные разработки, и это всё сделано в «годы застоя».

Три года мы репетируем пьесу «Серсо», и в 85-м году выходит премьера. Три года работы с автором, три года совместной жизни с актерами.

Мы пишем киносценарий для киностудии «Мосфильм» — инсценировку повести Виталия Семина «Семеро в одном

доме», о Ростове. Пишем почти два года, заканчиваем, а сценарий кладут на полку, съемки не начинаются.

– Анатолий Александрович, а насколько вообще важен для вас конечный результат – вышедший спектакль или отснятый фильм?

– Знаете, мне кажется, правильно, что все так складывалось у меня в те годы. Любой художник должен делать много, а судьба отбирает мало. Когда мы репетировали спектакль «Серсо», то я готовил четырехактное представление, а накануне премьеры выкинул один танцевальный акт, весь построенный на джазовом танце, где еще была большая история, связанная с сюжетом о Павле I: убийство Павла I, сцена из пьесы Мережковского «Павел Первый». Этот акт мы репетировали два с половиной года – для меня его потеря означала практически потерю самого представления. Был изменен жанр, то, ради чего я жил четыре года...

– Это что же, было приказано свыше?

– Нет, это я сам, просто у актеров уже не хватало сил играть весь спектакль. Не хватало сил вытянуть до конца. Не-ет, за все эти годы цензура не выкинула у меня из спектаклей ни единого слова. Можете себе представить! Мне не закрывали спектакли, у меня не выкидывали слова. Конечно, и мне предъявляли какие-то претензии, как каждому, но дело оканчивалось тем, что все оставалось. Была, может быть, кое-какая борьба, да и то ее вел не я, а Андрей Попов.

– И все-таки ваша цель – спектакль?

– Знаете, режиссура, как правило, не занимается спектаклем тогда, когда он уже вышел. И это отдельная глава или вообще целая книга о том, как сохранить спектакль и что это такое – режиссер и актеры, режиссер и спектакль. Я вам сейчас скажу: «Шесть персонажей в поисках автора», пьесу, которую мы привозили в Австрию, в общей сложности мы срепетировали за месяц. Два раза по пятнадцать дней. «Серсо» я репетировал три года, а эту – месяц! Я собрал весь спектакль за одну ночь и показал публике. Но вот сейчас, когда мы были в Австрии, а потом отправились в турне, я репетировал эту пьесу каждый день по восемь часов, как в балете. По восемь часов, чтобы играть вечерний спектакль. И я вообще никогда не отпускал спектакль, который я поставил. Я считаю, что когда спектакль вышел, тогда-то и начинается борьба за него, начинается жизнь с ним. И хотя спектакль закончен, он закон-

чен так же, как закончен человек, он постоянно развивается, он живет, и все на него влияет. А дальше это мука. Выпустить спектакль – это значит начать мучиться. А есть ли счастливые моменты в работе?.. Знаете, я даже их не помню. Нет, конечно, бывают и у меня счастливые периоды – может быть, в каждом спектакле по две-три репетиции. Они и остаются в памяти почти на всю жизнь. Все остальное – труд.

– *Что же в таком случае принесла вам «перестройка», что представляется вам самым главным среди уже происшедших перемен?*

– Я уже нашел какой-то ответ на этот вопрос, по-моему, более или менее справедливый. Я думаю, единственно существенное – то, что художник мог почувствовать себя достойнее. Если в нем это чувство собственного достоинства сохранилось, то сейчас он может испытывать его свободно. Я не уверен, что уже начинается разговор на равных, я знаю только, что тот, кто действительно занимается искусством, может теперь ощущать свое достоинство без страха.

А что мне лично принесла перестройка?.. Во-первых, мне разрешен театр. Наверное, в этом участвовал и я сам, наверное, так история моей жизни складывалась, что рано или поздно, а в конце концов нужно было «этому типу» дать театр. И мой последний уход из Театра на Таганке, – это была игра ва-банк, хотя сам я всерьез подумывал, что вообще хватит, что работать я больше не буду. Я поступил резко, то есть поставил вопрос однозначно: или у меня будет театр, или театра не будет. И дня через три мне позвонили и предложили открыть театр под моим руководством.

Театр открыт и, в общем-то, на идеальных условиях. Это театр городской, и он находится на городской дотации. Он государственный, поэтому театру помогает министерство культуры, помогает театру и Союз театральных деятелей. Театр открыт – и это единственный случай в стране – как полностью договорной. В театре свободно складывается репертуар. Я свободно его строю, то есть, в зависимости от нужд труппы, мы играем или не играем спектакль. При театре я веду педагогическую деятельность. Это два курса на кафедре в Государственном институте театрального искусства, но они так организованы, что как бы «двух маток сосут»: они и в ГИТИСе, и в театре. Театр стал ездить и ездит много. И это важно.

– Так много, что кажется уместным спросить: а московский-то зритель знает ваши спектакли, ваш театр?

– Меня? Мой театр в Москве?! Ну что вы, конечно!

– Вы говорите: «ушел из театра Станиславского», «ушел из Театра на Таганке»... Не могли бы вы это несколько прояснить: с кем происходили трения, с кем вы столь неизбежно вступали в конфликт?

– С художниками, с моими товарищами... Я не знаю, что это было, не хочу рассказывать. Просто, предположим, я и мои товарищи вместе с моим учителем пришли в театр Станиславского. Ровно через полгода в театр пришел сын Георгия Александровича Товстоногова, Александр Товстоногов. Сначала он был на правах очередного режиссера, потом стал главным. В этот период, когда он находился между очередным и главным, из театра ушли мои товарищи, ушел и я. Я у него и тогда спрашивал, хочу у него и сейчас спросить: зачем он туда пришел? Он все прекрасно понимал. Актеры театра знали, зачем они его зовут. Сейчас они жалуются, хотя в общем жаловаться не должны. Раньше театр был в очень плохом состоянии, сейчас Александр Георгиевич с ним справляется. Но, тем не менее, с его приходом около 15 человек – самые лучшие артисты – покинули театр Станиславского.

– А что же было с Таганкой?

– С Таганкой история посложнее была. Меня ведь пригласил в театр Любимов. Я тогда уже бродил по Москве, меня приглашали работать некоторые театры, но я отказывался из-за того, что приглашали меня не с актерами, а я хотел, чтобы вместе с труппой. И Юрий Петрович предложил мне это. Мы начали работать, потом наступила осень 83-го года, Любимов не вернулся. Началась заваруха в театре. Я ждал, когда кто-то придет. Потом приходит Эфрос. С Эфросом я был просто в дружественных отношениях, я был педагогом у него на курсе. Ровно через полгода у меня с Эфросом начались довольно-таки сильные трения. И в 85-м году ситуация оказалась неразрешимой. Но конфликты с Эфросом были чисто творческие, были они и на курсе, я же параллельно еще и курс вел. Назовем это творческими конфликтами.

– Вы работали в Театре на Таганке. Как вы относитесь к любимовским инсценировкам «Мастера и Маргариты», «Дома на набережной»? Сам Юрий Любимов оправдывал такой путь (казавшийся, кстати, многим заведомо выигрышным, ибо,

когда роман на черном рынке стоит ползарплаты, зритель спектаклю по этому роману обеспечен) заведомой слабостью советской драматургии, по сравнению с прозой. Сейчас вот ТЮЗ стяжал себе славу, поставив «Собачье сердце»...

– Может быть, в силу воспитания, – я не люблю инсценировки. Не люблю переделки. До сих пор я занимался только драматургией. И лишь в последние два года, может быть, в связи с педагогической деятельностью я стал заниматься литературой. Но я думаю, что я занимаюсь ею не так, как другие. У себя в театре я выпустил два вечера: вечер Александра Дюма – спектакль называется «Дюма» – и вечер Достоевского, который называется «Визави», – и подготовил большой спектакль по роману Достоевского «Бесы».

Что это такое? Это литература в том виде, как она написана. Практически это главы из романа. Берется глава из романа, не выкидывается ни одного слова и подряд играется. У вас не специальная статья, и поэтому я расскажу приблизительно. Собираются актеры, дается тема – предположим, Достоевский – и предлагается вольный выбор: пожалуйста, что вы хотите из Достоевского. Выбираются главы из романа при одном условии: глава берется полностью и полностью репетируется. Дальше из этого хаоса разных глав составляется композиция и как композиция частей симфонии превращается в симфоническую вещь и носит осмысленный, законченный характер, превращается тем самым в спектакль. Последний опыт, с «Бесами», для меня наиболее интересен. Практически мы играем все главы романа. Литературно это можно описать словосочетанием «взбесившийся роман», но это определение пришло уже потом.

– Но ведь роман гигантский, как же вы укладываетесь, играете в два вечера?

– Я сейчас расскажу вам, как. Мы играем на верху нашего театра, в бывшей московской квартире, она освободилась и принадлежит теперь нам (сам театр находится внизу в полуподвальном помещении). Это многокомнатная квартира, в ней больше 300 квадратных метров, и мы играем в четырех комнатах одновременно 4-5 глав, нон-стоп, играем раз, потом еще раз. Публика запускается в коридор и сама перераспределяется: каждый смотрит, что хочет, но так как все повторяется дважды, то практически зритель видит все сцены. Первое отделение – перерыв, второе отделение – перерыв, третье от-

деление. Спектакль длится около пяти часов, от начала романа и до конца, так что последняя глава, убийство Шатова, завершает роман – нет, в романе есть еще «Заключение», – оно и завершает спектакль. Вот каков наиболее существенный опыт, итог всего моего сегодняшнего опыта взаимоотношений с литературой.

Но я еще не сделал 4-го отделения. Вначале у меня была другая структура, «линейная»: один акт, второй, третий и четвертый. И последним актом была глава «У Тихона». Но спектакль уже выпущен, теперь в январе я соберу своих учеников, мы порепетируем, и в феврале я решу, буду ли я делать весь большой спектакль или нет. Если буду, то это будет играть в специальном каком-то зале, мы построим павильон в 400-500 квадратных метров. Специальный зал, специальный павильон с гримерными, с подземными переходами, с чердаками. Будет построен специальный ярусный театр, где должна играть последняя глава – последнее отделение. Если я это осуществляю, то в спектакле будет занято около 30 первоклассных актеров, это будет специально срепетированная вещь. А в том виде, в каком она существует сейчас, она уже снята на видео. Снято все полностью, на две камеры, и зафиксировано на «Audio» в каждой отдельной точке квартиры. Есть режиссерский сценарий. Это крупный проект.

– Каверзный вопрос: строя свою внешнюю политику в области культуры, Советский Союз, благодаря пробудившемуся к нему интересу, способен «подавать» Западу отдельные книги или фильмы. Так, роман «Дети Арбата» или фильм «Покаяние» получили по всей Европе гигантскую прессу, в то время как с художественной точки зрения эти произведения едва ли дотягивают до среднего европейского уровня. Имея в виду вашу сегодняшнюю популярность на Западе, не чувствуете ли вы себя отчасти «жертвой режима»? Как вы вообще оцениваете свой театр в сравнении с театром европейским?

– В сравнении... Ну, во-первых, с одной стороны, я видел не много... а с другой – всё, что мне нужно было видеть, я видел. Предположим, я был в Вене на фестивале и видел спектакль Штайна «Три сестры» – мне достаточно. Был в Милане у Стрёйлера, видел «Арлекина», или в Москве – они привозили «Кампанеллу», достаточно двух спектаклей. Или на видео я видел «Бюрю» – достаточно вполне! Также на видео я видел работы Брука, а еще до того читал его книжки, и Питер Брук

был у нас в театре, мы с ним разговаривали... И я могу сказать, что искусство на Западе, только если его делают единицы, — так же, как и на Востоке, искусство высочайшего класса. А если нечто заранее заданное — то это вроде газированной воды.

А как мои спектакли... мне трудно судить. Мы репетируем, играем, и всё! Публика смотрит, аплодирует... На пресс-конференции в Авиньоне корреспондент газеты «La Croix» заявил, например, что будущее за русским театром. И это было даже опубликовано... Мы-то, конечно, промолчали. Только так, посмеивались. Во-первых, глупо и говорить было, что, мол, да! действительно! А может быть, он кое в чём и прав.

— В таком случае, в чем вы видите ваше личное новаторство, ваш «авангард»? В воскрешении каких-либо традиций русского театра, не получивших своего достаточного развития или попросту насильственно прерванных? Или же вы ищете, как, скажем, Мейерхольд по отношению к Станиславскому, нечто совершенно новое?

— Прежде всего я думаю, что я мхатовец. В том смысле, что я получил образование от учеников Станиславского. А это означает традиционный психологический реалистический театр. Но вообще все это неправда — не совсем правда. Если говорить об авангарде, то, возможно, смысл моей деятельности, как я ее сейчас понимаю и как стал понимать лет 5-6 тому назад, заключается просто в соединении двух берегов — театра начала XX века с театром конца XX века. То есть именно той его ветви, которая включает в себя развитый театр Станиславского: то, что в нем принадлежит Михаилу Чехову как актеру, как педагогу и как режиссеру; то, что принадлежит Вахтангову, и то, что принадлежит Мейерхольду. Ветвь развитого модерна в советском уже искусстве. Если это удастся, то с меня достаточно.

А если еще более уточнить — это авангард в синтезе театра русского и европейского. Я много говорил об этом, писал, выпускал статьи и книжки... В синтезе театра психологического и игрового, в синтезе двух, на первый взгляд, несовместимых театральных культур, которые на самом деле уже идеально совмещены в русской театральной школе. И вот, судя по тому, как мы разъезжаем на Западе, этого здесь практически не умеют. Этого и у нас не умеют. Ну, а насколько это нечто — м о е...? Я вообще к себе отношусь скромно.

– После того, как были введены некоторые послабления в процедуре регистрации новых театральных студий, их пооткрывалось по Москве более двухсот. Каковы, по вашему мнению, наиболее интересны из них?

– Все-таки наиболее интересны, на мой взгляд, те студии, которые появились сразу же. Первая, открытая приказом министра культуры Захарова, была студия Олега Табакова. Это было в июле или августе 86-го года. У него около десяти лет был театр – эта же студия, лишь не легализованная приказом. Мой театр открылся в феврале 87-го года, а организационно начали мы его складывать весной 86-го; ну, волокита бумажная, документы и прочее... В этот период – с августа по февраль – в Москве было открыто несколько таких театральных объединений. Раньше они называли себя ЭХО – экспериментальное хозрасчетное объединение – пять или шесть коллективов. В том числе и коллектив под руководством Марка Розовского. Они называли себя «Театр у Никитских ворот» – это наследник бывшей эстрадной студии МГУ «Наш дом», студенческого театра, который просуществовал с конца 50-х годов до конца 60-х – в 69-м году их закрыли. Потом эта студия не имела дома, но Марк Розовский продолжил свою работу в театре как автор, стал писать пьесы и сделался знаменитым человеком. Его мюзикл «Холстомер» пошел по Европе, по всему миру ставился. Он стал работать как режиссер профессионального театра, и вот сейчас они создали свой коллектив.

Тогда же открылись еще театр «Студия на досках» и театр-студия «Человек». Я думаю, вот эти первые студии самые интересные. Может быть, студия «Человек» – наиболее интересная из всех. Я знаю этот коллектив хорошо, в свое время я два года провел вместе с актерами этой студии. Кстати, что я репетировал в 80-х годах? В студии «Человек» – пьесу Уильямса «Прекрасное воскресенье для пикника». Мы делали фарс для двух мужчин и двух женщин. Этот спектакль не был показан, но мы с удовольствием над ним работали. «Человек» – это была вначале любительская студия, в которую вошли профессиональные молодые актеры МХАТа, потом любители в свою очередь закончили вузы и стали профессиональными режиссерами и актерами, так что постепенно состав ее участников стал полностью профессиональным. И в настоящее время это очень крутая студия по своему актерскому составу и неплохая по репертуару.

В общем, это всё те коллективы, которые сложились еще в печальные годы застоя, а сейчас лишь получили легализацию.

Знаете, я сейчас отвечаю вам с точки зрения, как бы это сказать, администратора. Вы меня спрашиваете: есть? Я говорю: да, есть. Вы спрашиваете: хорошая? Я отвечаю: да, хорошая. На самом деле у меня, как у художника, ощущение от этих студий более сложное. Например, я думаю, что студийное движение должно быть движением альтернативным и разрабатывать те формы театра, которые не разрабатывают коллективы академические, государственные. Как раз этого мне в студиях и не хватает. Другой театр должен быть. Создавать просто из желания свежести: свежести актерского состава, свежести репертуарной – этого недостаточно. Это будет просто новый старый театр. Теперь из этих двухсот (их огромное количество, уже более двухсот) – все это, мне кажется, во многом коллективы любительские, начинающие...

– *Вы хотите сказать, что, как только поутихнет энтузиазм и усложнится финансовое положение, многим из них предстоит прогореть?*

– Им предстоит не прогореть, а пройти тяжелый путь познания искусства, и это самое сложное, что им предстоит. У них всё впереди.

– *«Шестидесятники» и перестройка. Насколько мне известно, ряд деятелей хрущевской оттепели воспринял наметившиеся в стране перемены, как свою вторую молодость...*

– В театре – это вообще особое дело. Во-первых, я думаю, что такие режиссеры, как прежде всего Ефремов и Эфрос (Товстоногов и Любимов непосредственно к «шестидесятникам» не относятся), сделали очень много для того, чтобы был театр. Нельзя говорить о них дурно, что они тогда в 60-е годы ничего не сделали. А дальше история повернула. Я пришел в театр в 73-м году, это был МХАТ. Впоследствии я работал с Эфросом, с Любимовым, с Захаровым, и я могу сказать, чем это закончилось. Прежде всего они, эти режиссеры, не оставили непосредственных учеников, из рук в руки. Остались ученики как бы косвенные, которые сидели в зале, смотрели на репетиции, но не общались непосредственно. Занимаясь практикой театра, я могу сказать точно, что непосредственное общение ничем заменить нельзя – это первое. Второе: усилия шестидесятников в области театра, в общем, оказались

довольно бессмысленными. Потому что в процессе времени им приходилось возражать против собственных же идей. Потому что вслед за идеей свежего человека появилась идея критики несвежего человека. И эта идея стала довольно мощной, от нее многие устали, задержались. Потому что наступали опять страшные времена, нужно было как-то атаковать. И борьба их носила прежде всего характер пережигания, что ли. Я не знаю, как в литературе, а в театре... Ну, какая может быть вторая молодость, если Эфроса нет: в борьбе с Таганкой погиб большой режиссер. Любимов за границей. Ефремов переживает во МХАТе тяжелые времена. Он, может быть, совершил подвиг, разделив МХАТ и отделив зерно от, как бы это сказать, от плевел... Возможно, это самое большое дело, которое он сделал. Но тут есть и обратная сторона медали – актеры поднимают бунт... Какая там вторая молодость!? В литературе – не знаю, но в театре ее нет точно.

– *Вы работали вместе с Юрием Петровичем Любимовым, и вот недавно после всех пертурбаций он побывал в Москве, провел там полторы недели. Вам что-нибудь известно об этом?*

– Конечно. Юрий Петрович накануне своего отъезда был у меня в театре. Он пришел к нам, и мы встретили его всем коллективом, с шампанским. Даже какой-то югославский журнал напечатал материал об этой встрече, фотографии и информацию. Потом мы показали ему отрывки из наших представлений, и я с ним, как мог, две-три минуты разговаривал. Юрия Петровича встретили в Москве великолепно. Я был на генеральной репетиции «Бориса Годунова» – что делалось в зале!.. Огромное количество людей... Конечно, таких почестей, такой славы, такого восторга, такого признания, я думаю, он не сможет увидеть на Западе. Запад – немой и к его жизни, и к его судьбе, к его седидам. И это лишний раз доказывает, что театр – вещь национальная.

– *Как бы параллельный к этому вопрос о существовании и по сей день, несмотря на публикации в отечественной периодике некоторых эмигрантских авторов, разделении русской культуры. Меня интересует не столько ваше отношение к этому печальному факту, сколько то ценное, что вы видите в творчестве работающих на Западе русских писателей.*

– Ну, как я к этому отношусь, это, по-моему, понятно. Я, как мне кажется, человек, который все-таки занимает опреде-

ленную позицию и в общественной жизни страны. И я выработал ее, я ее пережил несколько лет назад. Благодаря взглядам, сложившимся вместе с выработкой этой позиции, я начал по-другому работать. Прежде всего я сделал так, чтобы в своих спектаклях исключить элемент отрицания и вообще всякой критики, и тем самым ушел от компромиссов. Я не принял идеологию компромиссов, которая была очень модна в свое время, в начале семидесятых годов. Может, по вредности характера я ее не принял, или я попытался, но у меня ничего не получилось... А потом пришло время, когда я сознательно перестал заниматься критикой. Я хочу отразить мир таким, каков он есть, в категориях искусства. И когда я стал это делать, я впервые почувствовал свет, я почувствовал покой, и мне стало легко говорить. Я мог издали посмотреть на жизнь, на самого себя, оценить сложившуюся ситуацию, рассказать, что в ней хорошо, что плохо, и дать возможность людям как бы тоже находиться вдалеке. Это началось еще до репетиций пьесы «Серсо», после «Взрослой дочери...». В пьесе «Серсо» это окончательно сформулировалось. В ней рассказывается о людях, которые находятся на краю, на обочине, вдалеке от общественной, социальной, политической жизни, но это не значит, что пьеса не насыщена политикой, нет. Просто всё в ней дается от лица человека, который смотрит на жизнь с высоты. И это для меня очень важно. Все последующие работы я хотел бы делать с этой точки зрения.

Возвращаюсь к вашему вопросу. Я не очень подробно знаком с эмигрантской литературой. Попросту я не мог читать эти книги, хотя кое-что я все-таки видел. Немного, но достаточно, чтобы иметь представление, чтобы как-то ориентироваться, потому что не обязательно читать все киги, можно прочесть две-три, и все станет ясно. Так вот, наиболее ценные мои наблюдения, впечатления касаются сохранения в эмиграции атмосферы художественного творчества – в слове, в предложении, в абзаце, в главе...

– *Вы имеете в виду Набокова?*

– Не только. Все, что сохраняет корни этого могучего дерева под названием «художественная русская литература», – все это замечательно. И все, что растрчивает себя, превращая литературу в политику... Тогда не все ли равно, с какой стороны эта политика, справа или слева?

Из конкретных имен... Может быть, по моему возрасту, больше всего мне нравится Аксенов. Я видел его книги «Бумажный пейзаж» и «В поисках грустного беби». «Остров Крым» я не читал и только частично слышал по «волне».

– *Иосиф Бродский...*

– Ну, его нельзя уже назвать эмигрантом! Иосиф Бродский – поэт, нельзя сказать великолепный, этого мало! Но после того, как он получил Нобелевскую премию, и после того, как его поэзия опубликована на страницах нашей печати, я не могу сказать, что это литература эмигрантская. Но когда вы задали вопрос, и когда я начал отвечать, я имел в виду прежде всего Иосифа Бродского. Я не назвал его только потому, что его книги сейчас открыты, а книги Аксенова не очень. У Бродского даже книжка готовится в каком-то издательстве.

– *Он издал в Америке только по-русски шесть книг оригинальных стихотворений и одну пьесу...*

– Я знаю, «Мрамор». Но если мы прочтем две книги стихов, то достаточно.

– *Существует ведь и эмигрантская драматургия. Набоков написал несколько пьес. Писали пьесы Аксенов, Войнович, Бродский...*

– Вы знаете, я собираюсь репетировать пьесу Аксенова «Цапля». Сложно будет. Придется кому-то объяснять, что это прекрасная пьеса. Но я собираюсь это делать, потому что пьеса хорошая, даже очень хорошая.

У Горенштейна есть пьеса «Бердичев». Великолепная пьеса, я читал ее труппе перед его эмиграцией, о евреях в «Бердичеве», грандиозная пьеса. В свое время собирался репетировать. Жалко, что я к ней не вернулся, и вообще к ней не возвращаются.

Вы не задали этот вопрос, хотя как-то всегда спрашивают, собираюсь ли я возвращаться к современной теме. После того, как я срепетировал «Серсо», я как-то вдруг почувствовал, что всё, что я мог сказать, я сказал. А из того, что бы я хотел срепетировать из современной литературы, в современной теме, остались только две вещи. Одну я уже заявил – это роман Андрея Битова «Пушкинский дом», я буду делать «Трактат об искусстве». Я не буду репетировать сюжетную вещь, а сделаю в каком-то смысле продолжение «Шести персонажей в поисках автора». Вообще сейчас я занимаюсь в основном классикой.

Знаете, вот я думаю, почему так убедительно прозвучала тема «Серсо» на Западе. Наверное, просто никто не мог ожидать, что такого рода представление – как текст, как визуальное искусство, как игра актеров – может возникнуть в Советском Союзе. Привыкли, что есть эмигрантская, есть диссидентская литература – ее все читают, и вдруг в Советском Союзе возникает нечто подобное и, в общем, неплохо сделанное. Я к чему веду: самое важное для меня – чтобы все, что происходит, происходило там, где я живу. Потому что театр – это жизнь из рук в руки. Из моих рук в руки других. Русский театр не может существовать за границей. Литература, наверное, может, но театр не может. Театр – исключительно национальное явление. И когда он существует там и передается из рук в руки, тогда он имеет колоссальную силу.

– *Какие из культурных событий последнего времени в Советском Союзе: публикация ранее запрещенной книги, реабилитация некогда заклеянного писателя, снятый с полки фильм, разрешенный спектакль и т. д. – произвели на вас особое впечатление?*

– В отличие от многих людей, моих товарищей и не моих товарищей, я не считаю все то, что происходит сейчас у нас в стране, большим событием. Я считаю это нормой, это нормально. Жалко, что это начинается у нас только сейчас, что так долго замалчивались страницы страшной нашей истории. И в этом смысле не норма, что люди запоем все это читают. Я хочу сказать, что не было в последнее время такого события культурной жизни, которое на меня бы сильно подействовало. Мне глубоко чужды тонкие девичьи переживания по поводу прочитанной книги, которую она не успела прочитать в 16 лет и прочитала в 18. Я думаю, что на меня могла бы подействовать сегодняшняя культурная жизнь, а не доходящая ныне до нас культурная жизнь прошлых, пройденных эпох. Какое-то культурное событие, отражающее день сегодняшний, август 88-го года у меня в стране, там, где я живу, а не за бугром. И если б это было, я бы так и сказал «было, подействовало», но пока каких-то значительных событий не происходит.

– *Чуть ли не с октября 17-го было принято деление всех видных деятелей той эпохи по принципу «принял революцию – не принял революцию». Сейчас задают вопрос иначе: «веришь в перестройку – не веришь в перестройку», – что, на мой взгляд, та же самая дурная традиция. Поэтому давайте сфор-*

мулируем вопрос по-другому: принимая во внимание наметившиеся сегодня в стране политические перемены, что бы вы пожелали сейчас русскому народу, вообще людям в СССР?

– Я хотел бы, чтобы люди, перед которыми открылась не так давно запрещенная литература, мало кому известные, запрещенные ранее страницы нашей истории, чтобы они не впадали в истерику. Ни в запой. Ни в состояние радостной аффектации: наконец-то, мол... Чтобы они знакомились с этой историей так же нейтрально, как человек знакомится с едой в обед в будничныи день, ни больше ни меньше. Тогда эти люди могут выдержать. А если они не выдержат, то это выльется в катастрофу, в кошмар. А я не думаю, что очередной кошмар может спасти людей.

Знаете, я сейчас начинаю репетировать пьесу Пиранделло «Сегодня мы импровизируем». Я там рассматриваю вообще идею импровизации и свободы. Так вот там свобода, которая вначале существует как импровизация, постепенно развивается и становится стихией! Всякие взаимоотношения со свободой в истории человечества, в истории существования планеты вообще – космоса! – всегда были чреваты самыми страшными катастрофами. Поэтому должно быть что-то, что регулировало бы это освобождение. Люди должны быть, я уже сказал, выдержаны, мужественны для этого акта.

– Последний вопрос – о взаимоотношениях с христианством, с православием, с Церковью, если вам не трудно об этом говорить...

– У меня не осталось с детства каких-либо отчетливых воспоминаний о Церкви, о моих взаимоотношениях с ней. Помню только, что моя бабушка угрожала маме, что она меня крестит: я жил тогда в Туле, и храм находился недалеко от нашего дома... А к нравственности и к Духу я приходил самостоятельно. И духовной жизнью, более или менее полной, стал жить в позднем возрасте, когда мне было уже за тридцать. Этому отчасти способствовали и мои путешествия, и то, что я все-таки закончил университет, менял профессии, ходил в Тихом океане и так далее. Так что после тридцати лет я прикоснулся к духовным проблемам довольно плотно. А в 40 лет мне показалось, что я смог бы установить какие-то отношения с Церковью и религией, с Богом, но я не думаю, что эти отношения носили бы подлинно религиозный характер: это было

бы нечестно, неправильно, потому что я с детства не так воспитан, а понимание религии должно все-таки передаваться по наследству.

Но я могу сказать, что я христианин. Иначе бы я не чувствовал того, что чувствую. Мне кажется, что я понимаю особенности страны, в которой живу, особенности России. Мне кажется, что я понимаю природу русской литературы, природу русского Духа. И мне кажется, что я человек православный. Я лишь не могу сказать, что до конца, полностью... Я хотел бы быть православным, несомненно. Мне кажется, русский художник обязан быть человеком православным, но о себе я пока не могу этого сказать.

Зальцбург, 4-5 августа 1988

ПОВЕСТИ Д. А. АНТОНОВА:

Издательство «Чеховград»

ЧЕХОВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ – повесть о российской интеллигенции, 1981

ВОССТАНИЕ – памяти Пастернака, Высоцкого, Галича

ЗАПАДНЯ – о шовинизме, национализме

БЕДНЫЕ ЛЮДИ – о восприятии Достоевского, Тютчева, А. К. Толстого

ВОЛЯ – повесть о Сопротивлении, биография Л. Трэппэра

ЛИБЕРТИ – английское издание «Воли», документы, фото

ПОЧЕМУ УБИВАЮТ... немецкий перевод «Воли»

1988 – повесть о Тысячелетии Крещения, о восприятии Бунина, Булгакова

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – повесть о военном разведчике. Приложения, фото

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО – о сталинщине

В БАДЕНВАЙЛЕР С ТОГО СВЕТА – повесть о славистике

ЧЕХОВГРАД – повесть о Чеховском симпозиуме. Приложения

СЕГОДНЯ – повесть о Катастрофе

ВОЗВРАЩЕНИЕ – о Вере, фанатизме, культуре полемики

АГЕНТЫ И ПЕРЕСТРОЙКА – повесть

ПАМЯТЬ – повесть о язычниках и Православии

НАДЕЖДА – повесть о судьбах русской литературы, 1981

Э. Бройде. **ЧЕХОВ**. Монография

Э. Бройде – К проблематике Чеховских университетов. Статьи

Аннотации в каталогах Нейманиса,
книги можно заказывать во всех книжных магазинах и по адресу:

Dr. Broide
Rückmühlenweg 2 · D-6483 Bad Soden-Salmünster
West Germany

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На один год – сорок нем. марок; на шесть месяцев –
двадцать нем. марок.

Цена одного номера – двенадцать нем. марок.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном
представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй
странице обложки) или у представителей «Ассоциа-
ции друзей «Континента»:

США: Вост. побережье – Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»
A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка
(4 номера)

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**Виктория Платова,
Владимир Солоухин**

Поэзия:

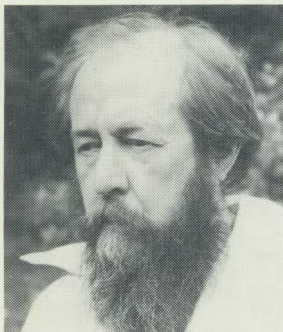
**Лев Лосев, Яков Островский,
Константин Садунов**

Публицистика:

**Виктор Суворов,
Алексей Мурженко,
Михаил Широкий,
Иосиф Косинский**

АЛЕКСАНДРУ СОЛЖЕНИЦЫНУ – 70 ЛЕТ

Кажется, это было чуть ли не вчера: одиннадцатый номер «Нового мира» за 1962 год с опубликованной в нем повестью «Один день Ивана Денисовича» сделал еще вчера никому не известного учителя математики из Рязани и недавнего политзэка общемировой литературной величиной. А затем пошло: слава, почести, издания на всех мыслимых языках, материальное благополучие.



Можно с уверенностью утверждать, что девять десятых пишущих, если не больше, после этого приняли бы на его месте активно разрабатывать золотую жилу официального признания и, в конце концов, закончили бы тем, чем заканчивали все советские классики от Горького и Маяковского до Михаила Шолохова и Ярослава Смелякова включительно – конформизмом.

Но не в том, видно, оказалось явление Солженицына. Он пришел в мир не затем, чтобы занять место на советском литературном Олимпе, а с другой, куда более важной миссией. Он пришел не только поставить диагноз самой, может быть, бесправной системе за всю человеческую историю, но и предложить средства для ее радикального излечения. Поэтому его последующим книгам, так и не увидевшим до сих пор света на родине – «Раковому корпусу», «В круге первом», «Архипелагу ГУЛаг» и узлам из «Красного колеса» – неизменно сопутствовали его врачующие нравственные призывы – «Письмо вождям», «Жить не по лжи», «Гарвардская речь».

Для многих и многих в мире, как на Востоке, так и на Западе, эти обращенные к сердцу человека страстные проповеди писателя сделались нравственными ориентирами во тьме нашего отчаявшегося в безверии мира.

Но во все времена человечество побивало тех, кто пытался говорить ему правду. Не избежал этого и Александр Солженицын. Советские власти изгнали его из страны, а определенная, но весьма влиятельная часть западного культурного и политического истеблишмента постаралась сделать все от нее зависящее, чтобы заглушить или принизить его голос.

Но он выдержал и это. И сегодня имя Александра Солженицына, вопреки предсказаниям его недругов, пусть еще отрывочно и неполно, но возвращается к себе на родину.

Пожелаем же большому русскому писателю в день его семидесятилетия ознаменовать этот юбилей встречей со своим многомиллионным читателем в России.

«КОНТИНЕНТ»